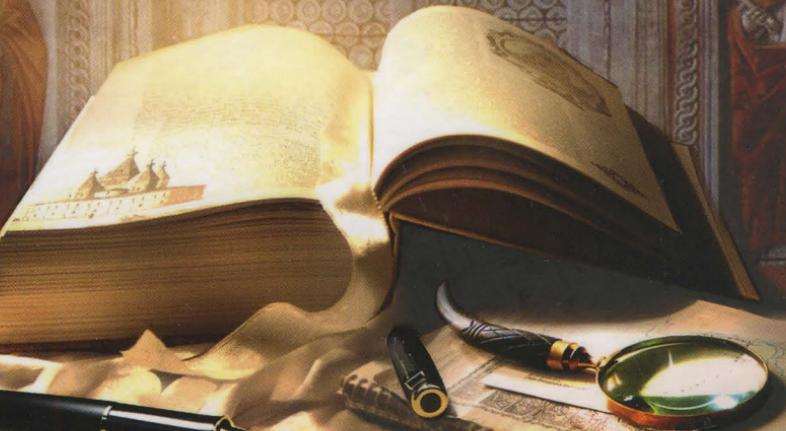


НИК ТОПЕС

РУКОЮ ДАНТЕ



КНИГА-ЗАГАДКА КНИГА-БЕСТСЕЛЛЕР

КНИГА-ЗАГАДКА КНИГА-БЕСТСЕЛЛЕР

НИК ТОШЕС

РУКОЮ ДАНТЕ



ЭКСМО
МОСКВА
ИД ДОМИНО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2011

УДК 82(1-87)
ББК 84(7США)
Т 64

Nick Tosches

IN THE HAND OF DANTE

Copyright © 2002 by Nick Tosches, Inc.

Составитель серии Александр Жикаренцев

Оформление серии Сергея Шикина

Иллюстрация на обложке художника И. Хивренко

Тошес Н.

Т 64 Рукою Данте / Ник Тошес ; [пер. с англ. С. Самуйлова]. — М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2011. — 384 с.

ISBN 978-5-699-50726-9

Единственный путь в рай начинается в аду. Два литератора. Две литературных звезды. Один начал свой жизненный путь в бандитском районе Нью-Йорка, среди наемных убийц и наркоманского отребья. Дорога его была извилистой и не всегда праведной. Другой родился в знатной флорентийской семье. Его путь прошел через кровавые сражения, политические интриги, смертный приговор, замененный изгнанием.

Итог жизненного пути одного и начало дороги к фантастическому богатству другого — проклятая и запрещенная рукопись, хранящаяся в секретных архивах апостольской библиотеки Ватикана. Рукопись, последняя строка которой говорит о любви, что движет солнце и светила.

Права на экранизацию романа, ставшего международным бестселлером, куплены суперзвездой Голливуда Джонни Деппом!

**УДК 82(1-87)
ББК 84(7США)**

© С. Самуйлов, перевод
на русский язык, 2011
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2011

ISBN 978-5-699-50726-9

Рассы Галену



Луи стащил с себя бюстгальтер и швырнул его на столик. На пальцах остались какие-то неприятные липкие комочки. Он протянул руку к все еще стоявшей на коленях шлюхе, и та, закрыв глаза, облизала ему пальцы. Луи вдохнул запах ее волос, тошнотворно-приторный запах вонючего кокосового масла, которым пользуются эти гребаные таксисты, эти драные Хайле Селассие в своих дермовых развалиюхах. Губы у нее были липкие и жирные от дешевой тухлой помады.

Он отнял руку.

Выйдя на Западную Двадцать шестую улицу, Луи немного постоял в темноте. Был август — та пора в Нью-Йорке, когда днем с давящим низкого, выцветшего добела неба льется удушающий зной, а ночью над городом повисает пепельно-бледная беззвездная дымка. Луи чувствовал эту ночь и знал, что она чувствует его. Он закурил сигарету и глубоко затянулся. Поздно. Но не для него.

Испарения в воздухе смешивались с испарениями его тела. Между волосками на голой руке блестели капельки влаги. Взгляд скользнул к пальцам с зажатой в них сигаретой. Луи не знал, что хуже: мерзкие выделения его собственного организма или мокрые следы, оставленные слюнявым языком шлюхи. Скоро их смоет, сказал он себе, чувствуя конденсирующуюся на коже влагу. Что ему сейчас нужно, так это свежий ветерок с реки. Вот было бы хорошо.

Луи зашагал по улице. Он не стал ни застегивать ру-
башку, ни заправлять ее в брюки. На нем был прекрас-

ный пиджак из прекрасного хлопка и распрекрасного шелка, тот самый, за который он выложил две штуки в Милане. Пиджак сшил на заказ по мерке один портной — как там его звали? — сшил из сине-зеленого, цвета морской волны, почти невесомого материала. Луи не чувствовал его на плечах, но ощущал оттягивающую карман тяжесть.

Это был его любимый пиджак. Такой можно носить с чем угодно, не замечая того, что носишь, и только тот, кто знает толк в классных вещах, мог бы оценить настоящее качество. И еще пиджак подходил под цвет его глаз. Шлюхам нравились его глаза. Они нравились им даже теперь, когда Луи стал просто старым хреном. Некоторые боялись его глаз, однако некоторые от них шалели.

Он ненадолго задержался на углу Шестой авеню. Закурил еще одну сигарету. Потом повернулся к центру.

Да, в прошлом мае ему исполнилось шестьдесят три. Шестьдесят три, мать их! И нате вам, разгуливает по улице, как мальчишка. Ему нравилось гулять по ночам, в одиночку, даже в такую вот гребаную жару. Хорошо.

Мимо протопали какие-то ниггеры.

«Они ничем не лучше меня», — подумал он. Все так. Именно так. Как сказал тот парень, тебе столько лет, на сколько ты себя чувствуешь.

Ему вспомнилась одна шлюха в Сент-Луисе, та, безрукая. Вспомнилась та работенка. Сукин сын... не пожелал встать на колени.

Май. Апрель. Март. Февраль. Январь. Декабрь. Ноябрь. Октябрь. Сентябрь. Август. Ну и ну. Вот дерьмо! Значит, его зачали в такую вот гребаную погоду. И кто только трахается в гребаную жару? Кому охота трахаться, не имея даже гребаного кондиционера? Господи.

Но о чём это он, мать твою, думает? Он и сам трахался в такую вот погоду, без всякого вшивого кондиционера. Да. Ему вспомнилось, как это было: вязкие, чавкающие звуки, лужица пота на животе у той... как ее там...

вошел-вышел, вошел-вышел... на... на... на! Быстрее и быстрее. Бесконечные часы... без перерыва. Так... так... так... Он отрывался от нее весь потный, поднимался над липкой лужицей собравшейся в ее пупке слизи и снова опускался, погружался в нее. Снова и снова, быстрее и быстрее, сильнее и сильнее, глубже и глубже, громче и громче, с тем всасывающе-чмокающим звуком, который издает резиновая груша в сливном бачке, когда, смывая, дергаешь ручку.

Да, наверное, он действительно постарел. Выходит, его слепили в августе. Может быть, поэтому на Луи не действовала жара, эта мертвая окоченелость, этот тяжелый, душный воздух, которым другие и дышать-то не могли. Да. Зачат в августе. Шестьдесят три года назад. Нет. Уже шестьдесят четыре.

А кого зачал он? Да никого. Кончал то в руку, то в рот какой-нибудь подстилке. Расплескал впустую. Теперь уже поздно. Впрочем, так оно даже лучше. В одиночку рождаешься, в одиночку и подыхаешь. Черт, легче заплатить проститутке, чтобы подержала за руку, когда придет пора подыхать. За деньги купиши все.

Сам того не замечая, Луи свернулся на Четырнадцатую улицу. Больше ниггеров, больше спиков*. Вот дерньмо. В былые времена ниггера на Четырнадцатой и не встретил бы. Все началось с баскетбольных площадок. Потом выползли эти еврейские шлюшки, охотницы до темного мяса. А потом глянь — здесь уже не твой гребаный квартал, а отстойник для поганых ниггеров. Нет, Луи не винил гребаных ниггеров. Кто станет трахать драную черную сучку, если можно оттянуть жидовку, какой бы уродиной она ни была? Кто не предпочтет быть здесь, а не там? Проблема в том, что теперь там — это здесь. Но

* Спик (англ. spic) — презрительная кличка испаноговорящих американцев, особенно пуэрториканцев. (Здесь и далее прим. перев., кроме особо оговоренных.)

нет, ниггеры тут ни при чем. Если кто и виноват, так те белые лидеры, вылезшие из глухи со своей любовью к черным братьям. Вот и получили, чего хотели.

А еще он предъявил бы счет копам. Были времена, когда местные парни крушили баскетбольные щиты обрезками труб. Были времена, когда местные парни брали бейсбольные биты и кроили черепа черным. В те времена копы прикрывали своих. Теперь, они другие. Они не местные. Живут себе в этих вонючих пригородах и знать ничего не хотят. И где они вообще, эти долбаные копы? Да они еще хуже ниггеров. Теперь, когда нет прежних кварталов, где люди знали друг друга, когда ничего этого нет, да пошли они в задницу, белые лидеры! Теперь ему ближе ниггеры. Да, и каждый раз, когда черные пришивали копа, Луи испытывал удовольствие.

Нет. На хрен их всех! Он ни с кем.

Луи все шел. Внизу живота осела тупая, ноющая боль — около года назад потянул паховую мышцу. Пожалуй, так и не зажило как надо. Иногда боль пронзала, будто ножом, справа, под самой промежностью. Стареешь, вот болячки и не проходят.

Он пересек Бликер-стрит по направлению к Кармин-стрит. Духота, влажность, пот... Идти стало тяжелее. Проходя мимо итальянской церкви, Луи перекрестил большим пальцем лоб. Словно прикоснулся им к святой воде. Потом перешел на другую сторону улицы, к замукоханному облезлому ресторанчику. Заведение было закрыто, но управляющий еще сидел у стола с карандашом в руке и выпивкой в стакане.

Луи постучал в дверь. Парень поднял голову, встал и впустил гостя.

— С обходом, дружище?

Голос и манера держаться колебались между почтительностью и притворным радушием. Лет этак тридцать пять, глаза-бусинки и усы.

— Не называй меня так.

При этих словах притворное радушие дрогнуло, скользнуло на мгновение и повисло в наступившей тишине. Удовлетворенный результатом, Луи отвернулся от сопляка и подошел к столу. Повесил свой распрекрасный пиджак на спинку стула, сел, сдвинул в сторону бумаги и закурил.

— Налей мне выпить. И дай пепельницу.

Парень зашел за стойку бара. Притворное радушие вернулось на место, но в более приглушенном варианте.

— Есть свежая граппа. Отличная вещь.

Он поднял какую-то идиотского вида сужающуюся высокую бутылку и показал ее гостю.

— К чертям. Побереги это дермо для сосунков. Дай мне «Дьюар» и воды со льдом. И пепельницу. Или я, мать твою, буду стряхивать на пол.

Парень подошел со стаканом и пепельницей. Поставил их на стол перед Луи и сам сел рядом.

— Как жизнь?

Луи посмотрел на его усы. Должно быть, отрастил их за тот год, что они не виделись.

— Когда я был еще сопляком, старики, бывало, говорили: чем больше усы, тем здоровее член.

Притворное радушие потускнело.

— Теперь, когда я вижу парня с усами, то думаю, что он или коп, или педик. Или и то и другое.

— Наверное, мне лучше их сбрить, а, Луи? — стараясь удержать остатки радушия, спросил управляющий.

— Нет.— Луи махнул рукой и скорчил гримасу.— Оставь. Твой отец — коп. Может, и в тебе есть что-то от копа или педика. Тебе они идут. Усы.

Парень ничего не сказал, потому что сказать было нечего. Быть Луи означало иметь кое-какие привилегии, и Луи часто пользовался ими.

Он потушил сигарету, выпил и снова заговорил:

— Знаешь, твой дядя всех затрахал. Только пойми правильно, ты тоже всех затрахал. Но ты — мелочь.

А вот твой дядя затрахал всех по-крупному. Купил этот притон, сорвал деньжат, а потом все спустил на ставках. Приходит к моим друзьям и начинает плакаться. Ему помогают. Он продолжает в том же духе. И чуть получит уведомление о закрытии, как несется со слезами в банк с чеками «Кон Эд». Моим друзьям это не нравится. Твой дядя — безмозглый, тупой подонок. Вот он кто. — Луи посмотрел на валяющиеся на столе бумажки с таблицами скачек и какими-то расчетами. — Тебе это знакомо.

Он выпил, прикурил очередную сигарету и едва заметно усмехнулся.

— Вспомнил, у него ведь тоже усы. Может, Господь не зря дал ему такую походочку. — Луи выпил. — Ну да ладно.

Он вынул из кармана то, что там лежало, и положил на стол: «Вальтер ППК», девятымиллиметровый полуавтоматический пистолет в запечатанном полиэтиленовом пакете для сэндвичей.

Управляющий увидел черный пистолет примерно шести дюймов в длину, упакованный, как ему показалось, в помятый мешочек для хранения вещественных доказательств.

— Может, лучше убрать его подальше? Что, если сюда заглянет какой-нибудь коп?

— Когда ты в последний раз видел, чтобы копы ходили пешком? — ухмыльнулся Луи. — Они больше не ходят. Да, бывают в спортзалах, как и остальные педики, но пешком не ходят. Черт, я недавно видел пешего копа, так это была баба, переодетая шлюхой. Пять футов два дюйма, патлы — мне до пупка, голова, как хеллоуинская тыква, с какими-то шишками на физиономии. Лучшее, что есть в Нью-Йорке. Как и твой старик, ни на что не годная, уродливая тварь.

Парень больше не смотрел в глаза Луи. По-настоящему Луи никто не знал, за исключением, может быть, самого Луи и его босса. Зато все знали: с ним лучше не свя-

зываться, и все, за исключением, возможно, самого Луи и его босса, боялись его, не имея на то каких-то особых причин.

— Ну да ладно. Мои друзья полагают, что если я при-
пугну этот кусок деръма, твоего дядю, то, может, до не-
го и дойдет, что к чему.

Управляющий неуверенно кивнул и предложил гос-
ту еще виски.

— Полегче,— ответил Луи.— Как сказал великий
Будда: умеренность во всем.— Он взглянул на усы и
усмехнулся: — А ты на заднице такие не отпускал? По-
пробуй как-нибудь. Может, мужиком станешь.

Луи заглянул в глаза парня. Ему нравилось наблю-
дать, как там появляется то, чего не было раньше. Но
усталость брала свое. Хватит так хватит. Он посмотрел
на сигарету. Оставалось еще на пару затяжек. Он не спе-
ша докурил и раздавил окурок в пепельнице.

— Ну...— Получился скорее тяжелый вздох, чем
звук, имеющий какое-либо значение.— Как я уже ска-
зал, ты и твой дядя, вы друг друга стоите. Два маленьких
лживых педика. Знаю, ты его обкрадываешь, продаешь
товар на сторону, десяток бутылок сюда, полдюжины
туда. По мелочам. Ты и сам дешевка. Мелочь. Членосос.
Как и твой папаша.— Он замолчал, допил виски. Таю-
щий лед приятно освежил губы.— Твоя мамаша, да упо-
коит Господь ее душу...— Он вытер тыльной стороной
ладони рот.— Она тоже была шлюхой. Да и то... даже
отсосать толком не умела.

Луи надеялся увидеть злость в глазах управляюще-
го, но его глаза заволокло страхом. Он слегка наклонил
голову, изучающе разглядывая лицо парня.

— Знаешь, ты какой-то... гнилой. Как это только твоя
шлюха вышла за тебя? Ты же неудачник. Наверное, она
тоже. Никогда ее не видел. И детишек твоих не видел.
Есть карточка?

Парень вынул бумажник. Луи сразу забрал его себе, достал деньги — их оказалось немного — и засунул, не считая, в карман.

— Это она?

— Мы любим друг друга, — сказал парень, словно это имело какое-то значение.

Человек, когда напуган, несет полную чушь. Луи посмотрел на фотографию.

— Да. Тоже гнилая. Вы оба какие-то чудные. Ты похож на этого... как их там... они еще ловят крыс... на хорька. А она на свинью. Сосет-то хоть хорошо? Лучше, чем твоя мамаша? — Он перевел взгляд на другую фотографию. Мальчик и девочка. Луи задумчиво покачал головой: — Скрести осла и лошадь, получишь мула. А вот что получается, если скрестить хорька и свинью. Сколько девочек?

— В следующем месяце будет десять.

— Нет, с ними не знаком. С женой и детьми. Может, стоит прокатиться как-нибудь в Джерси, засвидетельствовать свое почтение. Выяснить, кто из них лучше отсасывает, твоя мамаша или эта... Так, говоришь, девочонке десять? Знаешь, странное дело, в последнее время все больше тянет на свежатину.

Он отхаркался и сплюнул на фотографию. Потом отхаркался еще раз и плеснул в лицо управляющему. Тот расплакался и принял утираясь салфеткой.

— Чего ты от меня хочешь? Что тебе надо?

— Две вещи. Первое — и, как говорят копы при аресте, подумай хорошенько, прежде чем ответишь, потому что это, возможно, самый главный в твоей жизни ответ, — сколько денег сейчас в этой говняной дыре?

— Только то, что мы заработали за вечер. Около двенадцати сотен.

— Какая жалость.

— Теперь все пользуются кредитками.

— Сколько из этих двенадцати сотен ты уже прикарманил?

— Ты все забрал.

— Выверни карманы.

Парень положил на стол еще сто восемьдесят долларов и несколько монет. Луи сгреб деньги и сунул в карман пиджака.

— Где остальные?

— На кухне.

— Пошли.

Луи поднялся. Управляющий тоже встал и пошел в обход бара через узкий коридорчик, ведущий на кухню. Он чувствовал, что Луи идет следом, причем слишком близко.

На стене в кухне висела дешевая, безобразная картина в дешевой, безобразной рамке. На картине была изображена Дева Мария. Такие штуки пользовались популярностью у кухонной прислуги.

— Какого хрена эти вшивые помойки называют итальянскими ресторанами? — фыркнул Луи. — Здесь же не найдешь ни одного итальянки. Только долбаные доминиканцы, эквадорцы и прочее дермо. Никакие это не итальянские рестораны. Так пусть и называются по-другому. И кто только сюда ходит? Евреи?

Парень поднял руку, достал из-за картины конверт и протянул Луи. Тот взял конверт левой рукой и сунул в задний карман брюк. В правой он держал пистолет в полиэтиленовом пакете.

Парень молчал и не спрашивал, что еще хочет от него гость.

— Так... Помнишь, о чем мы говорили? Из тебя надо сделать мужчину. Стань на колени.

— Ну, пожалуйста, я сделаю все, что потребуешь, только...

— Ну так делай, мать твою!

Управляющий медленно опустился на колени. Ноги у него дрожали. Все происходящее казалось ему нереальным, но... Он чувствовал под собой жесткий пол, чувствовал стену за спиной. Они были реальные. Он стоял с закрытыми глазами, слегка опустив голову.

Сунув руку в расстегнутую ширинку, Луи потряс сморщенную мошонку со слипшимися от пота и всего прочего складками кожи, отодрал при克莱ившиеся к трусам яйца и указательным пальцем приподнял безвольно опавший член. Наконец эта отсыревшая вялая троица снова могла дышать приятным сухим воздухом. То, что надо.

— А теперь сожми колени, как примерная девочка. Вот так. Молодчина.

Луи нажал на спусковой крючок через пластиковый пакет. Вот и все. Он отступил. Идеально. И вот что любопытно: если человек стоит на коленях и ты стреляешь в упор и прямо в голову — именно так, в упор и точно в голову, без контрольного выстрела, — то он так и останется стоять. Но стоит только попытаться поднять какого-нибудь гребаного дохляка и поставить его на колени, как испортишь всю картину. Задницу порвешь, а результата никакого. Вид уже не тот. Пустой номер.

Парень выглядел прилично. Луи заметил, что коленопреклоненный педик с дыркой в башке расположился аккурат под этой дурацкой шлюхой Девой Марией. Какое тут, мать вашу, прилично! Забудьте это слово. Вот вам ваше гребаное искусство.



C'erano nove cieli: non sfere celesti, ma cieli della terra,
cieli di nube e di soffio d'aria.

Их было девять. Девять небес. Не райских, но земных.
И познание истины началось для него с открытия этой
эннеады*.

Устремленный к небесам, он хорошо узнал их за годы, проведенные под ними. Первое из познанных им за это время небес стало и редчайшим из всех. То было великое небо безграничности. Каждое из небес имело четыре аспекта: приход, бытие, уход и ночь, — и потому небо безграничности приходило из тьмы с нежнейшим светом, в котором угадывался оттенок бледно-розового. Различить этот оттенок можно было так же, как и различить голубизну самого неба, голубизну всех девяти небес в жилках вен под кожей тех, у кого она нежнее нежного.

Такая голубая жилка просвечивала слева от лба, где вились мягчайшие воздушные золотистые локоны, неукрощенные, непокорные и свободные, тогда как остальные пряди прилегали друг к другу, туго стянутые и заплетенные. Однажды он увидел каплю росы — готовую вот-вот растечься жемчужинку розмаринового масла, которым смазывали волосы при расчесывании, для него она была росой утра безграничности. Каплю, радужное сияние которой вошло в его глаза и с тех пор жило там, впечатанное навечно, как *ad gloriam* ей.

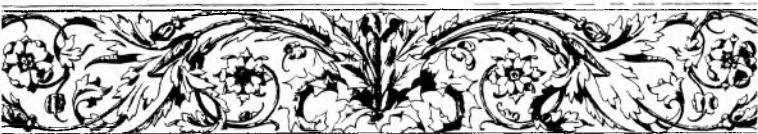
* Эннеада — число «девять», считавшееся священным у древних египтян.

Ей. Той, чьи движения и движения небес слились отныне воедино.

Но прежде чем ему была явлена она, он познал небо безграничности. Он лежал на лужайке, воспринимая молодой гибкой спиной пульс земли, когда вдруг виденное множество раз предстало перед ним по-новому: туманная завеса белых, беспрерывно меняющих свой узор облаков разошлась и открыла голубизну, бывшую голубизной Всего. Пульс земли сделался его собственным пульсом, и увиденное лишило его дыхания. Еще одна кипящая волна, сияюще-белая волна великой евхаристии прокатилась по небу невидимо, и его, изумленного свершившимся чудом и самого ставшего чудом, бесчувственного и бездыханного, но вобравшего все чувства и все дыхания, ослепил пылающе-золотой диск солнца. И тогда, лишенный всех данных ему с рождением ощущений, он познал то, что лежит за пределами видимого, то, ради чего мы рождены.

Потом чудо прошло, и Данте Алигьери снова стал ребенком с внимающей земле молодой гибкой спиной. Но этот ребенок пролежал весь день и вечер, до самой ночи ожидая возвращения того, что не вернулось, и видя, как плавно меняются грани неба, как будто небесные ширь и глубина были ширью и глубиной души и вздоха.

И звезды манили его прочесть мириады их тайн, и не было с ними луны.



Я говорю с вами, как продукт «АОЛ Тайм-Уорнер».

Никогда бы не подумал, что доживу до такого, что произнесу эти слова, одновременно омерзительно отталкивающие и странно занимательные. Впрочем, я никогда не думал и о том, что проживу так долго. Точка. Но у воображения есть предел, и я уже ни о чем не думаю, а судьба двулика, и ни один из ее ликов не явит себя до самого конца. Сейчас я не испытываю ни отвращения, ни любопытства. Есть лишь фатальное ожидание финального снятия покровов. Я знал, что, как бы все ни повернулось, эти слова я уже не произнесу. Потому что, как бы все ни повернулось, меня, Ника Тосеса, здесь уже не будет. Точка.

Больше мне об этом сказать нечего, потому что ничего больше я и не знаю. Покровы еще не сняты. Но я могу — и хочу — рассказать о том, что привело меня сюда.

Я делаю глубокий вдох и, выдыхая, рассеиваю мрак прошлого во мраке настоящего: отныне мне предстоит выдыхать только мрак своего повествования. Никто не пришел и не вломился в мрачную церковь внутри меня, и, как бы сильно ни желал я присутствия в ней чьей-то души, она, эта темная церковь, не имеет к моему рассказу никакого отношения, если не принимать во внимание то, что она имеет отношение ко мне.

Мрак.

Слово настолько древнее и затертое, что почти утратило смысл. И тем не менее снова и снова меня влечет к нему. Жизнь моя на этой земле вовсе не была обделена

светом, счастьем, любовью и радостью. Но эти слова тоже слишком стары и затерты и почти утратили смысл. Сейчас наконец мне комфортно с ними, я свыкся с ними, как свыкся со всем старым и затертым, со всем, что почти утратило смысл. Так что и с вами я буду говорить такими вот словами, говорить из древнего затертого мрака, заслоняющего теперь древний затертый свет, древнее затертое счастье, древнюю затертую любовь и древнюю затертую радость.

Так как терять мне уже нечего, то я поворачиваю ключ и распахиваю двери этой церкви, ничего не скрывая и не побоясь никакой правды. Я не стану утруждать себя подбором слов. Такой труд, как и прекрасный день, с которого начнется мой рассказ, уже не для меня.

А день, господи, был прекрасный. Как и каждый день того лета. Я покинул Нью-Йорк более месяца назад. Сначала Юкатан, потом из Канкуна на Кубу.

Поздними вечерами, когда мелодии и ритмы сона и данцона, румбы и мамбы, бой барабанов и стук ножей проникали сквозь ставни комнаты отеля «Санта-Исабель» в Гаване и входили в меня, я спускался на Плаза де Армас, чтобы смеяться с тем, что вошло в мою кровь. Я брел туда, где затихали мелодии и ритмы, туда, где в горячем ночном воздухе таилась опасность: к заброшенным черным останкам крепости де ла Фуэрца, к грязи и нищете побережья. Я был странно спокоен и нарочно не спешил уходить, словно напрашиваясь на встречу с уползвшим при моем приближении злом. Потом возвращался к мелодиям и ритмам, внимал им, пока все не умолкало и не погружалось в тишину, и отправлялся спать.

Днем я спасался от духоты и зноя, находя убежище в парикмахерской на калье Обиспо, заведении, ведущем свою историю со времен конкистадоров. Разгуливая среди уличных торговцев, теснившихся в тени аркады,

я искал следы прежней Гаваны, той, что умерла вместе с режимом Батисты. И в первую очередь меня интересовали *fichas casino*, фишки из старых казино. Но мои распросы о такого рода вещах смущали и беспокоили торговцев, потому что сами такого рода вещи являлись артефактами запрещенной истории. В конце концов один смельчак все-таки позвонил куда-то, а потом, получив назначенную плату, дал мне адрес и имя человека, которого охарактеризовал как историка-изгоя и коллекционера.

Ближе к ночи я посетил этого человека, Лазаро. Видя во мне храбреца *americano*, рискнувшего пробраться в его квартирку на пользующемся дурной славой углу калье Компостело, он не мог не воспользоваться редкой возможностью поговорить свободно и без опаски. Меня интересовали кое-какие вещицы из его коллекции и ничего больше, но необходимость слушать — при том, что я не понял и половины услышанного, — входила в установленную цену.

Лазаро не проявил желания расставаться со многими из наиболее приглянувшихся мне предметов, однако в конце концов я все же сторговался с ним и приобрел черно-белую фотографию обнаженной женщины, перевязанной лентой с надписью «*Miss Modelo 1957*». Победительницу держали на руках, две из которых — по одной на каждом из премиальных бедер — принадлежали сияющему президенту Батисте. Но конечно, фотография ничего не значила по сравнению с фишками: «Гавана, Ривьера», «Казино “Севилья”», «Тропикана», «Казино “Уилбур Кларк”». Самая замечательная не имела названия заведения: заключенный в темно-красный круг, выложенный такими же темно-красными буквами на белом фоне, ее смелый девиз говорил громче любых слов. *Hakenkreuz*, нацистская свастика. По словам Лазаро, эта фишка была из давно забытого казино «Але-

ман», стоявшего со дня основания в 1862 году на пересечении Прадо-променад и Нептун-стрит.

Из Гаваны я отправился на юг, в Кахо-Ларго. На одной из оконечностей этого островка находится самый красивый и чистый пляж всего Карибского бассейна. На другом конце, там, где обрываются все дороги и начинается пустошь, стоят разбросанные на побережье ветхие домишкы, объединенные названием Исла дельи Сюр-Резорт. Я делил хижину с бесчисленными ящерицами. Снаружи обитали здоровенные игуаны, тихонько ползавшие вокруг, и большие сухопутные крабы, которые скреблись, царапались и хрустели, пробираясь по каменистым тропинкам. Между двумя столбами висел гамак, облюбованный не только мной, но и теми же ящерицами. На единственной в округе заправочной станции мне удалось взять напрокат мотоцикл. Обычно я оставлял его у дороги, потому как преодолеть территорию от дороги до домика ему было не по силам.

Однажды утром я отправился понырять с лодки, хозяева которой промышляли добычей креветок у другого края острова. Я сел на мотоцикл и свернул на дорогу, но свернул слишком быстро, слишком резко и слишком круто. И меня выбросило на камни и колючки. Подняв голову, я увидел, что мой мотоцикл летит прямо на меня.

Отчаянные попытки отползти привели только к тому, что камни и шипы еще глубже врезались в мою плоть, а потом на меня обрушился сокрушительный вес ржавого металла, стучащего мотора и крутящихся колес. Потрясенный и дрожащий, я неловко выбрался из-под всего этого и поднялся. Потом начал выдергивать колючки. И лишь тогда увидел свое развороченное левое колено. Рана казалась глубокой, но крови было немного, и боли не чувствовалось. Я знал, что это плохо.

Однажды, давным-давно, меня пырнули ножом. Лезвие вошло в запястье, но рана меня не встревожила, по-

тому что кровь почти не текла. А потом рука похолодела, распухла и посерела. В больнице врач — или, по крайней мере, какой-то парень в белом халате — сказал, что все дело в закупорке вен и что от этого можно умереть. И еще он попросил меня свести вместе кончики большого и указательного пальцев моей гротескно распухшей руки.

Я заставил их сблизиться на расстояние двух дюймов друг от друга, и тогда он сдавил мою руку обеими своими. Кровь ударила в потолок. Потом парень зашил рану.

Так что я знал, что делать: оперся правой рукой о руль мотоцикла, согнул левую ногу, обхватил лодыжку левой рукой и дернул вверх так, что каблук врезался в задницу. Кровь прыснула и потекла. Заштопать себя я не мог, а потому обвязал колено рубашкой, поднял мотоцикл и покатил дальше.

Поднявшись на борт, я снял повязку. Колено выглядело не слишком плохо и досаждало не слишком сильно. Мы бросили якорь, и пара старичков, дымя сигарами, расположились на корме. Я указал на колено и на ломаном испанском спросил у *el capitán*, можно ли плавать с такой открытой раной.

— *El mar cura todo**, — ответил он.

Улыбка у него была чудесная: темно-желтые, цвета выдержанного вина зубы, украшенные там и тут тускло сияющим золотом и обрамленные обветренным, пронизанным венами, морщинистым лицом, напоминающим вывешенные для сушки листья табака «мадуро».

Рыбы тоже были чудесные. Я блаженствовал, медленно проплывая между ними. Потом в молчаливой прозрачности подводного мира появилось несколько вполне заурядных на вид и скучных рыбешек. Струйка крови вытекла из моего колена, и я заметил, что эти зауряд-

* Море все лечит (*исп.*).

ные на вид и скучные рыбешки собираются в нескольких ярдах от меня, там, где струйка крови растворялась, смешиваясь с водой. Почти одновременно с этим я понял, что заурядные на вид и скучные рыбки — это барракуды. Несспешный, прогулочный стиль был мгновенно забыт. Я развернулся и заработал руками и ногами так, что море вскипело.

Баттерфляй... кроль... все вместе и сразу. Смертельный заплыv. Вскарабкавшись на палубу, я едва отдохнулся.

— Tiburón? — осведомился el capitán.

— Нет, барракуда.

Улыбка у него была чудесная.

Я сел и закурил. Колено выглядело плохо. Колено сильно болело.

Единственным медицинским учреждением на островке оказалась амбулатория у взлетной полосы. Медсестра обмазала колено какой-то белой субстанцией, быстро затвердевшей наподобие штукатурки.

К тому времени, когда я вернулся к домику, сил у меня хватило лишь на то, чтобы, моргая и морщась, дохроматить до гамака и рухнуть в сетку под сочувственные взгляды смотрителя.

Лежа с вытянутой ногой, прислушиваясь к пульсирующей в колене боли, теперь уже я наблюдал за ним. Вооружившись веревочной петлей и сунув за пояс мачете, этот скромный и молчаливый юноша полез на росшую в отдалении высокую пальму и через какое-то время скрылся в ее кроне. На траву упали два кокоса.

Подойдя ко мне, смотритель улыбнулся. Сел на ступеньку крыльца и положил кокосы на землю перед собой. Сильными, ловкими ударами мачете срезал сначала верхушку, потом расколол оба, поднялся и подал один кокос мне. Доброта юного незнакомца и снимающее жажду теплое молоко свежего плода стали для меня

подарком богов. Второй кокос парень оставил на ступеньке крыльца, прислонив к столбу, на котором крепился гамак.

Он еще раз улыбнулся и ушел.

Вечером того дня, как и в последующие дни и вечера, юноша принес мне ужин, приготовленный в большом домике, служившем одновременно кухней и столовой.

Целыми сутками я валялся в гамаке, слушая шум волн, куря, страдая и предаваясь сну. Смотритель регулярно навещал меня, улыбался и, оставив еду, уходил. Никогда еще боль не была такой приятной.

Навестила меня и медсестра из амбулатории. К тому времени колено распухло так, что гипс потрескался и раскололся. Увиденное, похоже, ее обеспокоило. Она потрогала мой лоб, послушала сердце и принюхалась к исходящему из-под гипса запаху. Потом она заговорила, но я понял из ее речи очень мало. Этим «мало» было слово *gangrena*.

Кахо-Ларго — узкий островок. Его северный берег, простиравшийся едва ли в миle от того места, где я отыхал, представлял собой заросли мангровых деревьев и болото, в которых в изобилии водились лишь москиты и болезни. Жара и влажность, тяжелый, насыщенный миазмами воздух, освежаемый лишь южным ветром, делали остров довольно опасным местом, где любая инфекция грозила серьезными неприятностями. Медсестра надеялась, что прилетающий каждую неделю транспортный самолет доставит какие-нибудь лекарства, возможно даже *antibióticos*, но он не привез ничего такого, что могло бы мне помочь.

Лекарства и бакалея, на Кубе с этим трудно. Трудно было и с бумагой. Медсестра принесла мне несколько оторванных по линейке клочков дешевой бумаги «для заметок». На каждом стоял едва различимый лиловый штамп со словами «SERVICIOS MÉDICOS». На одном

листке женщина нацарапала название необходимого мне препарата: *Sulfadiazina de plata*. Заглавная «S» вышла у нее очень изящной и красивой. Она сказала, что мне нужно немедленно вернуться в Гавану за этим лекарством.

Один из спорадических рейсов «Compañía Cubana de Aviación»* должен был отправиться на следующее утро. Большая часть воздушного флота Кубы состояла из русских летающих гробов, таких как двухмоторный Ан-24, один из которых незадолго до того разбился возле Сантьяго, убив сорок четыре находившихся на его борту человека. Беда одна не ходит. Вскоре после крушения Ан-24 еще два русских самолета потерпели аварию в течение одной недели, убив еще сорок семь человек.

Я лежал уже три дня. Мне это нравилось. *Gangrena*. «Compañía Cubana de Aviación de la Muerte»**. Ядовитые миазмы, отравляющие воздух в милю к северу и только поджидающие попутного соленого ветра. Наплевать. Мне не было до них никакого дела. Я хотел только одно: лежать здесь, в гамаке.

В тех редких случаях, когда я шел в туалет или по какой-то причине брел в домик, я старался налегать на здоровую ногу и опирался на палку, вырезанную добрым незнакомцем из сука очень твердого дерева, растущего на краю пустоши. Пришла пора. Я вылез из гамака и не стал брать палку. Какое-то время я стоял, выравнивая давление на обе ноги. Потом шагнул. На берегу, насколько хватало глаз, никого не было. Хромая, спотыкаясь и пошатываясь, я добрел до моря и вошел в воду. Налетевшие волны опрокинули меня. Я сидел, вытянув ноги, откинув голову, опершись руками на плотный мокрый

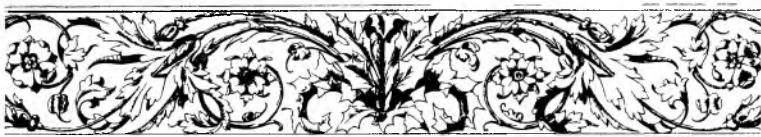
* «Кубинская авиакомпания» (исп.). (Прим. ред.)

** «Кубинская авиакомпания смерти» (исп.). (Прим. ред.)

песок, чувствуя, как снова и снова меня приподнимает набегающее море, как перекатываются через меня волны. Колено жгло, словно горело в воде, вскипающая ключая пена рвала, разъедала и смывала остатки гипса, опаляла и прочищала открытую багровую рану солью. Я поднял голову и посмотрел на солнце, медленно погружавшееся в раскаленное золото моря.

— *El mar cura todo*, — провозгласил я.

Но слова эти, как и сопровождавший их вырвавшийся из неведомых глубин меня самого хохот, потерялись в яростном шуме золотого моря.



Через несколько дней лечебных процедур и скитаний по Гаване с ее изнуряющей жарой, грязью и нищетой мелодии и ритмы ночи перестали входить в мою кровь, потому что я слышал в них то, чего не слышал прежде: безыскусную имитацию, слепое повторение, безжизненное копирование, *para los turistas*, давно умершей радости. Они превратились в помеху, раздражающий шум, мешающий уснуть.

Я еще не сознавал, что именно это и проникло в меня тогда: смерть.

Мертвая музыка, всего лишь несколько недель назад увлекавшая меня из отеля в ночь, уводившая туда, где вроде бы таилась смерть, не значила больше ничего, как будто ее и не было. Все, что притягивало меня и к чему тянулся я сам, обратилось в ничто, исчезло. Да, смерть вползала в меня тонкими струйками, проникала в вены, но теперь эти вены жаждали настоящих мелодий и ритмов, настоящей ночи и настоящих теней, скрывающихся в настоящей тьме, а не пустой безжизненности и тупого равнодушия к опасности.

Именно в музыке южного моря, в величественном реве созидания и разрушения, в бесконечном песнопении волн, рождающих, баюкающих и хоронящих, в их приливах и отливах, приносящих и уносящих, нашлись подлинные, настоящие мелодии и ритмы подлинно, реально существующего. Во мраке ночи, когда я лежал в гамаке, мне казалось, что звезды, эти отблески бесконечно-

сти, и облака, эти скопления теней, плывут и сплетаются с музыкой этого рева, рождающего, убаюкивающего и хоронящего, с этими приливами и отливами, приносящими и уносящими, с этой необъятной благочестивой и неумолимо жестокой песней, не имеющей ни начала, ни конца. Во мраке ночи, лежа в гамаке, я почувствовал, что странная жажда в крови затихла, как раньше затихла другая жажда, жажда исцеления, утоленная теплым молоком свежесрезанного кокоса, принесенного мне добрым юным незнакомцем. Во мраке ночи, в гамаке, я ощущал море как великого древнего старца, как великого незнакомца, существующего вне понятий добра и зла, чье проникновение в меня неподвластно моей воле и недоступно моему пониманию.

— Слушай, — прошептал я однажды ночью — самому себе, или тому невидимому и неизвестному, кто был со мной, или таинственной и неутоленной жажде, что поселилась в моих венах, или духам, собравшимся в той церкви внутри меня, — они поют нашу песню.

Но сколь долго жила смерть в моих венах? Не вступил ли я в эту жизнь уже в некоем зародышевом саване? Не был ли крик новорожденного одновременно и погребальной песней?

Мне было шесть лет, когда я впервые отнял жизнь у другого человека.

Неужели я и впрямь написал эти слова?

Боже, как же несет от них дешевой риторикой напыщенной важности.

Писательское ремесло становится привычкой, от которой не так-то просто избавиться. Этот погонщик не слезет с вас до смертных мук. Возьмите хотя бы умирающего Генри Джеймса. Разбитый параличом, пускающий слюни, бормочущий нечленораздельно: «Ну наконец что-то достойное».

Лучше всех выразился Флобер, давший точный диагноз писательского недуга, заключивший его в слова, которые отпечатались во мне с того самого времени, когда я пришел к пониманию того, что большая часть написанного, самое важное и самое почитаемое — это не более чем искусная продажа себя.

«Обороты речи, — писал он, — скрывают заурядную аффектацию: полнота души может иногда выплеснуться пустейшими метафорами, поскольку никто и никогда не способен выразить в точной мере свои потребности, свои взгляды, свои страдания, и слово человеческое подобно старым литеаврам, которыми мы выбиваем мелодию, подходящую для танцующих медведей, тогда как пытаемся подвигнуть звезды к жалости и сочувствию».

Он пребывал в бесконечных муках, стараясь изобрести *le mot juste*, совершенное слово для выражения того, что ему хотелось сказать. Ему понадобилось двадцать лет, чтобы открыть для себя, чему свидетельством его последнее законченное сочинение, что самые точные слова есть самые простые, настолько старые и затасканные, что они почти утратили смысл.

Поисками *le mot juste* озадачил себя и Эзра Паунд, оценивший в конце весь огромный труд своей долгой жизни как неудачу. «Я пытался описать рай», — написал он в поэме, которую начал сочинять пятьдесят семь лет назад. Но описать рай — задача недоступная даже величайшим поэтам, потому как рай — и это понял умудренный годами Паунд — лежит за пределами слов. Так тому, что началось много лет назад с гомеровского порыва «рассечь волны», устремиться в море, суждено было закончиться:

Пусть Бог простит,
Что сделал я.
Пусть те, кого люблю, простят
То, что я сделал.

Нет, рай невозможно описать словами, и нет слов у того, кто заглянул в рай:

Не шевелись.
Пусть ветер говорит.
Вот это — рай.

Иногда мне кажется, что еще лучше эта мудрость звучит в итальянском переводе дочери Паунда, Мэри де Рашвильц:

Non ti muovere,
Lascia parlare il vento
Così è Paradiso.

Le mot juste — это молчание, тишина. И если я не могу сейчас последовать этой мудрости — такое все же случится очень скоро, — то должен хотя бы перестать быть писателем в проклятом, жалком и позорном смысле профессии. Я должен отказаться от всего хитроумия и всей изощренности, присущих этому постыдному ремеслу продажности. Я должен перейти к простоте. У меня нет времени расточать похвалы простоте, как нет его ни на то, чтобы оглядываться на написанное, ни на размышления. Я не могу считать книгой выходящие из меня слова, но должен относиться к ним как к завещанию или свидетельству, дабы тщение о них не помешало довести рассказ до конца. И так как я не знаю, какой срок мне отпущен, то с тем большим небрежением к словам нужно идти дальше.

Конец не должен наступить раньше, чем повесть достигнет финала, прежде чем я выскажу все слова, потому что они не только составная моего собственного конца, не только завещание и свидетельство, но и подлежащее доставке письмо-бомба, которое оторвет руки и уничтожит лицо того, что мы называем культурой, и того, что мы называем историей. Существует немалая вероятность, что, даже если я доведу повесть до конца,

ей просто не дадут ходу или открыто уничтожат, тем более что со мной считаться уже не придется. Но об этом думать сейчас не надо, а кроме того, рукопись будет передана тому, кому я доверяю больше всех и кто, возможно, сочтет мое письмо-бомбу всего лишь особой литературной формой.

Итак, вперед, позабыв о литературных достоинствах и похвалах, отказавшись от крылатого жеребца фантазии в пользу трудяги мерина честности. Нет, это не книга, и она не представляет меня как писателя. Да и важно ли это? Большинство читавших меня не способны отличить хорошую работу от плохой. Вскоре я уйду, и обо мне забудут. Две-три книжки из примерно дюжины да горстка стихов... Пусть судят по ним. И опять же, как я уже сказал: какое это имеет значение?

Хорошо выразился Хемингуэй: «Потомство может само о себе позаботиться, а нет — ну и черт с ним». Возможно, это лучшее из всего написанного жирным педиком. А раз так, то всю эту приторность, все это охвостье былого шкурничества, манерности насчет того, как я отнял у кого-то там жизнь, и прочие пустяки должно отбросить. Меня тошнит от бессмысленной литературной чуши. Я противен себе. Пойду покурю, выпью кофе и побреюсь.

Уже рассвет. Воскресенье. Божий день.

Итак...

Мне было шесть лет, когда я убил человека. Ему было года на два больше. Это случилось в пасмурный, дождливый день на пустынной улочке возле стекольной фабрики, больше похожей на свалку: высокие ржавые заборы из рифленой жести прогнулись под давлением огромных куч битого стекла, которые кое-где продавили хлипкое ограждение. Наверное, там уже никто не работал: по крайней мере, никаких признаков активности не наблюдалось, но название сохранилось.

То были добрые старые времена, когда, повернувшись к центру города, вы видели только открытое небо и величественные строения другого века, когда городские язвы — заброшенные или бурлящие склады и фабрики, пустыри, полусгнившие пирсы, аллеи, все эти бесчисленные сокровища детства — казались такими же романтическими и волшебными, как заколдованные леса в книжках с картинками. Теперь панорама центра уничтожена. Над всем доминируют громадные башни-близнецы — воплощение абсолютной уродливости, посредственности и заурядности; на месте помойных ям высится сооружения поменьше, но такие же уродливые, посредственные и заурядные. Заброшенные или бурлящие фабрики стали ценной собственностью, «милым пространством», пустыри заполнились примерно тем же, аллеи исчезли, превратившись в «рекреационные зоны» и унылые «эспланады», и даже дети уже больше не дети, а комочки пресной жвачки из отведенного для них раздела «Нью-Йорк таймс», продукты «родительской заботы», подрастающие в тех самых «жилых пространствах», ограниченные рамками «структурной активности» или «качественного времени», напичканные кашей «политической корректности», компьютеров, телевизоров, привыкшие к «сбалансированной диете» с редкими «угощениями» и «перекусами». Им негде пошататься, они лишены воображения и свободы, они появляются из поддерживаемой «в тонусе» занятиями по аэробике и просканированной ультразвуком матки, носят модные имена и обречены на общее для всех безжизненно стерильное существование в безжизненно стерильном мире.

Снова я отвлекаюсь, а не должен. Да и кому какое дело до всего этого? Когда-то я сам думал о мире и человечестве, но то время прошло.

В общем, дело было так. Тот парнишка тащил маленькую красную металлическую тележку, старую, покореженную, загруженную стопками каких-то древних, намокших газет. Не помню, нес ли он его открыто или достал откуда-то из тележки, когда я наткнулся на него, или наоборот, но я вдруг увидел направленный в мою сторону разделочный нож.

И я помню, что он сказал:

— Эй, пацан, хочешь умереть?

Мне стало страшно. Уже потом, много позже, я понял, что напугал меня не нож и не мальчишка. Напугал вопрос. Напугало необъяснимое, жутковатое ощущение нерешительности или, скорее, смутное, беспокоящее осознание этой необъяснимой, жутковатой нерешительности. Будучи ребенком, я не мог ни выразить это, ни постичь, но я почувствовал что-то, что и напугало меня.

Брат моего дедушки, занимавшийся рэкетом и исповедовавший свою собственную религию, незадолго до того дал мне совет: окажешься один и увидишь приближающегося незнакомца, поищи в мусорке пустую бутылку из-под пива или колы, отбей донышко ударом о бордюр — и вот тебе отличное оружие. И вот что получилось. Я прозевал незнакомца и теперь стоял среди битого стекла с пустыми руками. Поэтому я изо всей силы пнул парня в голень. Он выронил нож. Я подобрал. И ударил. Он отшатнулся, зацепился за ручку тележки и упал спиной на тротуар. Я прыгнул на него. Уселся на его впалый живот и вскрыл тонкое горло лезвием разделочного ножа, отняв у парнишки сначала голос, а потом и жизнь. Я убил не его самого, а только его вопрос. С ним он и умер.

Сделав это — разрезав горло, а не пронзив сердце, чего вполне можно было ожидать от ребенка, считающего сердце самым важным органом и наилучшей целью для решающего удара, пусть даже он слабо представлял, где

оно располагается,— я понял, что скопировал жест, привычный для брата дедушки, его братьев и других членов семьи: перечеркнуть горло ногтем большого пальца или выпрямленным указательным. Чаще этот жест означал угрозу или оскорбление в адрес другого — *ti scan-no*, — но моя бабушка, бывшая родом из Абруцци и вышедшая замуж за одного из этих чудных братьев из Пульи, пользовалась им, чтобы показать, что сыта по горло и готова либо порешить себя, либо перерезать всех подряд. Только теперь, обливаясь потом на Кубе и раздумывая над тем, как давно проникла смерть в мои вены, я пришел к выводу, что если тот жест и повлиял на манеру поступка ребенка, то само деяние, вероятно, стало результатом проявления инстинкта, рефлексом. Вопрос-то ведь вышел из горла убитого.

Я уже отошел на какое-то расстояние, когда увидел, что все еще держу в руке окровавленный нож. Мне хотелось оставить его, но я знал — от орудия убийства надо избавиться. Я бросил его через решетку коллектора на углу улицы. Кровь на пальцах уже загустела и сделалась коричневой. У меня хватило ума не вытираять руку о рубашку или штаны. Я был расстроен и дрожал. Однако не чувствовал ни вины, ни стыда. И за все прошедшие с тех пор годы, часто одолеваемый бессмысленным стыдом и раскаянием, я ни разу не ощутил стыда и раскаяния за то, что сделал в тот хмурый день далекого детства. И хотя сны мне снились всегда неприятные и населенные по большей части мертвецами, тот парнишка в них не появлялся.

Больше всего беспокоило то, что в наступающем году мне предстояло первое причастие. Готовясь к сему событию, мы, мальчишки из скромной муниципальной школы, должны были посещать еще и воскресную с целью получения максимально эффективной дозы религии, которую дети из приходской школы получали ежедневно.

И не только это: до начала занятий в воскресной школе нас еще заставляли ходить на службу, и монахини проверяли, все ли на месте. Если кто-то отсутствовал, его не допускали в воскресную школу, а исключенный из школы не допускался к первому святому причастию. В общем, вся эта муть с Богом, таинствами, службами и монахинями уже доставала меня, а еще больше меня доставало то, к чему это вело: первая исповедь, без которой нет и первого причастия.

В чем, скажите, исповедоваться шестилетнему мальчишке? «Благословите меня, святой отец, ибо я согрешил». Но что потом? Добрые монахини снабдили нас запасом грехов. «Я украл», «Я не слушался отца и мать», «Я не почитал родителей», «Я... что? Быстро говори». То есть я хочу сказать, что когда доходишь до сути, то выбор у семилетнего мальчишки невелик. В те времена даже такое извечно популярное, как «я осквернил себя», еще не вошло в репертуар. Мне понадобилось еще пять лет, чтобы начать мастурбировать, курить, пить и воровать по-настоящему. И когда это случилось, у меня, поверьте, не было ни малейшего желания в чем-то кому-то признаваться.

Но в шесть вся эта хрень насчет греха, таинств и исповеди доставала меня. Монахини... Ох уж эти монахини! Если ты не исповедовался в грехе, Бог мог покарать твою мать. Однажды один мальчик пнул собаку и не раскаялся в этом, а потом охромел. Однажды один мальчик вместо исповеди отправился в кино. А когда возвращался, на него наехал грузовик: не покаявшись, он попал прямиком в ад. Мальчик сделал это, мальчик сделал то... Мальчик, мальчик, мальчик. Всегда мальчик. Послушать монахинь, наверняка тискавших друг другу по ночам и запускавших руку в кружку для пожертвований в пользу бедных, так девочки вообще не ведали греха. Как будто пока Адам грыз то самое яблоко, Ева

занималась благотворительностью. Даже позднее, когда пришла пора полового созревания, тема «самоосквернения» никогда не становилась предметом спекуляций в среде расцветающих представительниц обиженного пола, хотя некоторые из наиболее созревших делали все возможное ради отвлечения нас от данной конкретной скверны. Я хочу сказать, что в конце-то концов рука была ее. Впрочем, к тому времени ты уже понимаешь, что к чему, и знаешь, от каких священников лучше держаться подальше: «Как часто? Какие именно грешные мысли?»

Но, как я уже сказал, в шесть лет перспектива оказалась в тесной комнатушке с одним из этих ребят вызывала у меня дрожь в коленках, а монахини делали свое дело хорошо. Каждый грех становился еще одной раной на теле распятого Христа. Не то чтобы я этому верил, но коленки все равно тряслись.

И вот нате вам. Я знал, что убийство — большой грех. Из верхней десятки. То есть если брать заповеди по порядку, то в списке он не на самом верху, а идет после «Почитай отца твоего и мать твою», но все равно он там есть — «Не убий». Помню, потом, спустя несколько лет, я все же заглянул в Библию и сначала наткнулся на знакомое: «Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим». Дальше шло: «ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель». Почему нас не заставляли заучивать эту часть? Почему хотя бы не рассказали? Я имею в виду насчет «я Господь, Бог твой, Бог ревнитель»? Что это? Моисеева версия песенки «Шилдс» под названием «Ясхитрил»? Или «Недотрого Сью» Дион и «Бельмонтс»? «Десять заповедей любви» Харви и «Мунглоуз»? Я хочу сказать, Бог в Библии, похоже, так повернут на том, чтобы эта коллективная избранная задница, этот Его избранный народ не глазел на других богов, что отдельных убийств Он как бы и не замечал. Я хочу сказать, что «Да не будет

у тебя других богов» повторяется снова и снова на сотню с лишним слов, а потом — бац, бац, бац, будто ему просто понадобилось заполнить свободное место на скрижали: «Не убий. Не прелюбодействуй. Не укради».

Но в шесть лет от одной мысли, что придется входить в ту комнатушку и открывать там рот, у меня дрожали коленки. От одной мысли, что надо войти туда и признаться в убийстве, у меня мозги коченели от страха. Даже если Он, сам Господь Бог, ставит убийство ниже работы по воскресеньям или непочитания отца и матери, одна эта мысль сводила меня с ума.

Я отправился на поиски брата дедушки. В клубе его не было, зато я нашел его в гараже. В этом гараже никогда не стояла ни одна машина, а вот брат дедушки пропадал там частенько, хотя сам гараж ему не принадлежал. Мой родственник сидел на стуле, в шортах-бермудах, старых, без шнурков туфлях из крокодиловой кожи, надетых на босу ногу, и в белой рубашке, не застегнутой и не заправленной. На голове шляпа, сдвинутая не набок, а на затылок. Во рту веревка. В общем, он выглядел как обычно.

- Привет, старина, — сказал брат дедушки.
- Привет, дядя, — сказал я.
- Ну и видок у тебя. Привидение встретил? Что случилось?

Он посмотрел на засохшее темно-коричневое пятно у меня на руке, но промолчал.

- Я убил какого-то мальчика.
- Когда?
- Только что.
- Где?
- На стекольной фабрике.
- Как?
- Перерезал ему горло.
- Он местный?

-
- Раньше не видел.
 - Где перо? — Дядя заметил, что я его не понял. — Нож. Где нож?
 - Выбросил в канаву.
 - Иди умойся.

Он кивнул в глубь гаража. Иногда к нему приходили люди. С одними он сидел у входа, других принимал по-далыше от посторонних глаз. Там, у дальней стены, стоял умывальник. Умывшись, я почувствовал себя лучше. Дядя, вот кто заменял мне исповедника, и он никогда не повышал голос и не проклинал меня.

- Почему ты это сделал?
- У него был большой нож, и он спросил, хочу ли я умереть.
- Значит, начал не ты. Начал он.
- Да.
- Как ты себя чувствуешь?
- О'кей. Теперь. Теперь я о'кей.
- Хочешь сделать на этом карьеру или что? Считаешь себя маленьkim крутым парнем?
- Нет.
- Хорошо. Потому что никакой ты не крутой. Помнишь, что я всегда говорил? Золотое правило. Возлюби ближнего своего.
- Да.
- И не будь таким, как этот парень, на которого ты наткнулся. Не задавайся.
- Да.
- Да. Ты ведь не задаешься, нет? А еще? Что еще я тебе говорил?
- Не задавайся и не позволяй никому задаваться.
- Так, значит, ты ничего такого не делал?
- Нет.
- Уверен, что он не местный?
- Раньше я его не видел.

- Подойди сюда.
- Я подошел, и он потрепал меня по плечу и взъерошил волосы.
- Дядя!
- Что?
- Мне надо рассказать об этом, когда я пойду на исповедь?
- О чем ты? Какая исповедь?
- У меня первое святое причастие.
- А-а, это... Бог повсюду, верно?
- Да.
- И Он все слышит?
- Да, Он все видит и слышит.
- Так кто важнее, Бог или священник?
- Бог.
- Ну вот, Бог услышал твое признание. Ты сказал об этом вслух. Я слышал. Бог слышал.
- А ты тоже так делаешь?
- Я так делаю.
- И что? Греха уже нет?
- Ты не согрешил. Согрешил тот парень, который без всякого повода вытащил нож. Грех на нем. Бог наказал его через тебя.
- Спасибо.
- Друзья?
- Друзья.
- Я улыбнулся. В его глазах тоже была улыбка.
- Только помни: то, что происходит между нами и Богом, — это нечто особенное. Никому об этом не говори. Вот это грех. Большой грех.
- Я понял. А главное, получил прощение. Я никому не рассказывал о том убийстве, и прошло еще тринадцать лет, прежде чем я убил другого человека.
- Но это не важно.
- Эй, пацан, хочешь умереть?

Так получилось, что это воспоминание и этот вопрос посетили меня на Кубе, когда я лежал в гамаке, чувствуя, как входят в меня смерть и шум моря.

Гангрена.

Услышав это слово в ночной тиши, я поймал себя на том, что произношу его шепотом, перекатывая и растягивая «р», копируя и утируя испанский акцент, обращаясь к распухшему колену приподнятой и вытянутой ноги: *гангрррена*.

Гангрена. Ампутация. Неприятная болезнь. Неприятное лечение. В тот период жизни я каждый день проживал под угрозой ампутации. Диабет. Он не очень заметен в окружении СПИДа и рака груди, но за год убивает людей больше, чем эти двое, вместе взятые. СПИДом больны примерно три четверти миллиона человек в Соединенных Штатах Америки, раком груди — около двух с половиной миллионов, всего получается чуть меньше трех с половиной миллионов. Диабетиков в Штатах шестнадцать миллионов. СПИД ежегодно убивает примерно тридцать с чем-то тысяч американцев, рак груди — около сорока с лишним тысяч, всего около семидесяти пяти тысяч. Диабет каждый год убивает более ста восьмидесяти тысяч человек. Ежегодно правительство выделяет на исследования СПИДа и рака груди немногим более двух миллиардов долларов. На исследование диабета оно дает менее трехсот пятидесяти тысяч. Достаточно посмотреть на цифры, чтобы сделать вывод: эта болезнь не в моде, на ней хрен заработкаешь.

Что же происходит с диабетиками? Скажем так, они подвержены тенденции умирать молодыми. Мягко говоря. Причиной большинства смертей становятся осложнения. В этом мерзком перечне и слепота, и диабетическая кома, и почечная недостаточность, и гипергликемический приступ.

К ампутации, точнее, как бывает чаще всего, к ампутациям ведет почти неизбежная невропатия, распространяющаяся от конечностей. Контролировать ее пытаются хирургическими средствами, отрезая сначала палец, потом стопу, потом... Ну и так далее. Затем переходят на другую ногу.

У меня диабет диагностировали на поздней стадии, несколько лет назад, после того как я за три месяца сбросил пятьдесят фунтов веса и решил, что умираю. Мне объяснили, что если четко контролировать уровень глюкозы, то шансы остаться в живых довольно неплохие, где-то пятьдесят на пятьдесят. Контролировать уровень глюкозы дело непростое, надо не только принимать лекарства, но и придерживаться жесткой диеты. И тут речь не идет всего лишь об отказе от сладкого, макарон, хлеба, выпивки, фруктовых соков и прочего, потому что все, перевариваемое человеком, за исключением воды, превращается в организме в сахар. Трудно контролировать уровень глюкозы и при этом есть приличную пищу. Я люблю поесть, но на какое-то время себя ограничил. Потом заметил, что вопреки всем моим лишениям показатели, то есть уровень глюкозы, почти не улучшаются. Обмен веществ у каждого свой, и истинная природа диабета многолика и загадочна. Проблема не только в неспособности организма вырабатывать инсулин. Иногда, как в моем случае, клетки не поглощают или не перерабатывают сахар в крови, и это сильно осложняет борьбу с болезнью.

Потом откукарекал мой петушок: что-то с кровеносными сосудами, тоже результат черной магии, называемой невропатией. К счастью, этот аспект невропатии не требовал ампутации грешного придатка. Не знаю, как звучит медицинский термин, но то, что случилось у меня, является как одним из главных симптомов диабета, так и наиболее распространенным его осложнением у

мужчин. Но сколько их, не потерявших пятидесяти фунтов за три месяца и не догадывающихся об истинной причине своего позора, не идут к врачу из-за стыда и, таким образом, могут просто умереть от смущения и нерешительности. К черту их.

В моем случае разрыв кровеносных сосудов наступил позднее. Было очень огорчительно. Дело не в том, что мне так уж хотелось трахаться. Я немало пожил, немало повидал и был к тому времени прожженным трахальщиком, настоящим знатоком траханья. Но даже если мне не хотелось трахаться, я хотел быть в состоянии трахаться. И конечно, утратив способность трахаться, я сразу же захотел снова этим заниматься. Сначала по-пробовал сделать укол, оживить петушка той дрянью, которую дал уролог. Потом глотал пилюли. И наконец решил: в задницу все это деръмо. Я радовался тому, что на протяжении нескольких лет каждодневно трахал трех разных шлюх в туалете одной и той же забегаловки. Я радовался тому, что трахал жен, подружек, любовниц, матерей и дочерей всех своих знакомых. Если все это кончилось, так тому и быть. Мне вспомнились слова, приписываемые Фрэнку Костелло: что-то насчет того, сколько пуль у тебя в винтовке. Solo pisciare, как говорили парни с той стороны океана. Solo pisciare. Я гулял, напевая старую песенку «Шейхов Миссисипи» под названием «Карандаш больше не пишет».

Мне просто не по себе,
Куда б я ни попал,
Все думаю о моем стареньком карандаше.
Он больше не пишет.
Каждый думает:
Вот было время,
Оно не повторится,
Потому что стержень исписался.
Я, бывало, писал везде,
Везде оставлял свой знак.

Теперь стержень исписался,
Не могу провести и строчки.
Как мне быть, не знаю,
Хоть умирай.
Чиню карандаш ножичком,
Но стержня как нет.

На второй стороне пластинки была песня «Я — Дьявол», вполне под стать «Карандашу».

Да, я Дьявол, и мне наплевать!

К черту меня и к черту мой член. Меня достала болезнь, отправившая его в отставку. Я отказался признать за ней право лишить меня удовольствия, которое доставляла еда. Одно дело отнять использованный член у дегенерата и совсем другое — отобрать макароны у макаронника. И ради чего? Ради пятидесятипроцентного шанса продлить жизнь? Какой смысл в таком пари?

Да и кому жизнь продлять?

— Не могу поверить, — сказала очаровательная юная леди, бывшая в то время моей.

Мы сидели в хорошем итальянском ресторане, и я только что разделся с ужином, достойным дьявола, — да, гулял вовсю, распевая песенки с обеих сторон пластинки, — и теперь хозяин принес именно то, чего я и жал на десерт.

— Не могу поверить, — сказала очаровательная юная леди, бывшая в то время моей. — Ты предпочитаешь мне это мороженое?

Отпусти кто-нибудь такое замечание несколько лет назад, я бы посоветовал тому, кто его сделал, заткнуться на хрен и оставить меня к гребаной матери в покое. Но теперь я был трезв и мягок, а потому, обдумав ее слова и приняв во внимание ее чувства, ответил здраво, мягко и честно:

— Ну, раз уж ты ставишь вопрос так, то должен признать: да.

— И что ты будешь делать, если окажешься в конце концов на каталке с капельницей?

— По крайней мере, тогда-то я и выясню, любишь ли ты меня по-настоящему. А теперь, пожалуйста, не порть мне удовольствие.

Итак... Гангrena? К черту! Я съем ее на завтрак. Вылью гной на ванильное мороженое и приготовлю гангреноый десерт.

Но внутри меня происходило что-то еще. Лежа в том гамаке, в тишине ночи, после того как я услышал слово «гангрена», после того как покатал его на языке и прошептал его, обращаясь к распухшему колену поднятой и вытянутой ноги, после всего этого я спросил у того же самого колена:

— Эй, пацан, хочешь умереть?

Да, что-то происходило внутри меня. Мне было не пять. Пятьдесят. Но независимо от принесенных возрастом крупиц мудрости я оставался все равно что пятилетним, потому что, чувствуя эту штуку во мне и вне меня, слыша ее в море и видя в звездах, не понимал ее.

— Эй, пацан, хочешь умереть?

Некоторые из запрещенных фишек, приобретенных в Гаване, принадлежали тому времени, когда незнакомый паренек задал этот роковой вопрос, и, возможно, их передвигали по сукну карточного стола в тот самый день и даже в тот самый момент; может быть, их держали и передавали чужие руки, когда на моих засыхала кровь: в них, этих фишках, сохранились другие времена, другие души, другие демоны. И они, эти запрещенные фишечки, лежали у меня в маленьком мешочке.

Время играть.



В тот вечер Луи был не в настроении для всего этого дерьма. Он только заказал гребаную пиццу и устраивался у телевизора, собираясь посмотреть гребаную игру, — и на тебе. Нет, он просто был не в настроении для всего этого дерьма. Он был в хорошем настроении. У него слюнки текли при мысли о гребаной пицце. С луком и чесноком. Луи уже включил духовку, собираясь положить в нее пиццу, чтобы она была теплой и хрустящей и чтобы он мог прикончить ее не торопясь, спокойно, со смаком, глядя в телевизор. И тут зазвонил телефон. Дерьмовый уродливый пластмассовый кусок дерьма. А ведь во всем гребаном мире только один мудак знал его номер.

— Я заказал пиццу, — сказал в трубку Луи.
— Ты заказал пиццу.
— Да, я заказал пиццу.

Больше слов не было: только резкий, нетерпеливый вздох, прозвучавший в ухе Луи.

Луи положил трубку и тоже вздохнул: его вздох получился тоже резкий, но не нетерпеливый, а скорее недовольный и покорный. Он устал от всего этого дерьма. Его тошило от всего этого дерьма. А случилось вот что: парень забрал себе слишком много власти, и ему просто время девать некуда. Сорок лет назад этот парень стрелял у него двадцатки, теперь же, чуть что, он, Луи, должен бросить все и бежать на вызов, как какой-нибудь гребаный черный раб. Его королевское величество требует.

И вот теперь он сидел, как явившийся по вызову мальчишка.

— Приятно видеть тебя, Лу.

Сукин сын произнес это таким тоном, будто приветствовал нежданно нагрянувшего друга. Как будто эй, к черту пиццу, к черту бейсбол, к черту спокойный вечер дома, дай-ка загляну к этому долбаному хрену, посмотрю, как там у него дела.

— Настоящая?

В последний раз, когда Луи был здесь, на стене за письменным столом висел большой календарь с изображением Девы Марии и рекламой похоронной конторы Пераццо внизу каждого месяца. Теперь же, господи, какой-то гребаный...

— Рембрандт. Автопортрет.

Луи задумчиво посмотрел на картину.

— Знаешь, — изучающе разглядывая портрет, сказал он, — если бы у меня был такой хобот и я рисовал бы автопортрет, то, наверное, сделал бы небольшую косметическую операцию краской. — Он отвернулся. — И сколько такое может стоить?

Когда Луи отвел взгляд от картины, Джо Блэк обернулся к ней и посмотрел, но не так, как обычно смотрел на календарь.

— Как оценить красоту, Лу?

Джо с ухмылкой взглянул на гостя. Луи собрался было ответить, но передумал.

— Слышал, что случилось с Альдо Чинком? — спросил Джо Блэк. — Парня нашли мертвым на Сто пятнадцатой улице. В церкви. Сердечный приступ. Встал на колени, чтобы помолиться, и...

Джо щелкнул пальцами. Что еще за хрен? На хрен тебя, на хрен твою пиццу, на хрен твой бейсбол! Вот мой Рембрандт, а Альдо Чинк отбросил копыта в церкви.

- К черту Альдо Чинка.
- А, перестань, Лу, он был неплохой парень.
- Пошел он!.. Знаешь, меня убивают эти ребята. Этот сукин сын, этот паршивый недоносок, этот хреносос подыхает в какой-то засранной церквушке, и все вдруг начинают причитать: ах, бедняжка, отдал Богу душу, стоя на коленях. А он-то и в эту вонючую церковь, может, заскочил только потому, что прятался от какого-нибудь мудака, которому задолжал пару сотен.— Луи закурил и с легким отвращением покачал головой.— Пошел он в задницу, Альдо Чинк.
- Да... я-то думал, что тебе понадобится пара салфеток.
- А чего ты от меня ждешь? Чинк и при жизни был хреносос. Теперь он дохлый хреносос. Сукин сын задолжал мне три штуки.
- Они помолчали.
- Ты, похоже, не в духе, Лу?
- Какое-то время тишину нарушало только дыхание. Потом Луи вздохнул: это был вздох, лишенный эмоций, опустошенный вздох.
- Нет... не знаю. Я устал, Джо, вот и все. Устал.— Он говорил негромко. И слова звучали глухо, откровенно и устало, как будто были частью опустошенного вздоха, той усталости и чего-то еще, худшего, чем усталость, того, что сидело в нем и от чего он надеялся убежать нынешним вечером.— Я хочу сказать, все вроде как вчера, когда мы были детишками. Помнишь, как мы сидели, бывало, возле клуба «Полная луна» и наводили блеск на туфли всяких старперов? Теперь старперы — мы сами. И вот ты сидишь под дедом Джимми Дюранте, под этим Рембрандтом — уж не знаю, что он за хрен, — а меня до ма ждет холодная пицца. То есть... не пойми меня неправильно. Я рад, что ты здесь сидишь. Я не жалуюсь, прав-

да. Если не считать, может быть, того дела с Амече...— Слова иссякли.— Я просто устал, Джо. Вот и все. Просто устал.

И снова только дыхание в тишине. Луи собирался уже спросить, зачем Джо вызвал его, но хозяин заговорил первым:

— Если устал, Лу, надо отдохнуть.

— Это не та усталость, Джо. Это... я устал.

— Тебе нравится картина?

— Скажу совершенно честно — нет. По-моему, это гребаный кусок деръма. Знаю, что и тебе она тоже не нравится. Иначе ты бы повесил ее на другую стену, где мог бы ее видеть. А так она болтается у тебя над головой, как корона, чтобы люди видели.

— Да,— сказал Джо Блэк.— Это деръмо стоит десять миллионов гребаных баксов. Можешь поверить. Ну не чуден ли этот гребаный мир? Чудной гребаный мир.

— Ну, я-то хоть знаю, что ты не платил за нее десять миллионов. За такие деньги можно купить что-нибудь получше.

— Нет-нет, ты прав. Я лишь хочу сказать, чудно, что люди платят за такое. Чудно, что платят так много. Когда я говорю «много», я имею в виду много. Вот почему, Лу, я испортил тебе вечер. Я оторвал тебя от гребаной пиццы, чтобы сказать — ты будешь очень богатым человеком. Работа трудная, может быть, самая трудная из всех, за которые ты брался. Зато когда все будет закончено, если мы привезем ту штуку сюда, тебе уже никогда не придется нажимать на курок. Разве что захочется надеть твидовый пиджак и выйти пострелять фазанов. Это большие деньги, Лу.

— Насколько большие?

— Больше, чем ты можешь себе представить.

— Так какие?

- О таких никто и не мечтал.
- О каких деньгах мы говорим?
- О твоей доле.
- Моя доля?
- От одного до двух миллионов. Может быть, больше. Наличными. Без налогов. Чистыми.
- Боже, что же мне надо будет сделать? Перебить какую-нибудь гребаную армию?
- Всего лишь заткнуть несколько ртов. Спеть кое-кому колыбельную.
- Когда оплата?
- Через пару-тройку месяцев после того, как начнем.
- А когда начнем?
- Скоро. Я только что получил сообщение, которого ждал, и сразу же позвонил тебе. Левша ищет одного знакомого парня, какого-то писателя, своего друга. Парень нужен, чтобы сдвинуть дело с места. В общем, скоро.
- Друг Левши? А что, у нас водятся друзья? Кто этот парень?
- Незнаю, — как бы ставя точку, сказал Джо и моргнул, словно в груди или в животе у него кольнуло. — Просто какой-то парень по имени Ник.
- Ник? В мире полно гребаных Ников.
- В чем дело? Какая тебе, на хрен, разница, как его зовут?
- Никакой. Дело не в имени, а в этом слове — *друг*.
- Джо достал конверт из ящика стола и протянул его Луи.
- Пока, как я сказал, немного отдохни. Здесь десять штук. Считай, что три — это должок Альдо Чинка, а семь на удачу. Считай их своими друзьями. А еще лучше — просто деньгами.

Луи опустил конверт во внутренний карман своего распрекрасного пиджака из распрекрасного хлопка и распрекрасного шелка, поднялся и погладил себя по груди.

— Джо, друг мой, жду звонка.

Луи добрался домой к седьмой подаче. Счет был равный. Пицца оказалась вкусной.



И полная луна, кровавая на всходе,
Серебристо-белой сделалась через час.



Священнику шел семидесятый год. Большую часть жизни он желал только одного: служить Богу.

Сколько помнил себя священник, он никогда не ощущал своего единства с этим миром. Да он и не видел его почти.

Алькамо. Палермо. Рим. Кроме этих мест, он не был нигде.

Давным-давно, той весной и тем летом, когда детство ушло от него, он часто поднимался на высокий холм и подолгу лежал там, на вершине. Внизу под ним простирались, упиваясь солнцем, старые и новые виноградники, созревали, наливаясь сладостью, грозди. К северу лежали залив Кастелламаре и Тирренское море. К северо-востоку, примерно в пятидесяти километрах, растянулся вдоль берега Палермо. К юго-востоку, почти на таком же расстоянии, но дальше от моря находился Корлеоне. А на востоке, между двумя этими городами, разместился Пьяна дельи Альбанези.

Говорили, что именно на этих холмах, где до сих пор росли дикие бледные розы, Чулло д'Алькамо, божественный Чьело, встретил музу, вдохновившую его написать одни из самых ранних и прекраснейших стихов, когда-либо звучавших на сицилийском языке. Весной и летом того года, когда детство ушло от него, мальчик не раз думал о том, насколько отличаются эти дикие бледные розы от тех, которые семьсот лет назад видел своими глазами Чьело.

Белые бабочки порхали и опускались на цветущие стебли лаванды, а над головой летали самолеты, и сброшенные ими бомбы с воем неслись вниз, неся разрушение. В разгар лета, незадолго до вторжения в Палермо, самолеты бомбили железнодорожный узел Алькамо. Мальчик видел, слышал и ощущал взрывы, сотрясавшие самый холм, на котором он лежал, но они не пугали, не тревожили его. Их как будто и не было.

Rosa fresca aulentissima...

Он снова и снова шептал эти слова, первые слова единственного из дошедших до наших дней стихотворения Чьело. В те теплые солнечные дни он успел выучить поэму наизусть, все сто шестьдесят строф, последние слова которых — *chissa cosa p'è data in ventura*, то, что не дается случайно, — вызывали образ лепестков *rosa fresca*, склоняющихся под ветром.

Он шептал слова, подчиняясь размеру, естественным образом задаваемому самой поэмой. Он ничего не знал тогда ни о скандировании, ни о метрах. Лишь позднее он узнал, что то была *strofe pentastiche*, составленная из трех *alessandrini monorimi*, за которыми шла *distico endecasillabi a rima baciata*, отличная по рифме от трех предыдущих строк. И тогда он понял, что его шепот звучал в полном согласии с формой и ритмом поэмы. Это открытие не наполнило его гордостью и уверенностью в каком-то дарованном ему сверхъестественном поэтическом инстинкте. Скорее оно подтвердило величие самой поэмы, возвышенный дух которой прошел через столетия и обрел голос на языке мальчика, а просодия оказалась настолько совершенной, что ни неверно воспринять, ни неверно прочитать поэму было нельзя. Не надо ничего знать ни об александрийской монострофе и старофранцузских *laisses*, ни о силлабических одиннадцатисложниках, ни

даже о *rima baciata* — «целующейся строфе» — рифмованных куплетов. Не надо знать ничего, кроме силы розы и силы ветра, который есть судьба.

Эти силы были от Господа, и пусть в поэме звучали романтические мотивы того времени, она была ближе к этим силам и к Богу, которых Чьело донес до нас своими словами.

Эти слова, как и аромат свежераспустившейся розы и вызванные ими ветры судьбы, обладали силой куда большей, чем то грохочущее в небе и несущее разрушение на землю. С самой зари истории преходящие силы столетий осаждали этот великий и прекрасный остров, стремясь вторгнуться на него. Именно поэтому душа острова стала сильной и неукротимой. В ту весну и то лето мальчик не знал войны. Она не существовала для него, как не существовали семь веков, минувших с той поры, когда роза, пленившая его, пленила Чьело. Потому что эта роза жила вне пределов грохочущего мира.

Он покинул маленький городок Алькамо. Потом была семинария в Палермо. Потом сутана. Были приходские обязанности, были учеба и преподавание в университете. Именно годы в университете, проведенные в окружении тысяч старинных, редких фолиантов недавно переданной коллекции Кастаньи, предопределили его вызов в Рим для работы в секретном архиве Апостольской библиотеки Ватикана. Назначение не пробудило в нем интереса, потому что в секретном архиве хранились документы, а поэзии отводилось совсем мало места. Но работал он хорошо, часто консультировал библиотекарей по разным собраниям и через несколько лет обратил на себя внимание префекта, медиевиста, с улыбкой посматривавшего на священника из Алькамо.

— «*Rosa fresca aulentissima*», — нараспев и с удовольствием произнес префект и замолчал, наслаждаясь скажанным.

Гость помолчал, разделяя блаженство хозяина, а потом закончил строчку:

— «Ch'apari inver' la state». — И дальше мужчины продолжили вместе, читая до тех пор, пока не почувствовали, что связаны отныне тем, что дала и не дала им обом судьба. Потому как, будучи всего лишь священниками, обречеными на то, чтобы стать прелатами, оба были благословлены даром воспринимать розу и ветер.

Нет, не для них сшитые по заказу Гаммарелли малиновые мантии и алые кардинальские шапочки. И они хорошо знали, что многие из тех, кто носит эти красивые вещи, смотрят на других сверху вниз и не видят в них братьев.

Более молодой священник, давно преодолевший пятидесятилетний рубеж, рассказал о холме близ Алькамо, том холме, на котором росли дикие бледные розы и на котором муга нашла Чьело.

— Вот место, где никто не смотрит на тебя сверху вниз, кроме Бога, — сказал он.

В первый раз взгляд его ушел в сторону от глаз префекта. Потом он заговорил снова:

— В каком-то смысле я чувствую себя так, словно и не покидал тот холм. Словно я все еще там.

— Вы часто бываете в Алькамо?

— Летом, когда библиотека закрывается. Или чтобы окрестить сына какой-то племянницы или дочку какого-то племянника. Или похоронить чьего-то дядю или зятя. У меня так много братьев, так много сестер, родных и двоюродных. Я уже сбился со счета с их постоянно увеличивающимся потомством.

— Они, должно быть, гордятся вами.

— Сказать по правде, иногда мне кажется, что они посматривают на меня как-то странно. Вероятно, избранный мной жизненный путь представляется им не вполне

обычным. Я гожусь для того, чтобы крестить детей, венчать молодых и хоронить стариков, но на меня нельзя рассчитывать, когда кому-то требуются деньги. Я единственный, кто еще может спорить о том, какая из покойных тетушек пекла самый вкусный хлеб или у кого из соседей получалось самое лучшее вино.

Он улыбнулся, и смех, прозвучавший в его душе, выдал себя колыханием живота.

— Уверен, если бы в один прекрасный день я появился перед ними с повязанным вокруг сутаны красным поясом, то сильно вырос бы в их глазах.

— Единственное, что возвышает меня в глазах семьи,— это близость к Ватикану. Иногда им даже трудно представить меня кому-либо, не упомянув о Ватикане.

— Со мной тоже такое бывает.

— В этом-то и состоит суть той ноябрьской церемонии, когда Святейший Отец восседает в *Sala delle Udienze* Paolo Sei, а мы все выстраиваемся в очередь, чтобы сфотографироваться с ним. Вы садитесь рядом, он наклоняет голову, как будто внимательно слушает или ждет вашего совета, но прежде чем вы успеваете обратиться к нему — щелк, — фотограф делает снимок, и вас выводят, а освободившееся место занимает следующий. Спустя неделю можно купить все, какие только пожелаете, фотографии, матовые или глянцевые, оцененные в зависимости от размера, и раздать их в оставшееся до Рождества время.

— Скажите, вы это уже делали?

— Сознаюсь, да. И это доставило огромное удовлетворение моей сестре и значительно подняло ее престиж среди соседей.

Собеседники благодушно рассмеялись.

— Дабы вы не судили меня чересчур строго, скажу, что знаю по крайней мере двух прелатов, которые вставили такие фотографии в роскошные позолоченные рамки

и повесили у себя в кабинетах. Один из них вообще повесил еще две фотографии по обе стороны от величественного распятия, бывшего главным украшением его гостиной.

— Я бы с большим уважением отнесся к злодеяниям Борджа.

— Что ж, полагаю, его преосвященство, тот, о ком идет речь, испытал бы на вашем месте не уважение, а зависть.

Пока префект говорил, священник улыбался. Потом он перестал улыбаться.

— Борджа, — сказал священник. — Они оказались хорошими козлами отпущения, украшенными собольими воротниками. Они отвечали за наши коллективные грехи. Создается впечатление, что церковь приняла и увековечила их бесчестье для того, чтобы сказать: вот оно, темное пятно на нашей чистой душе. Весь позор направлен на них, и бесчисленное множество грехов, других темных пятен двух тысячелетий скрыты за мрачным гобеленом этого позора. Даже история этой библиотеки, как она преподносится Ватиканом, принимается и бесконечно повторяется популярными историками, скрывает ее истинное происхождение. Нам говорят, что библиотеку основал в тысяча четыреста семьдесят пятом году Сикст Четвертый, который на самом деле всего лишь открыл три первые комнаты старой библиотеки на нижнем этаже дворца понтифика. Это позволяет Ватику обходиться без упоминания имени Бонифация Восьмого, потому как именно Бонифаций был настоящим основателем библиотеки в тысяча двести девяносто пятом году, первом году его понтификата, почти за два столетия до Сикста Четвертого. Потому как Бонифаций, этот папа-воитель, открыто высмеял веру в загробную жизнь и назвал свои сексуальные забавы с молодыми женщинами и мальчиками грехом плоти, не большим,

чем отирание руками. По этим причинам его и не признали истинным основателем библиотеки, ведь признание такого факта означало бы признание самого Бонифация. Им удобнее спрятать его под гобеленом Борджа, чьи отравленные перстни, зловещие интриги, инцест и убийства служат для отвода глаз истории от Бонифация и прочих.

— Да, Борджа хорошо служат церкви, потому что они есть возлелеянные ею козлы отпущения, потому что их использовали для воплощения и затмения грехов всех мрачных понтификов как до них, так и после.

— И конечно, — заметил префект, — они были испанцами. Посторонними. Весьма кстати. Весьма удобно.

— Должен признаться, иногда мне кажется, что самым ужасным из грехов Борджа было разграбление библиотеки, когда с переплетов уникальных и прекрасных книг сдирали золото, серебро и драгоценные камни ради того, чтобы финансировать войны за мирскую власть. Правда, библиотека потеряла еще больше, когда Григорий Двенадцатый продал редкие манускрипты, дабы пополнить папскую казну на пять сотен флоринов в тысяча четыреста седьмом году, но осквернение есть деяние куда более мерзкое, чем продажа.

— Тем не менее большинство тех оскверненных книг сохранилось, пусть и без золота и драгоценных камней, этих знаков мирского великолепия.

— Интересно, что это говорит о нас, более ценящих и обожающих переплеты, чем то, что в них заключено.

Взгляд префекта переместился к высоким окнам, выходящим во внутренний двор.

— Но ведь именно таков и сам Ватикан, — сказал он. — Трон и корона, украшенные золотом и камнями, стоящие выше богатства веков, выше славы, чьи подлинные трон и корона есть лишь дух и душа. На протяжении почти двух тысяч лет папство делает со славой Бо-

жий то, что в какой-то преходящий момент делали с нашими книгами Борджа, одни — инкрустируя духовность церкви драгоценными камнями, другие — выламывая драгоценные камни, инкрустирующие священность духа слов, которая, как и священность духа Божия, имеет малую материальную ценность в рыночном мире.

Но рассуждая определенным образом, мы приходим к выводу, что Борджа, несмотря ни на что, возможно, более святы, чем большинство, потому как вместо того, чтобы осквернять золотом и камнями, они срывали эти знаки скверны. Разве слова вашего Чьело менее чисты, менее прекрасны без камней и золота? Говоря об этом холме с дикими бледными розами и музе Чьело, вы не упоминаете ни о драгоценных камнях, ни о золотых жилах, пронизывающих обычный камень этого холма. Так же и с Церковью, которая, согласно завету Христа, должна была стоять на невзрачном камне святого Петра. Слишком часто мы с восхищением и трепетом созерцаем камень, облагороженный Микеланджело и Бернини, но забываем о скромном камне духа, вызвавшем их к жизни. Слишком часто мы с большим трепетом и восхищением воспринимаем красоту или своеобразие формы книги, чем то, что заключено в ней.

Форма и содержание. Плоть и душа. Священник из Алькамо часто размышлял о таких вещах. Принять содержание и душу означало жить в свете духа. Принять или даже возжелать форму и плоть означало жить в скверне. Борджа оскверняли книги. Всеохватывающее вожделение Бонифация — жажды мирских наслаждений, стремление к власти — включало в себя и страсть к книгам.

Для священника из Алькамо, всю жизнь исполнявшего обет безбрачия, книги стали плотью и формой, перед которыми он не устоял, которые принял и которых

вожжал. Он ласкал кожу украшенных рисунками манускриптов, как другие ласкают кожу раскрашенных женщин. Запах старинных переплетов пьянил и дразнил его, как аромат духов. Вынуть из библиотечного хранилища записную книжку Петрарки и положить свою руку туда, куда клал ее поэт, было для него экстазом скорее плотской чувственности, чем души. Таково было его вожделение, таков был его грех. Но в отличие от Бонифация он не считал этот грех таким же незначительным, как отирание руками. Почти ежедневно он сознавался в своем вожделении перед Богом и почти ежедневно каялся в грехе, но притом все более потакал и уступал ему. О чем он умалчивал в разговорах с префектом, так именно об этом и еще о том, что кованое золото и драгоценные камни искуснейшей работы стали для него столь же пленительно дороги и священны, как и для грабителей Борджа были дороги и священны золото и камни, украшавшие их дражайшую и жесточайшую Лукрецию.

И конечно, священник умалчивал о грехе кражи, своем величайшем грехе, который, однако, не вызывал у него чувства стыда. Дитя того волшебного холма, он вырос и на других холмах.

Судьбу мальчика из Алькамо, обрекшую его на плаТЬе школяра и плаТЬе священника, определил дон Джованни Лекко из Пьяна дельи Альбанези, вкладывавший свои слова в души тех, кто служил ему в Палермо. В те времена дон Лекко был молод и силен и говорил не столько словами, сколько оружием и молчанием. Все знали историю о том, как он под крышей родительского дома убил ставшего ему перечить собственного отца, вытащил тело на улицу и бросил неподалеку от открытой двери. Потом на протяжении нескольких дней убивал всех местных и приезжих, кто являлся за телом, дабы предать его земле, и оно, распухшее и разлагающееся, ле-

жало до тех пор, пока улица не заполнилась вонью и другими телами и пока из Палермо не прибыли двое мужчин, одетых не в траурно-черное, а в белое, и эти люди, остановившись в отдалении, не сняли почтительно шляпы перед гротескно раздувшимся трупом того, кому они служили, но их старший показал открытую руку замершему у порога вооруженному сыну, а двое других достали пистолеты и выстрелили в тело отца, потом повернулись к сыну и, сняв уважительно головные уборы, медленно приблизились к дому и вошли в незакрытую дверь, которая впервые за все это время захлопнулась за ними. Тогда только на улицу вступили двое полицейских, а потом приехала повозка, чтобы увезти тела. Как рассказала мать, бойня произошла из-за того, что сын прознал о супружеской неверности отца.

Это было очень-очень давно. Мало кто помнил о том кровопролитии. Многие помнили доброту. Дон Лекко был добрым человеком.

В местечке Пьяна дельи Альбанези законом все еще оставался канон Лека. Легендарный Лек принес скрижали установлений древним албанцам. То были законы кровной мести. В соответствии с каноном Лека мужчина, находящийся под крышей своего дома, мог убить любого, оказавшегося под той же крышей. Будучи потомками албанцев, обосновавшихся в этих местах несколько столетий назад, жители Пьяна дельи Альбанези превыше всего верили в две вещи: Церковь и канон Лека. Те, кто знал об этом, знали и то, что честь почтенного общества Сицилии зиждилась на кодексе кровной мести, существовавшем издревле на земле их предков. Подобно своим единокровникам, дон Лекко страстно гордился этой древней кровью, а потому с превеликим удовольствием позволил другим интерпретировать итальянизированное эхо своего имени в том смысле, что сам он является потомком великого Лека.

В свои восемьдесят девять дон Лекко оставался крепким и молчаливым и при ходьбе опирался лишь на палку. Он жил одиноко в доме из тысячелетнего камня, с престарелой служанкой, престарелой кухаркой, престарелым охранником и престарелым волкодавом. Окна дома из тысячелетнего камня, обвитые плющом, выходили на сад, окруженный тысячелетними деревьями. Там был фонтан, сохранившийся, как говорили, со времен Римской империи; выпускавший струю дельфин давно превратился в бесформенное, поросшее мхом нечто, и тихий ручеек изливался на белые водяные лилии. Обнесенный стеной сад вел к узкому проходу, заканчивавшемуся воротами, которые выходили на улицу.

Каждый раз, возвращаясь на Сицилию, священник из Алькамо навещал дона Лекко и проводил для него службу. Дон Лекко отличался от других. Он всегда гордился священником и его посещениями.

Приближалось празднование девяностолетия дона Лекко, и однажды в хранилище греческой коллекции священник обнаружил рукопись шестнадцатого века, известную как «Служебник» Бузуку: старейший документ на албанском языке, сохранившийся с далеких времен и по сию пору исключительно в устной форме, увековеченный лишь ветром и неписанным кодексом, скреплявшим слово мужчины одной только клятвой.

И священник украл манускрипт.

А старый дон Лекко, который не мог прочесть ни слова в этой рукописи, прижал фолиант к груди и привлек гостя к себе, чтобы поцеловать.

Священник вернулся в Рим, чувствуя, что уже никогда не увидит дона Лекко, если не считать похорон. Он представлял, как погребет книгу вместе с ним, положив ее под голубую подушечку, на которой будет покойиться безжизненная голова. Он представлял, как отслужит над

ним службу в полном соответствии с торжественной и простой латинской литургией, так нравившейся им обоим, ему и дону Лекко. Он представлял, как произнесет панегирик, не заготовленный заранее, а идущий от сердца. Он даже услышал свой голос: «Дон Лекко был Божьим человеком».

С тех пор минуло лишь несколько недель. В какой-то момент у него мелькнула мысль, а не рассказать ли префекту о похищенной книге. Манускрипт уникальный, да. Но в архивах албанской Национальной библиотеки хранились три его фотокопии: Ватикан выпустил факсимильное издание, а еще одно вышло в Тиране.

Если префект полагал, что мы слишком часто чтили красоту или уникальность книги превыше ее содержания, то, согласно этой логике, выходило, что священник не украл ничего.

Нет, обокрали его самого. Он обокрал себя через собственные невинность и отстраненность от мира. Мальчик на холме, живший поэмой и стремившийся служить Богу. Старик, затерявшийся среди книг, со смутным ощущением греха, в месте, где имя Божие повсюду, но при этом страстно ищущий малейший след Его присутствия.

Семьдесят лет. Куда они ушли?

Ему опротивело это место. Он хотел вернуться на Сицилию. Хотел вернуться к жизни и уйти из нее так, как вошел: растворившись в поэме, где-нибудь в маленькой церквушке в холмах его родины, где дыхание Божие глубоко, где каждый рассвет можно встречать службой на латыни, а дни проводить в наполненном молитвами покое бальзама этого дыхания. Чего ему будет не хватать, так только запаха и прикосновения великих книг. Но возможно, это станет благословением, последним очищением. Слова поэмы его юности, текучие слова Чьело все еще лежали в святая святых памяти.

Префект назначил священника старшим куратором библиотеки. На старом медном кольце, таком большом, что в него проходил кулак, висело множество огромных старых ключей.

Хранилища библиотеки занимали семь уровней. Нижний служил конюшней до 1928 года, когда Пий XI продал лошадей и заменил их новым для Ватикана транспортным средством, автомобилями. Но за сотни лет до конюшни здесь располагалась прогулочная галерея Юлия II, которая в качестве таковой была снабжена разнообразными нишами для демонстрации классических греческих и римских статуй. Когда начались работы по реконструкции этого помещения для растущих нужд библиотеки с ее постоянно разрастающимися хранилищами, большая часть ниш, а также выложенные травертином арочные входы были полностью или частично заложены кирпичами и укреплены с таким расчетом, чтобы возвести большую центральную поддерживающую колонну.

После нескольких дней неспешных и безрадостных блужданий по лабиринту стеллажей и склепов верхних уровней, выяснений, какой ключ открывает какую дверь, священник спустился на нижний уровень. Перед ним оказалась дверь, которую он открыл. Включив верхний свет, священник увидел большой опорный столб и множество стеллажей со стальными полками, забитыми книгами и коробками, помеченными временем запоздалого вхождения библиотеки в двадцатый век. Похоже, все было предано забвению и превратилось в хранилище забвенного: одни покрытые пылью бесхозные тома лежали на других покрытых пылью бесхозных томах, грязные, расползающиеся, не имеющие никаких инвентарных номеров коробки грудились на других грязных, расползающихся и не имеющих никаких инвентарных

номеров коробках. «Стоит ли удивляться, — подумал священник, — что полный и всеобъемлющий каталог библиотечных хранений так и не был составлен».

Далеко слева, в полутьме, возле темного проема ниши, частично заложенной кирпичом и частично затянутой паутиной, он усмотрел еще одну дверь, обшитую тяжелыми вертикально идущими досками, к которым были приколочены три горизонтальные доски. Эта дверь не имела ни замка, ни ручки.

Священник толкнул ее, но она даже не шелохнулась, то ли плотно закрытая, то ли запечатанная неким способом. Он огляделся, ища что-то и сам не зная что.

Через некоторое время священник вернулся к двери со старой деревянной лестницей, валявшейся у обвалившегося стеллажа. Используя ее в качестве тарана, он несколько раз ударил ее в дверь со всей силой, позваленной ему возрастом, и в результате если не открыл саму дверь, то по крайней мере проломил одну из подгнивших вертикальных досок.

Просунув руку в образовавшуюся брешь, священник обнаружил, что дверь удерживается загадочным образом положенной изнутри балкой. Употребив некоторые усилия, ему удалось вытащить балку из скоб. Он услышал, как она глухо упала и гулко покатилась куда-то вниз, предположительно по ступенькам из такого же тяжелого, но стгнившего дерева. Тогда он толкнул дверь и в скучном свете, проникавшем в образовавшуюся расселину из огромного зала за его спиной, увидел верхнюю из дощатых ступенек, уходивших в кромешную тьму. Священник пошарил по стене, но выключателя не нашел.

Некоторое время священник стоял, глядя в темноту и раздумывая: подземное хранилище без света, единственным образом закрытое изнутри.

На следующее утро он вернулся пораньше, захватив с собой мощную, работающую на батарейках лампу, которую положил в черный кожаный портфель.

Священник осторожно спустился по гнилым ступенькам, держа в одной руке лампу, чтобы освещать путь, а другой опираясь о каменную стену, чтобы не потерять равновесия, проверяя каждую ступеньку одной ногой, прежде чем поставить другую, напряженно всматриваясь через бифокальные стекла очков. С последним шагом он оказался на каменном полу узкого, с низким потолком коридора, ведущего в комнату со сферическим сводом.

Вот здесь он и увидел настояще основание колонны, словно выраставшей из пола на верхнем этаже, но которая, как оказалось, в действительности надежно и невидимо опиралась на природное скальное основание. И все же сводчатая комната была, несомненно, намного старше колонны: если рабочие в процессе своих трудов приходили и уходили через дверь наверху — как и ступеньки, она была, вероятно, сооружена ими для собственного удобства, — то они так же приходили и уходили через еще один проход, на существование которого указывал заложенный кирпичами проем, находившийся восточнее колонны. Очевидно, он был проложен со стороны открытого двора, не содержавшего ныне никаких свидетельств наличия какого-нибудь входа.

Должно быть, именно посредством этого второго перехода, заложенного затем кирпичами и засыпанного землей, они и ушли в последний раз после установления колонны и укрепления пола верхней комнаты снизу, по углам подземного помещения, следя, несомненно, указаниям Пия XI закрыть за собой дверь изнутри — как будто для того, чтобы проникнуть через нее мог разве что призрак, — и вышли наверх. После чего коридор запечатали.

Все это представлялось тем более любопытным, что в комнате, кажется, не было ничего, кроме оставленного рабочими мусора: скомканные газеты от лета 1929 года, бутылки из-под вина, бутылки из-под пива, бутылки из-под содовой. Сигарные окурки, смятые сигаретные пачки, обертки, сломанные инструменты, погнутые ржавые гвозди, щепки и стружка. И поверх всего толстый, как в склепе, слой пыли.

Впрочем, размышлял священник, возможно, эта заброшенная и позабытая комната действительно создавалась как склеп, потому как в углублении одной из стен стоял каменный ящик, напоминающий готический саркофаг, бесхитростный, без какой-либо резьбы, без каких-либо изображений. Рабочие, наверное, использовали его в качестве мусоросборника, так как весь он был с горкой заполнен отходами их жизнедеятельности. После того как куча хлама стала расползаться, они, скорее всего, просто швыряли все лишнее куда попало.

Подняв какую-то грязную палку, священник потыкал ее в груде мусора, надеясь найти какие-нибудь планы, зарисовки, строительные документы, которые могли бы пролить свет на историю подземной палаты.

Палка наткнулась на некую более плотную и тяжелую, чем мусор, субстанцию. Он разворотил бумажки и сдвинул хлам в сторону. В углу каменного ящика лежала стопка покрытых въевшейся грязью пакетов. Каждый предмет был завернут в плотную, почерневшую от времени ткань и перевязан почерневшей от времени веревкой. Верхний пакет, вероятно, вскрывали рабочие — веревка была завязана небрежно и держалась неплотно. Развернув материю, священник обнаружил собрание предсмертных признаний нескольких пап от восьмого до двенадцатого века. Очевидно, вскрыв сверток и не найдя ничего, кроме старинных и невзрачных на вид доку-

ментов, прочитать которые оказалось им не по силам, рабочие наспех придали пакету первоначальный вид и бросили его в ящик с тем же небрежением и равнодушием, с каким они день изо дня швыряли туда ненужные газеты.

Документы эти, независимо от степени правдивости — один из них содержал покаяние последнего из сицилийских пап, Стефана III, записанное со слов его управляющего, который, как открылось впоследствии, изводил умирающего понтифика жестокими пытками, — имели огромную историческую ценность.

Вскрывая свертки и видя на содержимом некоторых из них примечания, пометки и печати, относящиеся к третьей декаде треченте, священник предположил, что бумаги, возможно, являются частью утерянной библиотеки авиньонского папства Иоанна XXII. Пребывая на семидесятом году жизни, он с удивлением обнаружил поразительно любопытный факт: Иоанн XXII взошел на престол в возрасте семидесяти лет, в 1316-м, и просидел на нем восемнадцать лет, до самой смерти, постигшей его в 1334 году.

Священник подумал, что было бы неплохо, если бы Господь благословил и его такой же судьбой; он не желал, конечно, ни официальной власти Иоанна XXII, ни неофициальной дона Лекко, а лишь тех лет, что были дарованы им.

Папа Иоанн XXII слыл человеком свободомыслящим. Петрарка описывал его папский двор в Авиньоне как процветающий центр учености и литературной жизни. В годы его понтификата библиотека значительно разрослась, и в 1327-м была проведена ее полная инвентаризация. Исчезновение описи означало невозможность точной идентификации тех или иных рукописей. В дальнейшем, как предполагалось, Рим не востребовал ничего из авиньон-

ского папства до XV века. Каталог библиотеки, составленный в то время по указанию Николая V, также затяялся.

Находки и впрямь представляли интерес: одна содержала подробный отчет о сношениях с дьяволом, другая — о сношениях с Иисусом, в коих участвовали ломбардские монахини, третья хранила сборник самых неприличных стихов Катулла.

Под узелок на каждом пакете была подсунута карточка из плотной бумаги, размякшая, потемневшая и с бледной полосой от веревки, с одними и теми же словами, написанными витиеватым старинным почерком: DAMNATUN EST — NON LEGITUR.

Эти рукописи и заключенные в них тайны имели огромное значение. Кто проклял их, кто определил, что их нельзя читать? Когда и почему был наложен запрет? В конце концов, со времен Ренессанса в библиотеке открыто хранились куда более богохульные и отвратительные документы. Сколько еще подобных свертков таилось в безвестности, захороненными в не раскопанных и запутанных подземных лабиринтах этого хранилища?

Сверток на дне был самым большим и тяжелым, и, подняв его, священник нащупал под тканью нечто вроде ящичка. Потом ему открылась красота древней шкатулки, и он снял с нее крышку. На край коробки, возле большого пальца священника, села белая бабочка, но для него, занятого находкой, появление насекомого в похожей на склеп комнате прошло незамеченным. И бабочка улетела.

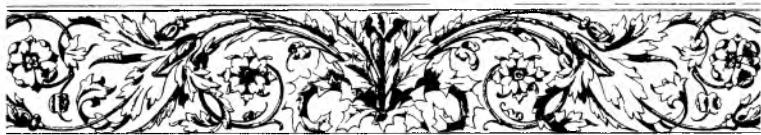
Священник увидел лист пергамента, испещренный строчками рифмованных слов, сердито перечеркнутых, скатых, выведенных спокойной рукой или в триумфальном порыве, слов, налегающих друг на друга или втиснутых между строчками. Он перелистал страницы.

Их были сотни, большая часть пергамент, но попадались и бумажные, и все исписанные явно одной рукой, знающей и буйство, и безмятежную ясность творения.

Поднеся лампу поближе, щурясь через бифокальные стекла, он попытался разобрать первую строчку. Предпоследнее слово этой строчки стиралось и переписывалось несколько раз, но он узнал его еще до того, как отыскал нацарапанное над всеми зачеркиваниями, узнал в тот миг, когда губы его шевельнулись, шепча начало строки:

Nel mezzo del cammin di nostra vita...

Дыхание покинуло его, и он испугался, что сердце может остановиться, потому что никогда прежде не являлось ему чудо.



В ту ночь, когда звезды звали его прочесть мириады их тайн и не было с ними луны, он почти не чувствовал пустоты в своем мальчишеском животе, настолько кровь и тело насытились будоражащим богатством того, что захватило его и вошло в него несколько часов назад.

Кроме того, у него был с собой изрядный кусок *rapa sciocco* и изрядный кусок *pecorino*, украденный с лотка возле старой восточной стены. Он навсегда запомнил вкус того хлеба, душистого, выпеченного из свежесмолотого зерна первого летнего урожая, сохранившего запах каменной плиты, и сыра, пахучего, жирного, из козьего молока зеленой весны. Он навсегда запомнил их вкус и, вспоминая, словно ощущал его во рту. Но то, что вошло в него и захватило его, в конце концов ускользнуло из памяти. Может, то была зрелость мужчины? Может быть, что-то еще. Только многие годы спустя, пережив другие подобные дни, он понял, что они такое: святейшие из дней, редчайшие из дней, дни безграничности.

В согласии с системой астрономии души, с системой девяти небес, он и строил и отмерял слова своей первой маленькой книжки, получившей известность — ошибочно и ложно, но лучше так, чем никак, — как либретто «*La Vita Nuova*» по одной фразе, использованной им в заголовке первой страницы. «*Incipit vita nova*», — написал он на латыни, вставив эту фразу между *lingua volgare* начальных слов: «И начинается новая жизнь».

Как прав был Плиний, предупреждавший о *fors varia*, многообразных опасностях, исходящих от переписчиков!

В переводе «*vita nova*» на *lingua volgare* и выдвижении на место названия всей его работы эти слова трансформировались в «*La Vita Nuova*». Если бы он хотел большей определенности в отношении новой жизни, то передал бы смысл на *lingua volgare*, а не на латыни, некоторая неясность и многозначность которой, подобно таинственной тени, заключенной и колеблющейся в прозрачном величии точности, усиливают это величие через призму почти неуловимых вероятностей. Не притязал он и на новую жизнь для себя. Не *mea vita nova*, а просто и всеобъемлюще: *vita nova*. Нет, они не понимали ничего, те, чья глупость меняла смысл уже написанного.

По правде говоря, фраза пришла к нему из старой Библии. Там есть место, где апостол Павел увещевает римлян: «*nos in novitate vita ambulemus*». Эти слова поразили его как на латыни, так и на его собственном языке — «*noi dobbiamo camminare in novità di vita*». Да, он чувствовал себя так, словно скрытая истина этих слов тихо вошла в него, «нам ходить в обновленной жизни».

Сердцевиной его небольшой книжечки была длинная *canzone*, окаймленная четырьмя короткими сонетами. Девять небес. Священная девятка. В длинной *canzone* он описал видение, сон — дрожащая земля, тусклое солнце, явление звезды — *apparir la Stella* — и замертво падающие с неба птицы. С течением времени он все острее сознавал слабость этой *canzone*, все яснее понимал, что она похожа на многое из сделанного раньше, похожа и на его собственную жизнь в том смысле, что и одно и другое затянуто сверх меры.

В те дни, когда работа над книжкой только начиналась, он наслаждался дружбой с Гвидо Кавальканти. «*Mio primo amico*» — так он назвал его в маленькой книжке.

Однако нигде и никогда не назвал он старшего лучшим. Именно благодаря помощи, протекции и поддержке Кавальканти юный поэт получил первое признание и уважение. Потом, когда Кавальканти увидел, что его протеже встал на ноги, когда этот протеже превратился в надменного и лицемерного поставщика сладостей и перестал быть *primo amico* кому-либо, кроме себя самого, Кавальканти понял его по-настоящему.

Что тогда сказал о нем Гвидо в своем прекрасном стихе? «*Dante, un sospiro messagger del core*». Данте, взывающий посыпец сердца. Да, и не только. Его слова прозвучали как топот копыт прекрасной и неистовой кобылицы. О боже, вот бы украсть эту кобылицу, чьи ноги и душа были едины. Вот бы украсть ее и промчаться на ней. Или убить.



Шумящее вдалеке море и гамак Кахо-Ларго. То, что вошло в меня, поднялось из глубины и остановилось где-то у горла. К черту дохлый Нью-Йорк и весь мир — вот уж настоящая гангрена, — они остались там, позади. Мне требовалось другое, более далекое море и другой гамак. Как и вы, я всего лишь гребаный бог, а у богов есть только один подлинный целитель, Пан. Где искать его? Я нашел этого единственного лекаря, когда лежал в гамаке и магия моря, тонких язычков смерти и ветра в пальмах сливалась воедино. Их было много, тех прекрасных дней и прекрасных ночей. И то, что я теперь чувствовал, то, что поднялось из глубины к горлу, туда, откуда исходят слова, — все это было делом рук Пана, взявшегося за работу внутри меня. Это он, а никакая не медсестра, тверdząщая о гангрене, он увлек меня к тому далекому морю.

В конце концов я нашел то, что искал: южнее экватора, неподалеку от тропика Козерога, в Тихом океане, на Подветренных островах архипелага Туамоту Французской Полинезии.

Бора-Бора. Еще год назад я вряд ли сказал бы, где это находится, я лишь знал, что очень-очень далеко. Но узреть это место, приближаясь к нему с моря, означало узреть нечто, притязывающее не только на душу, но и на все чувства, потому что на фоне бледных и темных оттенков небесной и океанской синевы перед вами вставали густо-зеленые скалы и пики, возносящиеся над покрощими лесом равнинами, похожие на алтари, к подно-

жию которых не приближался ни один человек. Цвет всего этого настолько уникален, что название его, рое rava, это чудесное смешение темно-темно-зеленого и черного, встречается только здесь и употребляется для описания редчайших и почти исчезнувших природных черных жемчужин, гигантские раковины которых были распространены некогда на коралловом массиве этого места. И над этим чудом цвета, уходя в облака, высится гора Отеману, гора Птицы.

Могучий вулкан, бывший праматерью этого места, грохотал более четырех миллионов лет, прежде чем успокоился, притих и произвел Бора-Бора. Эхо того грохота слышится сейчас в шуме моря, бьющегося об окружающий остров коралловый риф. Через этот грохочущий риф есть лишь один проход, ведущий в безмятежно тихую и голубую лагуну моря Бора-Бора, самую красивую, как говорят, лагуну на свете. Как разбивающиеся о коралловую преграду волны будто вторят гулу породившего остров вулкана, так и величественное спокойствие лагуны словно напоминает о мифе, повествующем о том, что место это, Пора-Пора на языке маори, стало первым благословенным ребенком тишины и покоя, ребенком, появившимся на свет из океана после сотворения острова Райатеа.

Попадаешь в лагуну — и грохот сменяется чудесной тишиной, а если теплый бриз дует в нужную сторону, как было в моем случае, то приносит оттуда, от надвигающегося волшебства цвета, столь редкого, что название его живет только здесь, божественный запах жасмина и гардении, который и есть запах этого места.

На самом острове, в тени и на солнце, пышная, буйная, густая зелень пестрит кремово-белыми цветами гардении и еще фиолетовыми, лиловыми, красными, розовыми и желтыми цветами бесчисленного множества других растений. Высокие пальмы клоняются к морю, где

пышная, буйная, густая зелень уступает место нежно-белому песку растянувшихся вдоль берега пляжей и затаившимся между скал бухточкам. Там, открытые со всех сторон, стоят памятники темной магии солнца: блеклые камни, высокие, сглаженные, состарившиеся коралловые алтари, *marae* человеческих жертвоприношений, практиковавшихся до конца девятнадцатого века, когда запах крови и каннибализма смешивался с ароматом кремово-белых, фиолетовых, лиловых, красных, розовых и желтых цветов.

Я занял роскошное *faré* из тасманийского дуба и кедра, ротанга и бамбука, с крытой тростником крышей, привязанной к большим опорам из пихты. Сооружение покоялось на сваях, над кристально чистой водой и было соединено с берегом длинным и узким дощатым мостиком. Красивая просторная кровать на деревянных ножках, вентилятор над головой, большая чугунная ванна, настил из тика, с которого я мог нырять в прозрачную голубую лагуну неподалеку от рифа или на которой мог сидеть, наблюдая закатное солнце или сияющие в темном небе созвездия. Каждое утро местная девушка приносила соблазнительные фрукты с экзотическим вкусом и издающие тонкий, едва уловимый аромат цветы, а также деревянные чашечки со свежим *mopo* — лосьоном из пахучих белых лепестков гардении, размоченных в очищенном кокосовом масле, — для смягчения и питания кожи. И не раз она посещала меня ночью, принося какой-нибудь один-единственный фрукт или один-единственный цветок и саму себя.

Черт, ну вот опять... Что я делаю? *Пишу*. Занимаюсь гребаным *писательством*. Даже здесь не удержался: *принося какой-нибудь один-единственный фрукт или один-единственный цветок и саму себя*.

К черту это дермо! Девка позволяла пользоваться собой, вот и все.

Иногда я брал мотоцикл и ехал по одной-единственной дороге, опоясывающей остров, делая остановку у одного кафе с несколькими вынесеными под навес столиками возле небольшой деревушки Вайтапе. Я сидел за столиком, попивая хороший кофе, покуривая и глядя на гору Отеману. Я чувствовал все это: силу горы, красоту неба, ласковый сладкий ветерок и холодок занесенного над трепещущей грудью большого ножа. Наверное, примерно то же испытывал Гоген сотню с лишним лет назад, посреди этой *phanoroeia* ветров и цветов, названия которых не изменились. Он тоже умирал с удовольствием.

Покой этого места, прекрасная умиротворенность всего сущего были сродни буйству цвета. *Quietus*: освобождение от жизни; смерть или то, что приносит смерть. Ни в английском, ни во французском нет слова, которое в достаточной мере передавало бы этот нюанс мягкого освобождения от того, что часто вселяет страх.

И да, гамак. Каждое утро я неспешно прогуливался по извилистой тропинке, бежавшей между кустами красного хмеля и розовой и оранжевой бугенвиллеи, алых ноготков и белого гибискуса, стройными стволами железного и розового дерева и еще какими-то густыми, мягкими растениями, названий которых я так никогда и не узнал. Так вот, эта-то тропиночка, протоптанная посреди сказочной красоты и очарования и начинавшаяся от мостика, вела к уединенному пляжу, где между мощными деревьями таману висел один-единственный гамак. Гамак того прекрасного дня, с которого много-много пустых слов назад начался мой рассказ.

Шорох накатывавших на берег волн сливался в бесконечный влажный стон над голубовато-золотистым бескрайним небом. Облака были кремово-белыми цветками гардении на фоне безграничной, томной голубизны. Мягкий вздох лагуны, вздох плывущих облаков,

вздох ветра, покачивавшего пальмы, — все они звучали как единый общий вздох.

Утром я лежал, вытянув ноги на юг, к вечеру, когда ползшее по своей дуге солнце меняло свет на тень и наоборот, нежился ногами на север.

В полдень пылающее солнце становилось платиново-белым, и я отправлялся в лагуну. И там, где искрящиеся ласковые волны плескались над коленями, меня окружал вERTЯЩИЙСЯ калейдоскоп красок, созданный каким-то свихнувшимся, одержимым жаждой творения богом: рыбы самых ярких радужных тонов, самых удивительных форм и размеров.

Колено меня не беспокоило, и там, где лагуна углублялась, я предпочитал плыть, а не ступать по дну, потому что с глубиной возрастала и опасность, соседствующая здесь с красотой: колючая, ядовитая морская звезда, известная также как корона шилов; безобидная на вид коническая раковина с ядовитым зубом; длинная извилающаяся пиявка со скользкой кожей, выделяющей токсичную слизь; кусачие анемоны, напоминающие пышные георгины; придонная рыба-камень со спинным плавником из тринадцати отравленных иголок, вызывающих мгновенный паралич и смерть; игольчатые ежи.

Я не задерживался на мелководье у рифа, потому что именно на мелководье обитает гигантская мурена. Жутко видеть, как она медленно выплывает из коралловой каверны, длинная, до десяти футов, громадная, как корова, с могучими челюстями и пещеристой пастью, заполненной острыми как бритва зубами.

Не заплывал я и на большую глубину, к рифу, о который бились волны, потому что тот единственный проход через коралловый барьер в безмятежно тихую лагуну служил людям, и акулам. Никто не знает точно, сколько зубастых тварей обитает у этих островов. Иногда в искрящихся ласковых волнах, плескавшихся над мои-

ми коленями, вертящийся калейдоскоп красок внезапно рассыпался, и в поле зрения появлялись серые хищницы, неспешно рассекавшие прозрачную гладь спинными плавниками и едва не касавшиеся брюхом мягкого дна.

Но большую часть времени я просто плавал, и мириады разноцветных созданий вились, кружились вокруг, и, задерживаясь на мелководье у берега, я чувствовал щекочущие, легкие, напоминающие поцелуй прикосновения.

Потом я всегда возвращался к гамаку. Сердце билось ровно и спокойно: я уходил из лагуны, уходил от солнца и устраивался в тени. Я курил и смотрел на бескрайнее голубое небо и море, ощущая всю полноту жизни, наполнившей лагуну, и то чудо, что заключало в себе небо. На горизонте, там, где прозрачная поверхность бухты становилась темно-синей, грохочущие волны самодовольно обрушивались на риф Моту-Тупуа.

Черная кора дерева таману, покрытая темно-зеленым мхом, была цветом этого рая, цветом высияющей над островом горы Птицы, цветом редкой и по-настоящему черной жемчужины, сотворенной природой. К темно-зеленому мху примешивался другой мох, мох цвета самой бледной луны, незрелого лайма и тусклого серебра. Среди доносящегося со всех сторон вздоха эта кора обладала собственным очарованием, манившим меня. Каков возраст этих деревьев? Никто не ведал. Они, казалось, существовали вне времени, как сила горы, красота неба и нежный, напоенный ароматами бриз. Они стояли здесь, когда коралловый массив кишел раковинами с черными жемчужинами. Они стояли здесь, когда большой нож взлетал над трепещущей грудью.

Подчиняясь ритму неслышной песни, пролетали белые крачки и темные буревестники. В черных ветвях и густой кроне надо мной взмывали и падали крошечные

пташки, они появлялись и исчезали, перепрыгивая с ветки на ветку, мелькали в голубых просветах. В неярком сумеречном свете то, что когда-то поднялось во мне, исторглось из меня.

Сердце сбилось с ритма и замерло. Я никогда не узнаю, была ли эта внезапная заминка дыхания, этот сбой вызваны тем, что исторглось из меня, или видом крошечных птах, вспорхнувших с дерева и умчавшихся прочь в самый момент экзорцизма, прозрения, освобождения.

Пятьдесят лет назад, когда здесь еще жили те, кто помнил о давних временах взлетающего над трепещущей грудью большого ножа, когда кое-кто из помнивших даже тосковал по тем давним временам, одному мальчику в далекой стране задали вопрос, потрясший его и преследовавший его с тех пор и по сей день: «Эй, пацан, хочешь умереть?»

Ответ пришел спустя пятьдесят лет, от взрослого мужчины, слушавшего бесконечный вздох чудесного дня:

— Мне плевать.

Мне действительно было плевать.

Я взглянул вверх, в тот голубой просвет, где порхали и пели птицы. Да, я умирал, и мне было плевать. Я умирал не в том смысле, что все мы умираем, что наше короткое путешествие, начатое из лона матери, с каждым днем приближает нас к общему концу. Я умирал в том смысле, что расписание моего, частного и конкретного, путешествия лежало у меня перед глазами с проставленной приблизительной датой прибытия: умирал в том смысле, что был приговорен к смерти болезнью, прогноз развития которой уверенно указывал на ухудшение. В этом не было чего-то особенного, отличавшего меня от великого множества других, разделявших подобную участь, или тех, чья судьба была еще хуже.

Но мне было плевать. И потому, что мне было плевать, я был свободен.

Я медленно оглядел окружавший меня рай и ощутил рай внутри себя.

— Места для смертников, — прошептал я. — Беру. И тихо рассмеялся.

Я уже давно примирился с дочерью. Она была зачата, когда мне было девятнадцать. Ее мать, которой было двадцать, которая была очень красива и хотела замуж и ребенка, имела привычку крепко хватать меня за ягодицы, когда я лежал на ней и был готов вот-вот разрядиться. Надеялась, что я потеряю контроль и не успею дать задний ход. Обычно у нее ничего не получалось, хотя иногда этот прием срабатывал. Так вот и была зачата моя дочь.

Я почти наверняка знаю, когда именно это произошло. В тот самый день, когда те парни опустились на Луну. Должно быть, был уик-энд, потому что в тот день ее мать не работала. Я? Я не работал никогда. Я был вор и наркоторговец. Мне было плевать на всю эту ерунду с Луной, но все остальные, включая ее, воспринимали это как что-то вроде крупной сделки. Ну вот и я решил устроить себе праздник. Решил, что раз уж такое дело, раз уж такая штука с Луной, то пусть и мне отсосут. Я даже пошел на уступку, устроившись так, чтобы она могла одновременно смотреть телевизор. Устремленность ее внимания не имела большого значения: она была чудесная девочка и хороша по части потрахаться, однако язычком работала слабовато. Тем не менее я сидел с банкой пива и косячком, потягивая и то и другое.

Один шажок человека, и гигантский шаг человечества.

Так! Ах! Ох! Да! Есть! И в тот момент я разрядился даже не в ее рот. Я спустил в рот всему человечеству. Одному богу известно, сколько раз мы с ней кончали в тот день и ту ночь. Я лишь знаю, что после пятого или

шестого затяжного траха в моем семени, похожем на водянистый плевок, появлялась капелька крови. Так случилось и тогда. Она все-таки перехитрила, что было не так уж трудно с учетом пива и косячка. Так что, зная, когда родилась дочь, я могу с уверенностью сказать, что зачали мы ее в тот жаркий летний день, когда человек и человечество осквернили Луну. Несколько недель спустя, не дождавшись благожелательного эмоционального отклика с моей стороны — «Эй, малышка, что твое, то твое», — ее мамаша, не теряя времени, нашла какого-то сосунка, которого относительно скоро заставили поверить, что именно его зерно любви проросло в ее животе.

Лет через пятнадцать после рождения моей дочери наши дорожки как-то пересеклись. Моя прежняя любовь все еще была красива, хотя, похоже, так и не простила мне, что через пару-тройку лет после того, как мы расстались, я женился на другой. Та женитьба была одним из наименее значимых и памятных событий в моей жизни, мимолетным увлечением. (Я пишу «увлечением», потому что даже в период писательства никогда не опускался до употребления слова «отношения», ставшего для меня частью стерильно скучного Словаря Стиля Жизни сегодняшнего человечества, совершившего гигантский прыжок к посредственности и убогости.)

Он, тот недолго протянувшийся брак, стал не более чем одним из симптомов прогрессирующего алкоголизма, уже вцепившегося в меня мертвой хваткой, вырвать из которой меня не могли никакие человеческие руки. Мне ничего не пришлоось объяснять ей, моей старой любви, потому что она и так увидела, в кого я превратился. В последующие несколько месяцев мы провели вместе несколько дней и ночей, и она поняла все сама: таблетки и пиво утром, чтобы не дрожали руки и не хватил

удар, потом поход в пивную на весь день и вечер. Потом в какую-нибудь забегаловку, потом либо домой, чтобы пошуметь и прочухаться, либо прямиком в пивную, если было уже после восьми, когда ночные притоны закрывались, а легальные открывались.

Помимо таблеток и пива, я обычно пропускал пару бутылок скотча и употреблял пару пакетиков дури. Чаще всего я не ел, а только перехватывал что-то там и тут. Еда стала для меня тем же, что и кокаин: средством удержаться на ногах, чтобы больше выпить. Но когда я бывал с ней, то ходил обедать, а обед не обходился без бутылки-другой вина и нескольких бренди. То, что я съедал и ухитрялся удержать, лишь усиливало мою способность принять еще больше спиртного в последующие ночь и день. И все это время она сидела со мной, потягивая «Эвиан» или что-то другое в этом же роде.

Конечно, по-настоящему я с ней и не был. Пьянице никто не нужен, только выпивка. Но ее присутствие и голос действовали на меня успокаивающе. Она говорила, что больше всего ее пугает моя способность не отключаться, как будто героин и выпивка стали для меня чем-то таким, без чего я могу умереть, хотя никто не мог бы выделять то, что выделявал я, и при этом продолжать жить. Я отвечал, что меня только слегка сносит. В конце концов, проведя со мной несколько дней и ночей, она заявила, что не может больше смотреть на то, как я себя убиваю. Она дала мне две маленькие фотографии: на одной они вдвоем с дочерью, на другой только девочка. Я частенько на них поглядывал. Потом стал смотреть только на девочку. Это было самое милое существо, которое я когда-либо видел и при этом не хотел трахнуть. Серьезно. В ее глазах и улыбке были невинность и сила, притягательные и чистые, а в излучаемом ими счастье крылся, казалось, секрет меланхолии, понятной лишь нам двоим. Я едва не расплакался и полю-

бил ее, еще не видя. Шестнадцать лет назад я бросил ее, бросил до того, как она успела сделать первый вдох, бросил по бессердечию, как детоубийца.

Отличался ли я душой от древних язычников, которые клали своих нежелательных новорожденных, крошечных и беззащитных, на камни, а потом поворачивались и уходили, оставляя детей на волю стихий, представляя богам решать их судьбу?

Да, отличался, потому что и самого себя предал демонам. Но я-то сам положил себя на камни, я сам, по своей собственной воле, отправился к тем камням. Меня никто не неволил. Глядя на фотографию, на этого маленько-го ангела, выжившего и улыбающегося после того, как я бросил ее и ушел без оглядки, я познал чувство стыда и чувство утраты. Не существовало такой епитимьи, чтобы смыть этот грех, и невозможно было востребовать то, что я потерял. Да и как вообще могла она почувствовать себя моей дочерью? Она была дочерью Божьей милости и материнской доброты. От меня ей досталась лишь смутная меланхолия, безымянный призрак давнишнего летнего дня, призрак чего-то, в чем не было ни милости, ни доброты. И все же горечь совершенного греха и тяжелое ощущение утраты не помешали мне понять, что мое тогдашнее решение принесло благо нам обоим, потому как, останься я рядом с ней, эта улыбка на ее лице никогда не расцвела бы.

Поступив эгоистично и безответственно, я избежал проклятия того, что казалось предопределенной судьбой, или, по крайней мере, выковал ключ, позволявший время от времени уходить от этой судьбы по своему желанию. И хотя за годы, прошедшие с той поры, как я оставил ее, еще не родившуюся, мне так и не довелось выбраться полностью из дерьма, я все же написал три книги. Да, возможно, большую часть времени я пил, но я никогда не пил, когда писал. Никогда. Одна из этих

книг, «Адский огонь», удостоилась больших похвал. Я получил прощение.

Хрен вам: я перестал быть пьяницей, перестал быть жалким наркоманом, я стал гребаным литературным гением. И так случилось, что вскоре после того, как я впервые увидел карточку с ангельским личиком, мне впервые выплатили достойный аванс за еще одну книгу под названием «Власть на земле». Мать этого маленько-го ангела сказала, что девочка хочет стать археологом, врачом или библиотекарем. И вот я позвонил матери девочки и объявил, что, кем бы она ни стала, археологом, врачом, библиотекарем или ни первым, ни вторым, ни третьим, я хочу платить по счетам. Все равно эти деньги у меня не задержатся, сказал я ей, и пусть она даже не говорит, откуда они взялись.

Не знаю, что именно было сообщено девочке, но примерно через год мой ангел, повзрослевший и еще более похорошелый, уже обнимал меня, смеясь, плача и качая головой. Поначалу она называла меня Ником, потом папочкой: она спросила, может ли называть меня так, и я ответил, что ничего прекраснее еще не слышал. Периоды работы сделались длиннее, запои пошли на убыль, и мы с ней лучше узнали и полюбили друг друга. То был подарок, а вместе с ним пришло и осознание того, что жизнь способна предложить нам множество самых разных чудесных подарков, если только мы отбросим наши представления о жизни и приоткроем сердца, чтобы впустить в них дыхание великой тайны, которой и является жизнь.

Потом дыхание жизни принесло холодок. Кончалось лето, и она только что поступила в Принстон, хотя еще и не разобралась в том, кем хочет быть. Поцеловав ее на прощание, я вдруг понял, что в ее улыбке уже нет той тайной меланхолии, которую я ощущал, когда впервые увидел ту фотографию. Когда она исчезла и почему я



раньше этого не заметил? У меня не было ответа на эти вопросы.

Ее улыбка стала просто счастливой, и я тоже почувствовал себя счастливым оттого, что был частью моей дочери, что эта часть меня расцветет и станет чем-то прекрасным, чем никогда бы не стал я, что через нее эта часть меня насладится чистотой дыхания, которую никогда не познаю я, и что через нее я буду жить еще долго после того, как меня не станет. Не знаю, какой получилась моя улыбка, но мне стало хорошо.

Потом все кончилось. Ее не стало. А того мерзавца, который это сделал, так и не поймали. Ее нашли в кустах парка через три дня. Я поцеловал ее, и гроб закрыли.

Время шло, и мои чувства постепенно менялись. Я вспомнил, что когда-то чувствовал себя язычником, оставившим нежелательного ребенка, крошечного и беззащитного, на камнях. Я снова чувствовал, что моя дочь — наша дочь — была дочерью Божьей милости и материнской доброты. Потом воспоминания покинули меня, однако чувства остались. Я стоял перед старинным распятием, тем, что привезла издалека моя бабушка. Я стоял перед ним и смотрел на него, но не чувствовал ни вины язычника, ни Божьей милости. На память пришла строфа из Псалтыри:

«Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!»

И тогда, глядя на эту штуку на стене, я сказал, очень медленно и без всякой злости: «К черту тебя, Бог. Пошел ты». В то время героин продавали в таких пакетиках, помеченных красными буквами DOA*. Через пару дней я обмазал один такой пакетик резиновым клеем и при-

* DOA — аббревиатура от англ. *Dead on Arrival*, «Мертв по прибытии». В американской судебной практике определение неопознанного трупа. (Прим. ред.)

клеил его к тому месту, где резная повязка прикрывала священные причидалы висевшего на кресте жида.

Так что, как уже было сказано, с дочерью я примирился. Других кровных родственников у меня не осталось.

Мать умерла! На хрен вас! На хрен меня! На хрен того жида в подгузнике, прибитого к кресту.

Даже в раю эти слова даются легко. Особенно в раю, потому что там они, эти слова, тоже были частью всепоглощающего вздоха. Я посыпал воздушный поцелуй ветру, бесконечному голубому небу, моей дочери.

Моим чувствам было близко название одной старой песни в стиле госпел — «Этот мир не мой дом». Я имею в виду не содержание, а только название. Мой дом не там, не на небе, не за открытыми дверями рая. Его просто нет там.

Мне осточертело смотреть в пустые глаза, осточертело слушать пустые слова пустых людей.

Да, где-то и когда-то, раньше, я стал писателем. Кто бы мог подумать, что такое случится. Там, где я жил, книг не читали. Книг было мало, а вот букмекеров много*. Мой отец отвращал меня от чтения, объясняя это тем, что от него «в голове заводятся идеи». Какой-то смысл в этом есть. Идеи и мысли — бесполезная и даже вредная глупость, избавиться от которой удается немногим. Но, с другой стороны, чтобы что-то преодолеть, надо через это пройти. Они — коридор, отделяющий умников от мудрецов. Иногда может показаться, что они очень близки друг другу, умники и мудрецы.

«Думать — не мое дело», — сказал Эдди Д.

«Великий Дао, — сказал Фа Юнь тринацатью веками раньше, — это свобода от мыслей».

Так близко и в то же время так далеко.

* Игра слов: book — книга, bookmaker — букмекер, человек, принимающий ставки. (Прим. ред.)

Я писал жуткие вещи. Как-то в детстве меня прихватили за воровство книг. Среди прочего в той куче был и Шекспир, его сонеты; прошло еще много-много времени, прежде чем я добрался наконец до них, и еще больше, прежде чем я постиг смысл одной строчки, выразившей суть всех: «О, научись читать, что начертала безмолвная любовь».

Величайшая поэзия — та, которая обходится без слов. Величайшие поэты — те, кто постиг эту истину и покорился ей.

«Я пытался описать рай». Никак не могу отделаться от этих божественных слов Эзры Паунда: наверное, прнесу их до конца: «Пусть ветер говорит. Вот это — рай». Научиться читать то, что написала безмолвная любовь, склониться перед властью ветров. Постичь все это — значит жить, а понять, что то, что можно написать, ничто в сравнении с этим молчанием и этой властью, значит начать писать. И снова Фа Юнь: «Как можно обрести истину через слова?»

Вот то, что я сумел понять лишь тогда, когда долгая ночь уступила свету.

В общем, я подсел на книги. Я не мог отличить плохое от хорошего. Я пытался прочесть и оценить «Моби Дика», но так и не преуспел в этом и оттого чувствовал себя неудачником. Разве можно стать писателем, не осилив и не поняв величайший американский роман? В конце концов я притворился, что прочитал его и что мне понравилось. А со временем, с годами, даже ухитрился сам в это поверить. В итоге я пришел к печальному выводу, что не такая уж это великая книга. В 1829-м на борту китобойного судна «Сюзанна» Фредерик Майрик из Нантакета вырезал на бивне кашалота изречение, достойное всех прекрасных устремлений Мелвилла: «Смерть живым, да здравствуют убийцы».

Мелвилл так никогда и не покинул коридор мыслей и идей; Майрик же, наверное, и не входил туда. Как бы я ни восхищался Мелвиллом, его проницательностью и тем, что он хотел и пытался сделать, именно вырезанные на кости слова Майрика останутся в веках. Где Майрик украл эти слова? Нам неизвестны подлинные авторы. Кто за много веков и тысячелетий до Гомера и Сафо, посмотрев на луну или увидев рассвет, назвал их «розовоперстными»? Как выразился Экклезиаст: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». У кого проповедник позаимствовал эту мудрость? И где нашел ее Тот, Кто был до него? «Оригинальность — всего лишь высокородное воровство». Возможно, это единственные достойные того, чтобы их помнить, слова Эдварда Дальберга, да и то кто знает, откуда он их взял.

Молодые авторы занимаются плагиатом, зрелые писатели воруют. Но я, будучи первым, делал второе. И больше всего воровал у себя. Полюбившиеся слова и фразы, найденные где-то или родившиеся во мне, бесконечно повторялись, перерабатывались и ходили по кругу, пока не умирали, как загнанные лошади. В детстве я был вором, учась писать, стал вором-дураком, обкрадывающим самого себя. Пять книг были написаны на украденной пишущей машинке.

Почему мне хотелось стать писателем? Верный ответ, или, по крайней мере, то, что я считал верным ответом, пришел много лет спустя. Я воображал себя крутым парнем. В этом смысле писать казалось мне почтенным занятием. Так относились к писательству Хемингуэй и другие вроде него: мужское искусство — что бы это ни означало. Я хочу сказать, черт, не кто иной, как Оден У. Х., заметил в конце сороковых, что Америка имеет «культуру с доминантными гомосексуальными чертами».

Мужское искусство. Только позже, став писателем, я разобрался, что это ложь.

Меня к писательству привели трусость и страх. Я испытывал глубокую внутреннюю потребность выразить свои чувства, но рядом никого не было. В нашем старом квартале откровенное выражение чувств наверняка привело бы к остракизму. Кроме того, такой способ был не для меня. Я просто не мог смотреть кому-то в глаза и изливать душу. Таким образом, писательство стало средством изложения чувств без необходимости смотреть кому-то в глаза. Не очень-то похоже на мужское искусство. Скорее трусливое искусство. Хотя, может быть, одно другому не противоречит.

Но Хемингуэй, при всем его смехотворном мошенничестве, делал деньги. Много денег. За «Стариком и морем» последовала серия схожим образом написанных реклам пива «Баллантайн» («После сражения с по-настоящему большой рыбой я предпочитаю бутылку “Баллантайна” всему остальному»). Именно это хотел делать и я. Речь идет не о том, чтобы сочинять рекламу или сражаться с по-настоящему большой рыбой. Я имею в виду — делать деньги. Я хотел делать деньги. Мне нужно было именно это.

Вот с чего все началось: трусость, воровство, трудные времена. Подлинная любовь к звукам и краскам слов, к ритму и размеру строк, передача через них абсолютно невыразимого — это пришло позже. Пришли и настоящая любовь, и понимание тишины, ветра и обитающих в них богов и демонов.

Мне было девятнадцать, когда я, незадолго до рождения дочери, получил первые гонорары. До того единственным, с кем я делился тем, что писал, был мой друг, Фил Версо. Мы знали друг друга с восьмого класса, еще до публикации книги, которая донесла до меня то, что не смог донести «Моби Дик», книги, которая пробудила,

освободила и вдохновила меня: «Последний выход в Бруклин» Хьюберта Селби-младшего. Она появилась, когда мне исполнилось пятнадцать, и Селби, ставший моим близким другом, многие годы спустя продолжал пробуждать, освобождать и вдохновлять меня тем, что не имеет или почти не имеет никакого отношения к писательству. Из трех ныне живущих авторов, которых я считаю великими — список дополняют Питер Мэтиссен и Филипп Рот, — именно к Селби, человеку высочайшего мастерства и величайшей души, я питаю наибольшее уважение как к писателю и мужчине.

Но до того как появился Селби, был Версо. Мы вместе обделывали дела, вместе воровали, вместе пили и принимали наркотики, вместе смеялись и вместе прятались от пуль. Его смех... Именно его я помню, и именно его мне не хватает, потому что все прочее в те дни и ночи заканчивалось, как мне кажется теперь, смехом. Все, о чем я писал в те времена, давно ушло, за исключением вызывающих грусть осколков полузабытых воспоминаний, но смех тех лихих деньков звучит по-прежнему ясным эхом, и, хотя это эхо слабеет, оно вызывает еще большую грусть, чем осколки воспоминаний.

Сердцем и священным местом нашего мира был «Музей Губерта» на Западной Сорок второй улице. На первом этаже помещались зал для игры в пейнтбол и стрелковый тир; внизу — шоу уродцев. Снаружи, перед входом в заведение, порой собирались самые разные люди и происходили самые разные события. Многое из написанного мной, многие странные и сюрреалистические сценки были вдохновлены странным и сюрреалистическим духом этого местечка. Филу нравилось то, что я писал. Он был моим сообщником и моим первым, а следовательно, самым главным болельщиком. До сих пор вижу его лицо и слышу его громкий злорадный смех. Многие годы он оставался моим читателем и другом. Даже тюрьма

не убила его смех, и в более поздние времена я позаимствовал у него немало словечек и историй. Прочитав мой первый роман, Фил узнал себя в одном из персонажей и страшно обрадовался тому, что «попал в книгу Ника». Об этом мне рассказал на похоронах, случившихся за месяц до сорокового дня рождения Фила, его младший брат. От него же я узнал, что моего друга, говоря его словами, «завалили в деле» жаркой летней ночью на Кони-Айленд.

В отличие от бедолаги Фила, в отличие от моей бедной дочери со мной ничего такого не случилось. Мне повезло больше, чем другим, и в делах, и в жизни вообще. Но потихоньку до меня стала доходить мудрость того, что я когда-то ошибочно посчитал отсталым и старомодным суждением прижимистого старика, советовавшего держаться подальше от книг — этого «дерьма», как он их называл, — потому что из-за них «в голове заводятся идеи».

И он оказался прав. Действительно прав. От книг в моей долбаной тупой голове завелась долбаная тупая идея насчет того, что литература все еще имеет какую-то долбаную благородную ценность. Через те книги, через то дерьмо я попал в другой мир, что-то вроде параллельного квартала, в котором Гомер, Данте и Сэмюэл Беккет считались такими же авторитетами, как брат моего дедушки, и даже еще круче. Они стояли наравне с теми стариканами, завсегдатаями клуба, которых брат моего дедушки встречал с распостертыми объятиями. Но это было не так. Самая же большая шутка заключалась в том, что, как я выяснил теперь, много лет спустя, в издательском мире правды еще меньше, чем в нашем старом квартале.

И вот теперь — ничего. Да, я избежал проклятия того, что казалось предопределенной судьбой, или, по крайней мере, выковал ключ, позволявший время от време-

ни уходить от этой судьбы по своему желанию. Но теперь я уже не мог вернуться за покоем и утешением в наш старый квартал, к былым делам и привычкам. Не мог, потому что никакого старого квартала уже не существовало. Теперь было «качество жизни», что означало никакого качества жизни, никакой жизни, ничего. Точка. Как не существовало и мира, в котором массы зачитывались бы Гомером или хотя бы почитали его. Зато был Книжный клуб Опры.

На протяжении тридцати лет я наблюдал за тем, как издательский бизнес принимает унылую, скучную и безуспешную форму корпоративной торговли, в которой на первое место выходит умение преподнести товар и которая с каждым днем скатывается ко все более ужасающей заурядности. Там, где раньше обнаруживались редкие искры жизни, признаки ума или хотя бы сохраняющееся уважение, если не почтение, к тому что Т. С. Элиот называл «священным древом» поэзии, теперь трудно найти — и это в Нью-Йорке — старшего редактора, который слышал бы о «священном древе» Элиота, не говоря уже о том, что читал его. А кто из них потрудился пройти по темной аллее к ее началу, мимо завораживающей картины Бёклина с тем же названием, мимо *bosco sacro* Орсии, мимо *silva sacra* языческого Рима, чтобы заглянуть в неведомый лесной источник и узнать по пути, что слово *silva* в латинском имеет более неопределенное, а следовательно, в данном контексте более таинственное значение? Для Квинтилиана *silva* обозначало исходные материалы для письма, среди которых мы наверняка обнаружили бы и силы «священного древа». Осмелюсь предположить, что редактора, удосужившегося заглянуть в такие глубины, просто не найти. Ни одного.

И тем не менее — без фолиантов «*Institutio oratoria*» Квинтилиана, без литературных эссе Элиота, без под-

линного, второго издания Фаулера, без «Оксфордского латинского словаря» и даже без «Оксфордского английского словаря», без справочника по стихосложению и, если уж на то пошло, без путеводителя по гребаной подземке — они делают свое дело. Им вполне хватает последнего издания «Чикагского руководства по стилистике» (изобилующего «самыми свежими изменениями в стиле, употреблении и компьютерной технологии», щеголяющего тонкой типографской ошибкой в доказательство верности дешевому пластиковому silva этой новой «Уорд перфект» эпохи постграмотности), дешевого костюма, сумки для книг как свидетельства их рода деятельности и, может быть, чего-то вроде, уж не знаю, «Искусства редактирования» или «Творческого редактирования» — потому что, видите ли, именно с этого начинается *искусство, его истинно творческая часть* — и конечно, нашей специализированной газеты, респектабельной, информативной, проницательной, возможно, единственного на земле дерьямового клочка бумаги, у которого достает глупости изобразить распинаемого на кресте святого Андрея с такой пояснительной надписью: «Два еврея в еврейских шапочках привязывают Христа к кресту». Да, почтенный серый листок действительно устанавливает и отражает редакторские стандарты нашего времени. Еврейские шапочки.

Вот в основном то, к чему мы пришли. После скупок, передач, слияний и прочего осталось всего с полдюжины или около этого имеющих влияние и пользующихся уважением редакторов. Случилось так потому, что «Рэндом хаус», «Нопф», «Пантеон», «Краун», «Винтэйдж», «Бэнтам», «Даблдей», «Делл» и другие стали собственностью Бертельсманна из Германии. «Викинг», «Пенгвин», «Патнэм» и прочие отошли Пирсону из Британии. «Саймон энд Шустер», «Скрибнер», «Покет бакс», «Атенеум» принадлежит «Виакому», «Уорнер бакс» и «Литтл, Бра-

ун энд компани» — «АОЛ», «Сент-Мартинс», «Генри Хольт энд К°», «Штраус и Жеру» попали в руки еще одному немецкому конгломерату «Ферлагсгруппе Георг фон Хольцбринк». «Ньюс корпорейшн» Руперта Мердока подгреб под себя «Харпер Коллинс», «Липпинкотт», «Морроу», «Эйвон» и другие.

Эти шесть корпораций контролируют сегодня около семидесяти пяти процентов книжного рынка для взрослых, а четыре из шести контролируют около двух третей этого сегмента рынка.

Из шести корпораций лишь две, «АОЛ» и «Виаком», американские, причем обе занимаются не столько традиционным издательским бизнесом, сколько медиа, рассматривая первое направление как незначительный иrudиментарный придаток.

Таким образом, издание книг не является первостепенным делом ни для «Виакома», ни для «АОЛ», а потому можно сказать, что фактически в Америке нет крупных американских издателей.

Я был букмекером, я занимался кредитованием, и я умею считать, не прибегая к помощи калькулятора, обрывка бумаги и огрызка карандаша. Арифметика простая. «АОЛ Тайм-Уорнер» оценивается более чем в двести миллионов долларов в год, а на рекламу и прямой маркетинг тратится приблизительно один миллиард долларов в год.

«Тайм-Уорнер трэйд паблишинг», включающий «Уорнер бакс» и «Литтл, Браун энд компани», получает доход около трехсот миллионов долларов в год.

Так что доходы от издательской деятельности лишь немногим превышают одну десятую процента стоимости «АОЛ Тайм-Уорнер».

Примерно сорок лет назад «Уорнер бакс» начало издавать дешевые книжки в бумажном переплете. Но вот другое издательство, «Литтл, Браун энд компани», осно-

ванное в 1837-м в Бостоне, когда-то являло образец независимости и солидности, на сто процентов принадлежа самому себе. Сейчас его доход равняется примерно одной десятой процента — мошка в глазу, крошка, застрявшая в зубах, — молоха посредственности, крупнейшего в мире медийно-развлекательного конгломерата, а доходы всего издательского дома «Тайм-Уорнер трейд паблишинг» составляют менее трети того, что «АОЛ» тратит на продвижение своей продукции.

В былые времена, когда корпоративные доходы падали, под сокращение попадала в первую очередь реклама. Сейчас дела обстоят иначе: мошку можно смахнуть, застрявшую между зубами крошку выковырнуть и выплюнуть. Очень даже легко.

«Синержи». Вот какое слово им нравится. «Синержи». Все дело в «Синержи».

Двадцать пять лет назад пятьдесят издательских домов делили между собой рынок, который сейчас контролируют шесть глобальных компаний. В те времена, когда существовали автономные издательства, занимавшиеся именно публикацией книг, редакторы, в свою очередь, тоже обладали автономией. Их боссы, издатели, управлявшие компаниями, были фигурами из плоти и крови, а не невидимыми бюрократами. Термин «издатель» означает сейчас лишь рабочую профессию; «издателя», который мог бы действовать независимо, сейчас не существует. Власть перешла в бизнес-отделы, где судьбу книг решают неэффективные демографические расчеты, потенциал рынка и предполагаемая прибыль. Все это уже не имеет какого-либо значительного отношения к писательству. Книги превратились в продукт, и этот продукт, рассчитанный — чаще всего неправильно — представлять общий знаменатель вкуса населения, оценивается именно в таковом качестве. То, что сказал о космологах нобелевский лауреат, физик Лев Ландау —

«они часто ошибаются, но никогда не сомневаются», — может быть с еще большей справедливостью применено по отношению к этим новым выпускникам бизнес-школ, ставших арбитрами издательского дела, к этим полуграмотным Уриям Гипам в голубых в белую полосочку рубашках с белыми манжетами и белыми «итонскими» воротничками, этим големам, чье безвкусие в одежде превосходно отражает безвкусие в книгах.

Как сказал однажды мой покойный друг, Сэл Скарпата, не доживший до сорока: «Помнишь тех жутковатых придурков, которым никак не удавалось снять девчонку, когда мы были пацанами? Ну так вот, теперь они с нами посчитываются».

Да, часто ошибающиеся, никогда не сомневающиеся, — эти големы пребывают в самодовольном заблуждении, полагая, что способны предсказывать потребительский спрос и манипулировать им: независимо от балансовых показателей, доказывающих их неправоту, невидимые бюрократы никогда не ставят под сомнение это заблуждение.

Те, кто когда-то носил титул издателя или редактора, а нередко и совмещал то и другое; те, кто когда-то стоял над големами, ныне обязаны служить им. Каждая книга, которую им хочется приобрести и опубликовать, должна соответствовать парадигме самообмана стоящего на верху голема.

Она должна быть представлена как продукт, природа которого соответствует проверенной, испытанной и признанной верной формуле «текущей маркетабильности».

Она может быть снабжена ярлыком «смелая», как зубная паста или чистящее средство снабжаются ярлыком «новая и улучшенная» или даже «революционная», но, подобно гигиеническим и моющим продуктам, независимо от ярлыка должна быть безопасной для потребите-

ля и содержать только проверенные и одобренные искусственные ароматизаторы и красители.

Она может быть «шокирующей», «брутально откровенной», «оскорбительной», «скандальной» или «кошмарной», так как это общепринятые вкусовые добавки посредственности, но никогда не должна быть неприятной или отличной от обычного и общепринятого, никогда не должна пытаться выйти за установленную черту приемлемости.

Главное — она должна отвечать тем самым возвышенным и в высшей степени неопределенным идеалам посредственности, одобряемым упомянутой нами газетой, которая может распять не того еврея, но при этом твердо отвергает отвратительного, по ее мнению, Филипа Рота и признает настоящими писателями Джона Гришэма и Стивена Кинга.

Если редактор хочет выжить, то у него не остается иного выбора, как служить голему, даже при том, что он занялся бизнесом, имея склонность к литературе, ценя ее и понимая, даже при том, что он, по крайней мере на словах, воздает ей должное. Единственный для него способ подняться заключается в служении голему. Высокий дух, воображение, смелость, индивидуальность, моральная свобода — на всем этом ставится крест. Любовь к классике не возбраняется, но правда такова, что теперь такие книги либо не могут, либо не желают издавать. Да, классику печатают и все еще продают, хотя часто ее не читают, но только потому, что она входит в список обязательного чтения, и, следовательно, почти каждый, стремящийся получить диплом, покупает ее вынужденно.

Продажа книг, как и чтение, уменьшается. Около половины всех продаж контролируется четырьмя крупными сетями магазинов. Шутка. Нет издателей. Нет магазинов. Нет ничего.

Мой друг Бобби Тедеско, бывало, говаривал: «В мире есть два типа людей: итальянцы и те, кто хотел бы ими быть».

По аналогии можно сказать, что сейчас в мире только два типа книг: книги Опры и те, которые хотели бы ими быть.

Я только что издал новую книгу. Мне она не казалась чем-то уж очень значимым. Я и не намеревался делать шедевр. Мне хотелось срубить несколько сотен тысяч. Вот и все. Но то, что она не была чем-то особенным для меня, вовсе не означает, что она не была великой книгой в сравнении с прочим выходящим из-под печатного станка. Критики, как обычно, отнеслись ко мне по-доброму, книга получила награду и даже попала в несколько списков бестселлеров, чего еще не удавалось ни одной из моих прежних.

В тот день, когда она появилась в списке бестселлеров «Лос-Анджелес таймс бук ревью», мой друг Джерри прислал мне копию этого списка. Она стояла почти в самом низу, но все-таки присутствовала там. В списке была еще одна книга моего издателя, в самом верху, и в ней содержались рецепты кулинарных блюд и советы по декорированию. Конечно, моя книга не могла соперничать с такого рода вещью, считавшейся «хорошей» книгой. Моя представляла собой попытку показать истинную душу одного человека — большого плохого черного парня по имени Сонни Листон, — которого история обрекла на муки ада. Я дал книге название «Ночной поезд» — так же называлась любимая песня Сонни, — потому что посчитал его, это название, прекрасной метафорой для того фатального короткого путешествия в край ночи, которым была жизнь Сонни. Однако мой издатель, зная, что я вынашивал название на протяжении нескольких лет, высказал опасение, что моя книга может оказаться как бы в тени другой, вышедшей совсем

недавно книги Мартина Эмиса, озаглавленной точно так же. Я неохотно пошел на уступку, предоставив другой вариант: «Дьявол и Сонни Листон». (Странно, но хотя Мартин Эмис британец, мой британский издатель никаких сомнений не испытывал и выпустил книгу под первоначально задуманным мной названием. В результате мой «Ночной поезд» обошел «Ночной поезд» Эмиса, и с тех пор обе книги сосуществуют в Британии без проблем и путаницы.)

Впрочем, речь не о моей, возможно, не такой хорошей книге — то есть великой — и не о книге Эмиса, которая, возможно, лучше. Речь о моей книге и книге с рецептами и советами по декорированию. Я полагал, что поскольку моя книга — которая, да, признаю, не содержит советов по декорированию — представляет собой серьезную попытку показать истинную душу человека миру, который при всей его лицемерной политической корректности по-прежнему, не сознаваясь в этом, в глубине души боится и презирает все большое, плохое, черное, и поскольку это, по крайней мере, настоящая книга — пусть и написанная не от чистейшего сердца «священного дерева», а в не столь священном борделе на окраине, — то мой издатель должен быть доволен хотя бы тем, что благодаря мне его представительство в списке бестселлеров выглядит вполне достойно.

Этого не случилось, и только тогда я сделал открытие, что, если не принимать в расчет публичное притворство, издателям, похоже, нет никакого дела до респектабельности и достоинства, если они не подкреплены коммерческим успехом, а не только пустыми похвалами.

По словам моего издателя — он говорил не со мной, а моим агентом, — книга была не очень хорошо принята. Более того, она не оправдала «ожиданий по продаже». В общем, учитывая все, вместе взятое, для голема выпуск ее оказался неудачным предприятием.

Вот так и получилось, что мой первый бестселлер проиграл по всем статьям рецептам и советам по декорированию.

В тот год мне стало ясно — для меня этот бизнес закончился. Тридцать лет я боролся и брал верх. Но пока я одерживал победы, враг рос и крепчал. Теперь вопрос стоял так: либо опуститься на колени перед ним, несущим глазированный торт капитуляции и жертвоприношения, либо исчезнуть.

Я знал своего редактора семнадцать лет. Знал с того времени, когда он работал в прекрасном старом офисе, отделанном прекрасным старым деревом, в прекрасном старом издательстве «Скрибнер», по прекрасным старым скрипучим половицам которого расхаживал сам старик Скрибнер. Настоящие издательства еще держались, и мы сидели в прекрасном старом офисе, окнами выходившем на Пятую авеню, наслаждаясь воздухом этого места, хранившего душу и время, возвышенность устремлений и святость древнего «древа».

Вдохнув полной грудью воздух того «священного дерева», я уже не хотел никакого другого.

Он был самый лучший из возможных редакторов в том смысле, что лишь изредка пытался меня редактировать, поскольку раз ни один писатель не может начать писать до тех пор, пока не поймет и не признает смиренно, что бессловесный ветер, о котором говорил Эзра Паунд, обладает поэтической силой, недоступной ни одному из пишущих, то и от редакторов требуется такое же понимание. Величайшие редакторы не редактируют. Они находят хороших писателей и вступают с ними в заговор, цель которого дать им свободу и деньги. Мак-свэлл Перкинс, работавший у Скрибнера с Хемингуэем, Ф. Скоттом Фицджеральдом, Томасом Вульфом и другими, носит сегодня титул «редактора гениев». Если бы Перкинс когда-либо наткнулся на гения, его работа све-

лась бы к тому, что он позволил бы этому человеку, способному конструировать свои собственные предложения, беспрепятственно делать свое дело и дальше. Разве мог Сакс Комминс, старший редактор «Рэндом хаус» во времена Беннетта Серфа, навязать свою волю Уильяму Фолкнеру, У. Х. Одену или Уильяму Карлосу Уильямсу? Разве мог Марни Россет пытаться направлять Уильяма Берроуза и Хьюберта Селби-младшего? Разве мог Джеймс Лафлин улучшать Эзру Паунда или Пола Боулса? Никто ничего не мог. Потому что никто этого не желал. И в этом заключается настоящее редактирование.

Но голем, узурпировавший власть редакторов, сделал так, что заговор между писателями и редакторами стал почти невозможен. В старые времена в издательском деле, как и в те времена, когда еще существовали старые кварталы, где люди считались соседями, всех объединяло понятие общих ценностей, и осознание этого сплачивало тех, кто признавал данные ценности, против того, что угрожало им. Тогда, в те далекие времена, жило ощущение родства, ощущение преданности, ощущение того, что все мы живем и дышим вместе. Латинский префикс *con-*, выражаящий совместное действие, соединение, партнерство, и латинский инфинитив *spire*, «дышать», дают вместе слово *conspire*, означающее «дышать вместе». Потом случилось пришествие голема, которому было неведомо понятие ценностей, независимо от того, объединяли ли эти ценности тех, кто занимался изданием сам по себе и не дышал вместе ни с кем.

Вот почему я огорчился, услышав слова голема из уст моего старого друга и редактора. Когда-то давно мы дышали вместе, мы конспирировали. Года через два после того, как мы познакомились, когда издательство «Скрибнер» перешло «Макмиллиану» и старик Скрибнер уже не ходил по прекрасным старым скрипучим половицам, мой друг и редактор согласился на новую должность в

другом издательстве лишь при условии, что его потенциальный наниматель согласится опубликовать мой первый роман. Так началась новая жизнь для нас обоих.

И вот теперь, пятнадцать лет спустя, что я услышал? Я услышал слова, означавшие примерно следующее: «К черту это “литературное, поэтическое” дермо! К черту тебя, твой “редкий гуманизм”, твои “великие” книги. Глазированный торт и советы по гардеробу — вот *настоящее* священное древо. Иди и приготовь нам торт, а потом мы посмотрим, чего ты стоишь и нужен ли ты нам».

Так случилось, что следующий мой опус, который он должен был опубликовать, — собранные за двадцать пять лет заметки, исследования, размышления составили книгу о поэтическом импульсе, охватившем период от догомеровских времен до наших дней, — представлялся мне настолько лишенным коммерческого потенциала, что, говоря откровенно, я и сам не надеялся на успех, выразив на страницах книги сомнение в том, что мне удастся «склонить невежественнейшего и легковернейшего из издателей к выплате сколь-либо приличной суммы».

Но еще до публикации, на ранних стадиях производства книги, у голема появились собственные сомнения, намного более странные, чем мои. Он опасался, что название, данное моей книге, — «Там, где собираются мертвые голоса» — может стать причиной путаницы, ввести людей в заблуждение, в результате чего кто-то по ошибке сочтет мой труд романом, а не исследованием. Теперь, когда проблема была доведена до моего внимания, там полагали, что я разделю их вполне понятную озабоченность и предложу подходящий подзаголовок, который поможет отличить мою книгу от художественного произведения.

Прожив немало лет, я полагал, что продемонстрировал сам либо видел в исполнении других все глупости

из репертуара высших позвоночных. Но это было что-то новенькое. Я начал сочинять ответ и обнаружил, что с каждым словом и каждым пунктуационным знаком злость моя поднимается все выше.

«Я поразмыслил над Вашей просьбой дать подзаголовок. Одни размышления потянули другие, и в конце концов я увидел и почувствовал свет, из которого пришло самое святое и самое ужасное, что только есть на свете: честность.

Относительно выраженных Вами обоснований необходимости подзаголовка, сводящихся к тому, что заголовок может “сбить с толку” потенциальных покупателей, которые могут сделать вывод, что перед ними роман.

1. Я не знаю ни одного книжного магазина, в котором художественная литература не была бы четко отделена от нехудожественной.

2. Любой заголовок, привлекающий потенциального покупателя к книге, независимо от того “вводит он в заблуждение” или нет, — это хорошо. В чем заключается замечательная маркетинговая идея? В том, что нам нельзя привлекать потенциального покупателя, интересующегося только художественной литературой, посредством введения в заблуждение?

3. Чтобы прочитать подзаголовок, нужно подойти к книге достаточно близко, а ведь он, конечно, будет куда мельче, незаметнее и уж наверняка не столь откровенно очевиден, как вывеска “Нехудожественная литература”, под которой или вблизи которой поместят книгу.

4. Можно ли считать потенциальным покупателем этой книги человека, настолько тупого и дремучего, что он пострадает в результате возникшей в его в голове путаницы?

5. Я признаю наличие неиссякаемого источника человеколюбия, питающего мудрецов маркетинга, но мне

еще не приходилось встречаться с такой нежной заботой и беспокойством по поводу неудобств, причиненных “ошибочным” выбором книги. Возможно ли вообще избежать риска, связанного с ошибочной покупкой?

6. Сама идея возникновения путаницы неверна, безосновательна и отдает идиотизмом. Название не создает путаницы и не вводит в заблуждение. Оно скорее представляет тайну, которая влечет нас. Даже тех, кто слишком туп, чтобы заметить большие вывески, к прискорбию разграничитывающие секции каждого большого книжного магазина в наш прискорбно разделенный век.

7. Кому, на хрен, какое дело до того, что они думают? Это, на хрен, книга.

Я просто не куплюсь на всю эту бессмысленную чушь, которая кажется мне смехотворной, унизительной, жалкой и глупой.

Короче, никакого подзаголовка. Хрен вам!

Полагая, что Вы незамедлительно приступите к подготовке книги к публикации в строгом соответствии с ее окончательной версией, хочу порекомендовать хорошего, грамотного наборщика, который сможет воспроизвести все классические элементы должным образом.

В противном случае — вот вам хрен!

Мы оба знаем, что эта книга намного важнее для меня, чем для тех, кто сидит наверху, и я должен оберегать и защищать ее, а посему я вменяю это в обязанность не Вам и не кому-то другому, а только лишь себе самому, тому, на ком и лежит вся полнота ответственности. Эта книга представляет меня, как будет представлять меня и следующий роман, и никому не позволено трахать меня, обрезать, делать виноватым или уничтожать — никому, кроме меня самого. Буду я стоять или упаду, буду процветать или сгинуть — это мое.

То, что неподвластно мне, разрушение или уничтожение, на которые могут обречь меня все более гнетущие

силы индустрии постграмотной посредственности, — пусть будет; но то, что подконтрольно мне — моя внутренняя судьба, — пусть будет тоже. Вынужден передать подверженным заблуждениям мои извинения, а также выразить гордость и благодарность за то, что меня не причислили к авторам сборника рецептов, обошедшего мою книгу в разделе нехудожественных (с отчетливо прописанным ярлыком во избежание путаницы) бестселлеров этой захолустной “Эл-Эй таймс”.

То, что написано мной от души, и то, что я еще напишу от души, не может и не должно подгоняться под вкус кого-то еще, и прежде всего под вкус этого базара, который был когда-то миром. Редактировать мои книги — это то же самое, что делать маникюр живущему на воле леопарду.

Вы говорили о своей с опозданием вспыхнувшей любви к Гомеру, любви, которую разделяю и я. Заметьте, что в “Илиаде” он призывает только помочь богини письма. А в “Одиссее” — лишь помочь музы. Они едины, они единственные, и они имманентны: призвать и стерпеть постороннее влияние немыслимо. Конечно, большие куски “Одиссеи” сделаны слабо, а еще большие куски “Илиады” почти нечитабельны. Нет редактора, который не вырезал бы перечень кораблей (частично или полностью) из II книги “Илиады”, и нет редактора, который оставил бы нетронутой саму Библию. Такие факты скрыты почтением, которое мы безусловно питаем к вышеупомянутым книгам. Возможно, эти леопарды стали бы лучше после редактирования, но они были и остаются тем, что мы предпочитаем называть книгами, и будут вдохновлять, трогать души и вызывать трепет даже тогда, когда надушенный ядом хлам из дешевых романов и словесного ассорти, которые мы тоже предпочитаем называть книгами, сделает свое дело и будет забыт.

(Кстати, куда отнести “Илиаду” — к художественной литературе или нехудожественной? Ведь Шлиман и другие показали, что в этом вопросе много путаницы. Несомненно, подзаголовок мог бы помочь этой книге находить своего читателя в последние восемнадцать или около того столетий.)

Вспоминаю, сколько радости, восторга и восхищения доставило мне чтение Фолкнера, который, при всех своих недостатках, откровенной пьяной неряшливости и ошибках, просто-напросто отказался подвергнуться редактированию, как только научился писать после первых двух невыносимых романов, и как ему повезло, что его редакторами были сначала Гаррисон Смит, а потом Беннет Серф, которым достало смелости и мудрости не редактировать его. (“Ты единственный дурак в Нью-Йорке, который издаст это”, — сказал Альфред Харкорт Смиту, имея в виду “Шум и ярость”. И разумеется, ни одно крупное издательство не опубликовало бы эту вещь сегодня.) Как рассказывал Фолкнер: “Я напиваюсь, я делаюсь сумасшедшим, меня сбрасывают лошади, со мной случается всякое. Но я не редактируюсь. Я предпочитаю увидеть, как мою жену дерет конюх”. Без этого кредо, без смелости и слепой веры мудрых редакторов, таких как Смит и Серф, Фолкнера превратили бы в еще одну забытую посредственность, и мы были бы лишены его прекрасного, как вдох, величия. Фолкнера просто не существовало бы. Да, он ни на кого не походил. Да, он был коммерчески нежизнеспособен. До того как ему дали Нобелевскую премию, рецензии на его книги были хуже, а прибыли меньше, чем мои. Как я сказал, нужно написать плохую книгу, чтобы получить деньги, необходимые для написания хорошей. Но он, пользуясь его любимым словечком, остался непокоренным.

Конечно, то было другое время, когда во главе издательских компаний стояли настоящие боссы, когда эти

боссы были живыми человеческими существами, мужчинами с яйцами, которые любили книги и знали, что не надо затрахивать то, что любишь, каким бы странным, необычным или непонятным ни был объект этой любви. Сейчас нет ни мужества, ни индивидуальности, а вчерашний Боб Кратчилл превратился в тирана, надменно полагающего, что уж он-то знает, как делать деньги, тогда как в действительности он летит по канализационной трубе и видит только мелькающие задницы, а новые Фолкнеры проходят мимо незамеченными. Над теми, кто ежится от страха перед финансовыми и культурными банкротами, постоянно висит опасность потерять работу, и это печально и плохо.

(Как человека, решительно не принимающего цензуру, меня воротит от мысли о том, что обстоятельства вынудят публиковаться под эгидой “Америка Онлайн”, которая, как вы знаете, а может быть, и не знаете, является яростным сторонником цензуры в Интернете. Не знаю, испытываете ли вы стыд или отвращение к себе, оказавшись заодно с активным противником и преследователем свободы слова, но я точно испытываю. Единственный луч света — это то, что “АОЛ”, будучи организацией с отвратительным менеджментом и упавшей почти на пятьдесят процентов за прошлый год рыночной стоимостью, нуждается в наличности и, следовательно, продаст нас менее отвратительному издательству. То есть я хочу сказать, что подписал договор, по которому обязан написать книгу, а не предать свои долбаные принципы. Гомера стошнило бы от такого бесстыдства, Фолкнер просто обоссал бы нас. Будь у нас совесть, мы сделали бы это за них.)

Но леопарды еще водятся, и у них все еще есть когти. Им тоже грозит опасность лишиться работы, но в их случае работа — это они сами. Для леопарда душа человека

священна и бесценна, и ради того, чтобы защитить ее, сохранить и уберечь, он готов убить или погибнуть.

Другими словами, хотя я и надеюсь, что те немногие редакторы, которых я уважаю, считаю близкими мне по духу и с которыми дружу, останутся в моей жизни на-всегда, но в том, что касается моих книг, — нет. Больше их редактировать никто не будет.

Кости с цифрами моей жизни в моей руке, и бросать их буду я. Теперь мне действительно на все наплевать. А значит, я в выигрыше.

Вот так. Откровенно и честно. И чтобы никого не ввел в заблуждение отсутствие подзаголовка, уточню — здесь нет ни капли художественного вымысла.

Пожалуйста, не утруждайте себя ответом, потому как ответ мне не нужен, и никаких слов, имеющих отношение ко всему этому, от меня более не будет.

Искренне Ваш

Ник».

Боже. Да. Фолкнер. Его история сказала все. Каждому писателю, каждому издателю, каждому редактору, каждому читателю — его история сказала все.

«Я написал КНИГУ, перед которой все остальные теллята», — сказал он «Бони энд Лайврайту», издателю двух первых, жутких романов, закончив рукопись «Флагов в пыли» осенью 1927-го. Он был прав. И книгу опубликовали в должное время, летом 1929-го, через одиннадцать лет после его смерти.

А вот издательство «Джонатан Кейп и Гаррисон Смит» осенью 1929-го выпустило другую его великую книгу, «Шум и ярость». Депрессия или не депрессия, но тогда, как и сейчас, бестселлеры могли продаваться, и продаваться миллионами. «На Западном фронте без перемен» Ремарка, также изданная в 1929-м, в течение восемнадцати месяцев разошлась по всему миру тиражом в три

с половиной миллиона. «Шума и ярости» было продано тысяча семьсот сорок девять штук.

Увидев следующую книгу Фолкнера, «Святилище», Гаррисон Смит в ужасе воскликнул: «Боже, я не могу издать это! Мы оба попадем в тюрьму». В конце концов Смит набрался смелости, и, когда в начале 1931-го «Святилище» увидело свет, его продали более шести тысяч экземпляров, что уже можно было считать коммерческим успехом, повторения которого Фолкнери пришлось ждать еще восемь лет.

«Рэндом хаус» приобрел эти книги, приобретя компанию Смита, став издательством Фолкнера в 1936-м. Подобно Смиту «Рэндом хаус» тоже проявил смелость, твердость и верность. Хотя для того, чтобы продать еще тысячу экземпляров «Шума и ярости», понадобилось почти тринадцать лет, с 1931-го по 1943-й, смелость, твердость и верность оккупились сполна. «Шум и ярость» и другие книги Фолкнера с годами стали для «Рэндом хаус» одним из самых прибыльных и престижных проектов, настоящим кладом, об обладании которым мечтает каждый издаатель.

Вся шутка в том, что, тогда как «Рэндом хаус» справедливо пользовался плодами собственной смелости, твердости и верности, пот и муки самого Фолкнера, как и его талант и смелость, как говорится, дали отдачу только после того, как он стал пылью и прахом.

Меня тошнит от тех сукиных сынов, которые стонут, скулят и жалуются, как они гнут спины ради своих чертовых семейств. Все они и каждый из них — это мешок гребаного дерьяма. Только художник действительно работает лишь на своих любимых и потомков. И все потому, что только они увидят долбаный чек. Художникам не платят почасовую. Им не платят понедельно. Им не платят ежемесячно. Им не платят ежегодно. Им платят посмертно. При жизни — ничего, ни более-менее при-

личного аванса, ни даже символического жеста в виде десятипроцентного кредита.

Так что в следующий раз, когда соберетесь показать мне карточку вашей гребаной уродины жены, которую я, может быть, трахнул и забыл двадцать лет назад, и детишек, которые, да, вышли рожами в папашу, и рассказать, как вам приходится горбатиться на них, сделайте милость: заткнитесь на хрен. Это же относится и к той старой швабре, вашей затраханной мамаше, о которой вы так заботитесь. Чушь! Когда она откинется, возможно, вам кое-что перепадет. К черту вас всех, с вашими оплаченными отпусками, вашими пенсиями, вашими богатенькими мамашами и папашами и вашей хренью насчет того, как вы горбатитесь и чем жертвуете. Единственная достойная жертва, которую вы можете принести, — это отправить себя на тот свет. Вы противны мне, все и каждый, долбаные недоделки, унаследовавшие жалкий десятипроцентовик или только собирающиеся это сделать. Вы — подонки, мусор земли, потому что не в состоянии самостоятельно идти по ней. Даже когда вы притворяетесь, что идете сами, вы натягиваете внизу сетку безопасности. Вы — дилетанты настоящей жизни.

Высказался — и приятно.

Свободен. Как только может быть свободен тот, кто ожидает смерти. Все равно пошли на хрен!

Так вот. Его история говорит все. Каждому издателю, каждому редактору, каждому читателю — его история говорит все. Да, и каждому читателю тоже.

«Мистер Фолкнер, — спросила она, — о чем вы думали, когда писали это?»

«О деньгах», — ответил он.

Или возьмите, к примеру, вот это, когда речь зашла об одном особенно завернутом отрывке в одной из его книг.

«Что это означает, мистер Фолкнер?» — спросил он.
«Будь я проклят, если знаю, — ответил тот, подумав.— Я и сам читал это на днях и задавал себе тот же вопрос. Помнится, я был прилично на взводе, когда писал этот кусок».

Или просто почитайте «Дикие пальмы», в которых ветер верховной мудрости Эзры Паунда предстает как великая губительная сила. После этого вам уже не надо читать ничего другого. Я сам украл последнюю страницу рукописи этого романа из хранилища в отделе рукописей библиотеки Олдермана в Виргинском университете, в Шарлоттвилле. Это одна из моих святынь, и мне жуть как не хочется с ней расставаться.

Когда я пишу, то держу их рядом, мои святыни. Однако рассказывать о них не стоит.

Но, господи, знать бы хоть одного редактора или издателя, у которого на стене висела бы табличка со словами:

*Боже, я не могу издать это!
Мы оба попадем в тюрьму.*

А под ней, на книжной полке, экземпляр последнего издания «Святыни», выпущенного «Винтажем», в хорошем переплете. Книга, дающая прибыль, входящая в списки для обязательного чтения, «литературная классика», о чем и подумать было невозможно, книга, которая за неделю разлетается в количестве, разошедшемся когда-то за тринадцать лет.

Да. А рядом, на другой стене, прекрасные, суровые слова Откровения:

Знаю твои дела: ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч.

Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.

Но такого быть не может. Чертова кляча сдохла.

Устроив разгон издателю, я в скором времени почувствовал себя преданным моим агентом, человеком, почти двадцать пять лет бывшим моим единомышленником, союзником и сторонником. Сначала возникла проблема с какой-то толстозадой, много о себе возомнившей сучкой, работавшей с нами по киноконтрактам. Я поймал ее на вранье. Все знают, что зловредная опухоль, известная как Голливуд, сама по себе громадная куча лжи. И я это тоже знал, но тут почему-то разозлился и заявил, что не желаю иметь с ней каких-либо дел. Мой агент, однако, связей с ней не порвал, оправдываясь тем, что она хорошо на нас поработала и вообще полезна для его дел с другими клиентами. Тут уж я завелся. Другие клиенты?

Да. Еще одна толстозадая сучка, та киношная агентша Опра. И тот редактор, у него тоже толстая задница. Даже мой агент начал раздаваться в талии. У вас тоже толстая задница? Да что ж это такое с вами, люди, и с вашими жирными задницами? Все вы просто похожие на грушу недоделки. Мне бы надо было прихватить теодолит, чтобы измерить все эти расплывшиеся гребаные жопы и упредить беду, пока она не пришла. На хрен его! На хрен ее! На хрен того парня! На хрен вас, кем бы вы ни были! На хрен всех!

Возможно, мне следовало проявить побольше деликатности к чужим чувствам. Возможно, я многих обидел, но я не собираюсь безропотно идти навстречу судьбе.

Так что — да, на хрен вас всех! Чтоб вам гнить в аду! А мне в первую очередь, потому что из всех вас я самый большой придурок.

Я старел. Диабет заклевал моего петушка и тихонько доклевывал остальное. Я был непригоден к употреблению.

Но чувство юмора осталось при мне, как и вкус к дыханию этого мира.

Я чувствовал — Бог сохранил меня в живых не просто так, а ради чего-то. Тридцать лет жизни промчались как что-то мимолетное, чудесное и буйное, увиденное краем глаза. В тот вечер, когда я опустил голову на подушку, меня посетили видения. Снова и снова я видел себя молодого, всматривающегося в разорвавший темноту просвет, чувствующего в этом просвете волнующее обещание всего возможного и безграничного. Этиочные видения были коротки и быстротечны, но принесли с собой острое и все более усиливающееся ощущение печали и утраты. Волнующее обещание всего возможного и безграничного ушло. Я был стар и одинок. Но в то же самое время помнил, как часто, уже после того как юность минула и мечта стать писателем сбылась, приходил в жутко кошмарное сознание, лежа неподвижно на полу в лужах застывшей крови, нередко не зная, моя это кровь или чья-то еще, или как выбирался из небытия в палатах интенсивной терапии с привязанными к кровати руками, весь утыканый иголками внутривенных трубок; как днями валялся в коме, и приходившим на вещать меня тихонько сообщали, что я вряд ли протяну до утра; как врачи в больницах говорили, что если я не откажусь от старых привычек, то выпишу себе свидетельство о смерти и что когда меня в следующий раз положат на каталку, то лицо мое будет покрыто простыней; как меня предупреждали в реабилитационных центрах, что еще одной детоксикации я не переживу; как в одном, похожем на тюрьму заведении нас всех, занимавшихся групповой терапией, попросили изложить историю своего порока, чтобы потом записать ее на доске, и когда пришел день и наступила моя очередь, и я написал свою, черный парень, которого все боялись — он так набрался крэка, что у него лопнули почки и он держался

на диализе; хотя в этом заведении почти все были черные, этот парень, даже на диализе, так пугал своих чернокожих братьев и нескольких бледнозадых мудаков, что речь шла не о том, кто завьет ему волосы, прикурит сигарету или отутюжит брюки, а о том, кому выпадет честь сделать это, — так вот этот черный парень расплакался, как будто сидел на скамье в захолустной баптистской церкви в Алабаме, где он появился на свет, и плакал так, словно стал вдруг другим человеком и лежал теперь, распростершись, узрев пути Господни.

— Ник, о боже! — причитал он. — Слава Господу, что ты еще жив!

Может быть, он плакал по самому себе. Может быть, он переполнился состраданием к тому, чей каждый орган уже должен был лопнуть, но кого пощадила та милость Божья, которая спасла и его собственную жизнь.

Мы подружились. Потом, когда вышли, потеряли друг друга из виду, но он до сих пор в моем сердце, и я вижу его лицо сейчас, когда пишу это. Надеюсь, он получил свой трансплантат, и надеюсь, он жив. Есть несколько человек, которые, как мне хочется верить, будут еще долго и глубоко втягивать в себя воздух жизни после того, как я уже перестану это делать; и тот черный парень — один из них, и, как и другие, он в моих благодарственных молитвах.

Не поймите меня неправильно. Как я уже сказал, их несколько. Большинство же из вас я послал бы на свое место.

Так что — да, я уверился, уверился еще сильнее и с еще более глубокой благодарностью, что Бог пощадил меня ради чего-то. Я уверился, что Бог оставил меня среди живых, чтобы я донес до людей все, что могу, чтобы послужил сосудом, чтобы излил через написанное полученный дар: дар понимания величайшего блаженства каждого мига и каждого данного нам вдоха; дар пони-

мания того, что мы сами разрушаем свою жизнь; того, что свобода — это абсолютная честность, которую душит в нас страх; что все чудесные таблетки, вся фальшь и продажность психотерапии и предназначеннной для массового потребления духовности ничто в сравнении с древними словами Евангелия от Фомы: «Если ты извергнешь то, что внутри тебя, то извергнутое тобой спасет тебя. Если ты не извергнешь то, что внутри тебя, то, что останется неизвергнутым, погубит тебя».

Я поклялся, что никогда больше не напишу ни одного фальшивого или пустого слова и что буду писать только в полную силу и ничего не тая; что никогда ничему и никому, даже самому себе, не позволю, чтобы меня смягчали, цензурировали или дополняли. Даже если написанное дойдет лишь до одной живой души и лишь из нее исторгнет свет, а потом будет две тысячи лет лежать ненужным хламом — пусть так. Меня оставили в живых для этого: сделать то, что могу, и таким образом обрести свободу в ясности, благодарности и достоинстве.

И вот тогда все кончилось. Вот тогда я и почувствовал, как Божья удавка затягивается у меня на шее. Я ушел слишком далеко от чопорно аккуратного садика приличий и условностей, отился от тякающих пуделей, называющих себя писателями. Пудели есть разные: так называемые серьезные, литературные пудели; так называемые задиристые пудели, научившиеся подавлять себя и совершать движения, благодаря которым их маленькие танцы на острие основательно затупленной бритвы не приводят к падениям и не заканчиваются кровопролитиями; так называемые осторожные пудели; так называемые забавные пудели; так называемые неистовые пудели.

Да, пудели есть любые. Но после пребывания за забором сада большинство из них перемешались и выродились, так что какое-либо различие между ними, если и

существовало когда-то, почти полностью исчезло. Все они научились менять высоту лая и пускать слезу, когда мимо проезжает катафалк.

Потому что честность — анафема нашего времени; и выражать то, что не несет печати одобрения надзирающих за набивкой из модной серой бумажной мульчи, заполняющей пустоты, где были когда-то сердца и умы, считается не добродетелью, а грехом. Фиговый лист стыда, прикрывающий чресла, пустяк по сравнению с тем маскарадом, с помощью которого мы стыдливо прикрываем то настоящее, что есть в нас.

Правда освободит вас, как сказал один еврей другим евреям, собравшимся вокруг него. Да, какая вечная красота, какая вечная мудрость заключена в этих словах. Правда освободит вас. Но она также может привести вас за решетку, лишить вас куска хлеба и повесить вам на шею колокольчик прокаженного.

Один мой приятель, джентльмен юного возраста, но старой школы, работает в квартале, где устроили цирк по случаю смерти последнего Кеннеди. Однокие бедняжки собрались там, чтобы постоять, глазея на ничем не примечательное здание, перед входом в которое была навалена куча дешевых цветов, и надеясь удостоиться хотя бы мимолетного внимания со стороны одного из скопившихся там же телевизионных фургонов. Пrijатель рассказал, что однажды поздно вечером, когда весь этот цирк уже погрузился в сон, он, проходя, наткнулся на еще одного приятеля, тоже представителя старой школы.

— Что случилось? — спросил мой приятель.
— Ничего, — ответил его приятель. — Иду вот к Кеннеди.

Мой приятель был удивлен.

— Какого черта тебе там надо?

— Хочу набрать цветов для моей старушки.

Услышав эту маленькую историю, я вдруг осознал, каким глупцом был. Мне и в голову не приходило, что цветы можно добывать, обходя посредника, корейца, державшего небольшой магазинчик на углу и имеющего неплохой доход за счет продажи дешевых букетиков этим — о, таким чувствительным бедняжкам, этим страдальцам чужому горю, которые в обычных обстоятельствах без колебаний переступили бы через труп, если бы он был черным и плохо одетым или его лицо не было знакомо по фотографиям в журнале «Пипл».

Если мы готовы смеяться и получать удовольствие от приготовленных кинокомпаниями развлекательных наборов с придуманными убийствами и вымысленными наркоманами, то почему та же самая индустрия отказывает нам в возможности прочесть книгу, написанную реальным убийцей, который приходит в восторг от самолично совершающего акта, или откровения наркомана, предлагающего, скажем, «Путь моралиста. Мимолетные размышления сидящего на игле»?

Можно ли невинно восторгаться фальшивым образом зла и одновременно отказывать в этом праве тем, кто предпочитает реальное зло придуманному? Неужели мы сами настолько фальшивы и неискренни, что пребываем в заблуждении относительно собственных пороков? Да, конечно, для разной лжи существует разная упаковка. Но культура, управляемая страхом, услужливостью и почтительностью, обречена, как и любой писатель или жизнь, управляемые теми же силами. Проблема не в лицемерии. Лицемерие — всего лишь внешний слой проблемы. Проблема в глупости.

Ладно, пусть будет так. К черту унылую, скучную вселенную Демиурга, этот мир лжи, ставший сутью, первоосновой того ходячего мертвеца, который назывался когда-то человечеством и не страшился называть вещи своими именами. К черту мир, в котором поклоняются

посредственности и в котором какая-нибудь третьесортная шлюха из Уэстчестера превозносится больше, чем Исида, Афродита, Сафо, Дева Мария и моя тетушка Герти, вместе взятые.

Книгоиндустрия, которая предположительно должна была бы стать средством сближения меня и читателей, обернулась стеной мертвой культуры, разделившей живых. К черту Берлинскую стену и к черту Пинк гребаный Флойд. Если что и надо снести, то эту стену посредственности.

Да, пудели есть всякие. Но они больше не кусают.

Так или иначе, как я уже сказал, вот тогда-то все и закончилось. Я даже не слышал тявканья пуделей вдали. Не было ничего, кроме молчания, странного молчания. Такое молчание имеет название только на загадочном, старинном языке мафии, известном — если известном вообще — как *baccagghiu*. Это слово *stagghiacubbu*, что на итальянском означает *silenzio profondo*.

В этом молчании, в этой глубокой тишине я понял, что если не смогу сделать то, что могу, и стать таким образом свободным в чистоте, благодарности и достоинстве, то способен, по крайней мере, пребывать свободным в чистоте, благодарности и достоинстве. Самого меня можно убрать, изгнать или запретить, но уничтожить мое достоинство по силам только мне самому.

Дабы слова эти не прозвучали торжественно, с тем же вздохом, с которым они пришли ко мне, когда наступила тишина, пришло и понимание, что для меня достоинства недостаточно. Потому как я жадный сукин сын и денег мне всегда мало.

Первую постоянную работу я получил в четырнадцать лет, став уборщиком в баре, где за двадцать долларов в неделю возил тряпкой по полу и вылавливал окурки из писсуаров. Много лет спустя я уже делал и спускал миллионы. Конечно, я по-прежнему мог заниматься поэзией

и свободно выходить с ней в ночь, где обитали духи, однако больших денег в этом не было. Собираясь провести отведенное мне время в *stagghiacubbu* мудрости ветра из рая, я собрался провести его не только в состоянии свободы души, но в том состоянии свободы, которое могут обеспечить только деньги.

И мой агент, и я знали, что я могу огrestи несколько миллионов, если соглашусь продавать себя, руководствуясь в первую очередь холодным расчетом. То есть я должен был забыть о морали и чести и всем том, что оставалось для меня святым, и посвятить себя производству чистейшего деръма бестселлеров.

Странно: будучи помоложе, я воровал в прямом смысле и никогда не терзался угрызениями совести. Однажды в разговоре с моим агентом я сказал, что при всем нежелании провести еще хотя бы одну ночь в тюрьме я, пожалуй, легко бы согласился, если бы подобрались верные люди, действительно ограбить один из издательских конгломератов. Или к черту ограбление — голем не держит наличность под рукой, — просто взорвать долбаное здание. Но у меня были большие опасения насчет использования писательства в качестве средства грабежа, если это влекло за собой подрыв основ самого писательства и мое собственное самоунижение.

— Ты всегда говоришь, что тебе наплевать на потомков, — сказал мой агент.

— Да, знаю. Но между сейчас и потомками я... — Я что? — Помнишь, давным-давно — боже, кажется, с тех пор прошла вечность, — я написал сотню страниц своей первой хорошей книги, а ты пытался ее продать? Я взял бы десять кусков, пять кусков, сколько угодно, но все ее заворачивали. Однажды мы сидели в какой-то китайской забегаловке, и ты спросил: «Если я не продам эти сто страниц, ты все равно допишешь книгу?» Я помолчал, подумал и ответил: «Да. Но тогда я не от-

дам ее меньше чем за сто кусков». Ты посмотрел на меня немного удивленно и спросил: «Почему?» А я ответил: «Потому что такой вот я хрен». Помнишь?

— Помню.

Я промолчал, потому что он был прав.

— Послушай, — сказал я, — да, знаю, мне везло. Возможно, я обеспечен лучше, чем восемьдесят процентов писателей.

— Скорее девяносто девять.

Господи, да этот бизнес еще более жалок и убог, чем я думал. Если бы я только не спустил все те деньги, если бы придержал. С другой стороны, на кой черт они нужны, если их не проматывать? Я шел к финишу, и вот что я вам скажу: еще никто не забрал их с собой в могилу. От любви к деньгам рождается много соблазнительных идей. Может, стоит попробовать?

Лежа в гамаке посреди небывало красочного пейзажа, уникального по богатству и сочности цветовых оттенков настолько, что лишь к нему применяется особое, существующее только здесь слово; лежа в величественной и могущественной тишине, чье величие и могущество определяет слово, живущее лишь здесь; лежа там и оглядываясь на прошлое, я рассмеялся, и смех мой улетел к поющим вверху птицам. Но потом, глядя вперед, глядя на то, что осталось от моей жизни, на то, что ожидало меня в Нью-Йорке, я уже не смеялся.

Много лет я провел, порабощенный страхом смерти. Странно, но теперь мысль о скором конце не беспокоила меня. Смерть дочери сделала меня безразличным к приближающейся собственной смерти. Как будто, забрав ее из этого мира, смерть забрала из меня страх перед ней, оставив вместо него отвращение, презрение и враждебность.

И еще я пришел к пониманию того, что жить со страхом смерти — значит умирать с каждым уколом боли и с каждым испугом и что страх смерти есть на самом

деле страх жизни, что, когда страх перед смертью удерживает нас от чего-то, мы не живем. Убивает нас не то, что мы делаем в жизни. Убивает то, чего мы не делаем.

Кроме того, если верить доброжелателям, меня уже столько раз причисляли к мертвым, что я и дышал-то чужим воздухом.

Итак, как сказал доктор, несколько лет.

Может, я был прав, считая, что Бог по какой-то причине сохранил меня в живых. Но может, я ошибался в причине.

Потому что — да, я сражался и брал верх, однако, пока я брал верх, враг крепчал и сплачивался. Меня нельзя покорить. Я не желал покоряться. Но вместе с тем и я не мог победить то, в чем не было больше крови.

Я чувствовал себя побежденным. На поле боя не осталось ни одной живой души, которую можно было победить или обратить в свою веру. Я так и не выпустил кишаки из дохлой клячи этой культуры.

Опять же если даже Эзра Паунд так и не смог ничего сделать со своими тремя строчками во времена, когда кровь еще лилась, то и никто не мог.

И, вторя Шуту из поэмы Йейтса о безумном Кухулине, я шептал:

Он побеждал царей и великанов,
но волны взяли верх над ним,
но волны взяли верх над ним.

Однако, лежа в гамаке и шепча себе под нос мягко льющиеся строки, я знал, что в отличие от безумного Кухулина я в своем безумии не устремился в боевом порыве навстречу морским волнам.

Море было моим спасителем.

Несколько лет. Может, стоило просто сосчитать все выпавшие мне милости. Великие милости приходят не-заметно. Может, то, что ушло из меня, освободило место для еще одной, еще более великой милости.

Черт, кого я хочу обмануть? Я вовсе не собирался уйти из жизни, распевая погребальную песнь самому себе, с венком из гребаных маргариток на шее. К черту Йейтса.

Быть или не быть — таков вопрос;
Что благородней — духом покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчясь на море сmut...*

Море, море, море. Всегда, всегда, всегда, всегда море. Шекспира тоже к черту! Он был ничто по сравнению с тем, кто родился всего за десять недель до него и пал в двадцать девять лет, еще до появления «Гамлета»,

Умру ли я, непокоренный?

Вот вам гребаный дух.

Вперед же, против сил Небесных,
Пусть дыма черные знамена
О гибели богов возвестят...

Господи, да, вот это настоящий гребаный дух!

Вперед же и пронзим копьями мы грудь того,
На чьих плечах покоится ось мира, и тогда,
Коль я паду, то рухнут пусты и небо и земля.

Черт, дальше я не помнил. Не помнил тогда и не помню сейчас. Но что еще можно сказать после этого? К черту Бога и к черту его гребаный мир. Может быть, когда я умру, то и вся эта дерьямовая вселенная заодно с сотворившим ее гребанным Богом сгинут вместе со мной.

К черту Шекспира и всю эту тупую, тяжеловесную, дешевую хрень. И пусть Бог и дьявол, открыв рты, опускятся на колени перед великим, молодым и смелым Марло.

* Перевод М. Лозинского.

Какую форму приняла смерть, на которую Марло обрек проклятого и проклинающего в гневе покидаемый мир Тамерлана? Мы не знаем. Об этом сказано лишь словами обращающегося к нему лекаря:

Я наблюдал мочу твою и кал,
Густой и темный,— велика опасность.

Диабет — болезнь, характеризующаяся густой мочой с повышенным содержанием глюкозы.

Умереть непокоренным.

Подобно меланхолии просачивающегося через старинное витражное стекло света, грусть медленно приближающейся смерти подобралась ко мне, но еще печальнее становилось от мысли, что в час конца ушедшая прежде меня дочь не согреет мою руку в своей. Многие любили меня, но только кровь есть кровь.

Нет, море не было моим врагом. Море было моим утешением, пусть и хранило в себе всю печаль мира. В тот чудесный день, когда смерть молча плела свою паутину в тени неподалеку от того места, где я лежал в гамаке, мой взгляд упал на маленькую птичку, стоявшую у края воды. Я долго наблюдал за ней, загипнотизированный ее мелкими шажками по мягкому белому песку. Иногда она надолго замирала в сверхъестественно неподвижной позе, повернув голову к морю. Потом это крошечное существо вдруг вспорхнуло и устремилось ввысь и в达尔, над океаном, постепенно уменьшаясь, пока не исчезло совсем в бескрайнем голубом небе.

Глядя ей вслед, я понял, что буду делать.

К тому времени на моем счету уже были два романа об исчезающем мире старых кварталов и его изнанке. Обе книги основывались на биографическом материале, хотя я этого и не признавал. Второй роман пользовался большей популярностью, но мне всегда нравился первый. Возможно, потому что второй был написан в пери-

од моего долгого схождения во тьму ночи, из которой я едва выбрался. Когда мне приходилось заглядывать в него иногда — главным образом для того, чтобы ответить на вопросы переводчиков, — я каждый раз ощущал проникающий в вены неприятный холод той черной ночи. Но концовка у него получилась правильная: никакой надежды. Первая из двух книг, нравившаяся мне больше, была, можно сказать, интимно биографической, но я придал ей жизнерадостный и оптимистичный конец. Позднее стало понятно, что, поступая так, я хотел уверить самого себя в возможности светлого будущего. Как будто, полагаясь на магическую силу слов, я думал, что если опишу свое будущее, то так все случится и в действительности. Теперь я понимаю, что роман заканчивается как бы моей неосознанной молитвой.

Та книга получила много хороших отзывов (хотя никто не спешил расставаться с деньгами), но самой большой похвалой для меня стало то, что ее прочел ничего в своей жизни не читавший Усатый Винни, который держал угол Даунинг и Бедфорд и был одним из последних настоящих фигур уходящего века. До сих пор помню, как он критиковал меня, когда мы стояли возле заведения Доджа, у перекрестка, однажды утром.

— Плохо, что Джо Брашер все-таки умер, — сказал он об одном из персонажей книги.

— Господи, Винни, — сказал я.

Он хорошо знал прототипа героя романа. Никто не сожалел о том, что этот парень умер.

— Нет-нет, не пойми меня неправильно. Просто он был такой реальный. А теперь я знаю, что он никогда не прочитает эту книжку.

Лучшей рецензии я не получал ни до, ни после.

Несколько лет назад мне все еще приходилось убирать в баре, чтобы заработать на жизнь. Даже после двух опубликованных книг.

— Не беспокойся, — говорил обычно Винни, — если с этим бумагомарательством ничего не выйдет, *quann' u ventu v'ène*, наденешь то чертово пальто.

Quann' u ventu v'ène. То есть *quando il vento viène* — когда подует ветер. Говоря о пальто, Винни имел в виду то, с широким воротником, из верблюжьей шерсти, в котором он щеголял уже много лет и которое сшили специально для него в 1940-м. Сам он рассказывал так:

— Да, те два жиленка задолжали мне деньги. Жили они в районе, где все занимались одеждой, и были настоящие жиды. Наскреши деньги, чтобы рассчитаться, у них не получилось, но и прятаться они не стали. Приходят однажды утром ко мне, расстилают прямо на бильярдном столе рулон коричневой бумаги и говорят, чтобы я на нее ложился. Делать нечего, я лег, как Иисус на тот гребаный крест, а они стали суетиться вокруг с черными мелкими и еще каким-то дерьямом. Потом убрались, а еще через несколько дней привалили назад с этим вот самым, блин, пальто. «Вот, точь-в-точь такое мы пошили для Джорджа Рафта. У него черная подкладка. У вас — золотистая. Ну, что вы хотите, деньги или пальто?» Я взял гребаное пальто. И знаешь, что сказал один жиленок, когда уходил? «Можно было бы сделать из шерсти викуни, но мы задолжали только сотню баксов».

Прошло сорок лет, а пальто все еще выглядело на все сто. И вот что я вам скажу, мне пришлось заменить подкладку, но и теперь, спустя шестьдесят с лишним лет, оно смотрелось отлично, и ничего подобного я в жизни не видел.

В общем, эти ребята всегда были на моей стороне. Да, хорошие времена. Помню, как в одной нью-йоркской газете впервые появилась моя большая фотография. В тот день я шел по улице, но по противоположной от клуба стороне.

— Эй, да это ж наш знаменитый хрен! — крикнул кто-то из стоявших у двери, да так громко, что какие-то старушки в соседнем доме прилипли к окнам на третьем этаже. — Ну-ка вали сюда, где тебе самое место!

Хотя я и знал, что лишь очень немногие из них раскрыли те книги, подписанные экземпляры расходились хорошо. Тем более что я раздавал их бесплатно. Вот была комедия! Через неделю большинство уже спрашивали вторую. Объяснения всегда были одни и те же. «Мою взял Альдо Чинк, да так и не вернул». Или: «Я дал Сэмми Крысе, а он оставил ее в гребаной пивнушке». Но мое любимое звучало так: «Только ты мне ее дал, как я вышел повидаться с Анжело. Черт, отвернулся на десять минут, а когда вернулся, гребаные крысы сожрали половину».

Хорошие времена, плохие времена. Пару лет назад, когда шел суд над Винсентом Гиганте и журнал «Тайм» захотел узнать мое мнение о нем, я сказал правду: «Я бы предпочел иметь соседом его, а не кого-то из Шестого участка».

Еще я сказал парню из журнала, что приговор Винсенту Гиганте прозвучит похоронным звоном всему нашему району.

И я не ошибся.

Я также знал, что некоторые люди способны существовать в изменившемся и враждебном окружении, оставаясь невидимыми, как высеченные из камня лица на оконных арках верхних этажей остаются незамеченными теми, кто каждый день проходит под ними по улице. Я знал нескольких таких людей. Одного из них очень хорошо. Мы были близкими друзьями с детства. И вот теперь он, как одно из тех невидимых каменных лиц, переживших свое время, сам оказался высоко наверху.

Мне представлялось, что он зовет меня. Я вспомнил старые времена, старые дела, старые привычки.

Это даже не было решением.

Пульс не изменился, только что-то шевельнулось в душе.

Я знал, что одна жизнь закончилась, а другая только началась.

Душой я был дома.

Я не пил несколько лет. В самый момент падения я был чист, трезв и в здравом рассудке.

Нет, неверно. Ведь я еще не пал. Поэтому лучше сказать так: я был чист, трезв и в здравом рассудке в момент падения бизнеса, в который меня давным-давно затянуло по глупости.

Своим оружием, своим страшным и быстрым мечом я избрал ясность и честность. Но в мире, где ясность и честность не существуют, они бессмысленны и бессильны. И там, где души фальшивы, такой меч всего лишь дым.

Но дар этого дыхания, дар этого момента остался со мной. А значит, у меня было все.

Может быть, отведав духовного и материального богатства, я отведал вкус запретных плодов древа познания. Может, это мой дух привел меня к красоте далекого острова, давшего мне свободу и уложившего меня в гамак спокойного величия и просветления настоящего рая.

Да, привел меня сюда дух. Но деньги дали возможность купить билет и покрыть счет в тридцать тысяч зеленых.

В тот чудесный день, лежа в гамаке ногами к северу, я видел высияющийся вдалеке пик горы Отеману, утопающий в бесконечно меняющихся оттенках черного жемчуга, рождавшихся и умиравших с постепенно меркнущим светом. Немного раньше, пребывая в тени, когда мои ноги были обращены к югу, я видел, отводя взгляд за изгиб берега, домик под тростниковой крышей. Этот из-

гиб берега имел свое название: Пофай. А домик из тростника назывался «Пофай бар».

Все, хватит этого духовного дерьма!

Мудрость в том, чтобы познавать различие.

Вот это, черт возьми, верно.

Я вылез из гамака и направился к тростниковой хижине у моря.

— «Дьюар» со льдом.

Бармен-полинезиец, похоже, говорил по-французски, но плохо понимал английский. Больше там никого не было, кроме парочки проводивших медовый месяц молодоженов, которые потягивали через соломинки тропические напитки. Они тоже говорили по-французски. У бабы были приличные буфера.

— Этот сахар вас погубит, — сказал я им.

Они посмотрели на меня и зачирикали — неподходящие звуки для человеческих существ.

Я опрокинул «Дьюар», пододвинул стакан бармену и добавил улыбку.

— Полумерами тут не обойтись.

Он принес мне второй. Я поднял тост за море, небо и этого полинезийца.

— И за мою густую и мутную мочу.

Бармен ухмыльнулся в знак полного согласия: приятно видеть, как отрывается белый идиот-иностранец, швыряя *beaucoup de francs Pacifiques* в рабе.

Интересно, где та маленькая птичка, улетевшая в огромное синее небо?

Я снова подтолкнул пустой стакан и снова улыбнулся. Пошло: сладкий язычок пламени лизнул меня под кожей. Я представил, что маленькая птичка ждет меня на подоконнике в Нью-Йорке. И снова поднял стакан.

— За гибель богов!



За это она умерла. В расцвете чистоты и добролюбия была принесена в жертву. Как будто этой вот *mano destra*, держащей сейчас перо. За это она была взята: не за божественную поэзию звезд без луны, но за эти унылые, ни на что не годные каракули глупца на высокоблennых шкурах животных и смазанных жиром лоскутках. Подняв руку, он увидел, что это рука убийцы держит перо. Да, как справедливо говорили древние *trovatori*, смелый делает это мечом, трус же — словом любви. За это она умерла, а вместе с ней та часть его, которая, живя, возможно, смогла бы во плоти и крови, вдохе милости исполнить то единственное, то подлинное и великое, ради чего Бог дал человеку письмо.



Луи стоял, прислоняясь спиной к краю фарфоровой кухонной раковины. На нем были дамские трусики, черные, прозрачные, неудобные. Больше на нем не было ничего. Он пытался подтянуть их так, чтобы прикрыть член и яйца. Глядя вниз на все это, Луи заметил, что ногти на пальцах ног давно надо было подрезать.

— Ну а теперь сделай вот что, — сказал он. — Сиди там, где сидишь, и говори, какой хорошенъкий у меня мышонок. Говори, что такого хорошенъкого мышонка ты еще не видела. Можешь курить, можешь пить, но только говори то, что я сказал. Облизывай губки и говори, что хочешь съесть моего мышонка.

Луи вынул сигарету изо рта и стряхнул пепел в раковину за спиной.

— Сколько тебе? — спросил он.
— Девятнадцать, — сказала она.
— Думаешь, это странно или что?
Она неуверенно пожала плечами.
— Видела и не такое.
— Например?

Она снова пожала плечами.

— Один парень хотел, чтобы я разыгрывала мертвеца.

— Разыгрывала мертвую? В смысле изображала мертвую? Какого хрена? Зачем это надо? Если хочешь мертвую шлюху, просто убей ее. Тогда и платить не надо.

Его слова произвели неприятное впечатление на юную леди, сидевшую рядом, и она нервно вздохнула.

— Впрочем, мне наплевать на то, что ты считаешь странным, — сказал Луи. — Просто любопытно. Вот и все. Интересно, что люди считают странным, а что нет. Я любопытный.

— Любопытство сгубило кошку.

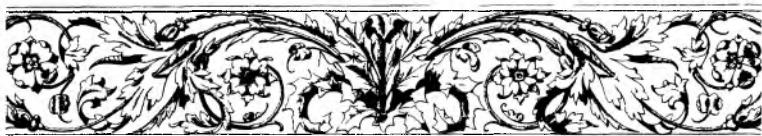
Ничего другого она не придумала.

Луи снова смахнул пепел.

— Может, поэтому и кошек не стало.

Он видел, как девушка беспокойно огляделась, словно только теперь заметила их отсутствие. Луи знал, она ничего не ищет, просто нервничает. Теперь он добился того, чего хотел: девчонка немного испугалась. Он прищурился и бросил окурок в раковину у себя за спиной.

— А теперь скажи, какой у меня хорошенъкий мышонок.



Он хорошо знал силу трех. Как от менестрелей Лангедока его увело в прекрасные поля провансальских трубадуров, так и от сосланных евреев той же местности увело в страну необычной красоты, тайной и герметической. Потому как земля Окситана была не только колыбелью чудных новых песен трубадуров, влажной от первой утренней росы на раскрывшихся лепестках розы ее сердца; она была еще и *primum scriptorium secretum* древнейшей мудрости того, что евреи называли каббалией. Еврей из Лангедока Исадор, человек большой святости, первым взялся за изучение этих древних тайных учений, которые прежде, на протяжении веков, передавались лишь приглушенным шепотом.

То, что стало несчастьем для изгнанников из песенного Лангедока, обернулось удачей для него — иначе он никогда бы не познакомился и не узнал встреченного в Венеции человека, который назывался чужим именем Исайя.

Из всех мистических тайн, в мир которых ввел его Исайя, более других завораживала тайна гематрии, раздела каббалы, имевшего дело со скрытыми нумерическими сокровищами и силами букв.

Подобно отзвуку самого имени Исайя тоже казался фигурой из Ветхого Завета. Его длинная, ключковатая борода давно пережила годы белизны и вступила в те годы, когда возраст придает желтоватый оттенок белизне волос, как делается и со слоновой костью, и с обычными костями. Он всегда, в жару и в непогоду, носил кипу и

черный плащ, которые, казалось, тоже переходили из века в век, пока не обрели достоинство старинных реликвий. Жил он бедно и скучно, получая малые деньги от немногих своих учеников и почитателей и мягко и незлобиво жалуясь на нехватку студентов.

— София — вот их настоящая мать, однако ж они отвратились от нее, так и не пожелав узнать, — говорил Исаия о своих соплеменниках. — Фараон, как сказано в книге Исаии, убил всех перворожденных евреев, но ложный бог нового мира, вульгарное торгашество, призовет их всех, когда бы они ни родились. И никакой заплыvший в камыши спеленатый Моисей не поднимется и не поведет их воссоединиться с Богом.

Он говорил на странной смеси языков: латинском, французско-латинском, *vernacolo*, то и дело вставляя греческие, еврейские или арабские словечки и заставляя слушателя либо домысливать их значение самому, либо искать уточнения и задавать вопрос. Временами стариk устремлял взгляд на большой темный рубин, вставленный в золотое кольцо на среднем пальце левой руки, и надолго умолкал, как будто раздумывая о загадке его переменчивых оттенков. Камень, казалось, не столько поглощал или отражал свет и тьму, сколько содержал их все в себе и из себя испускал. И действительно, в сиянии дня он часто оставался темен, а с наступлением ночи или при тусклом свете свечи становился лучистым и сверкающим. В один из таких вечеров, когда старец в очередной раз погрузился в созерцание рубина, его собеседник после долгого молчания спросил, почему он скрывает свое настоящее имя.

— Чтобы никто его не узнал, — ответил стариk и ничего больше не добавил.

Живя бедно в одном смысле — он занимал тесную комнатку над кожевенной мастерской в туличке за си-

нагогой, к которой не проявлял ни интереса, ни уважения,— Исаия жил богато в другом: книги занимали намного больше места, чем соломенный тюфяк в углу.

Хотя значительная часть этих фолиантов была на латыни и немало из них были знакомы гостю по названию, если не по тексту, попадались там и увесистые тома на греческом и, конечно, на иврите, но самыми красивыми и привлекательными были рукописи, выполненные изысканной арабской вязью на тончайшей коже еще не родившихся козлят.

— *L'arabo è l'ebreo nuovo*, — загадочно молвил старик.

Арабы — это новые евреи.

И все же многие тексты не отличались изысканностью. С некоторыми, по-видимому, обращались весьма бесцеремонно. И они несли следы рук, не принадлежащих писцам, переплеты у них тоже были грубые, хотя и прочные. Однако же именно эти манускрипты старик назвал самыми цennыми, потому что в них хранились знания и мудрость, о которых ведали лишь немногие. По утверждению старика, одна из этих книг была написана самим Исадором и известна только ее сменяющим один другого хранителям, которых до Исаии насчитывалось четверо, включая самого Исадора. Владельцам сокровища строго-настрого запрещалось переписывать книгу самим или отдавать ее в переписку другим. На сей счет имелся недвусмысленный запрет, предшествовавший тексту, а потому сам текст оставался до сей поры уникальным.

Были еще древнееврейские свитки и огромная иллюстрированная Библия на языках, на которых она и была написана. Библия содержала не только Ветхий Завет евреев, но и Новый Завет христиан.

Должно быть, молчаливое любопытство гостя проявилось на его лице, потому как старик, не дожидаясь вопро-

са, пробормотал, что фигура Иисуса интересна и для него. Имя это он произнес так, как произнес бы его сам Господь: *Иешуа*.

Иногда человек, называвший себя Исаией, взирал на свои книги, как на великое и тешащее душу сокровище, вверенное ему для сохранения и заботы, как жена, от свадьбы до могилы. Иногда поднимал палец и, тыча им в висок или грудь, добавлял со слабой улыбкой, что истинно великая библиотека с поддающимися исчислению хранилищами находится во дворцах памяти или души.

Однажды гость, словно подталкиваемый оккультной общностью, осторожно провел рукой по страницам, свиткам и рукописям, прочесть которые не мог. Старик не выразил неодобрения, и тем не менее посетитель почувствовал, что сам хозяин жилища никогда не позволит никаких прикосновений к себе, никаких объятий, будь то знаки благодарности, дружелюбия или уважения. Среди этих книг, составляющих лучшую часть жилища старого еврея, была одна, снабженная ремешком с пряжкой и замочком. Когда гость дотронулся до потемневшей от времени меди замка и толстой, жесткой кожи, Исаия просто и буднично произнес три загадочных слова на трех языках: «*Caveat u sirocco*».

Все чаще и чаще поэт искал у своих хозяев посольских поручений в Венецию. Все чаще и чаще во время этих миссий он искал возможность продлить пребывание там и задержаться с отъездом.

Лишь после нескольких визитов, в ходе которых о тайных учениях говорилось очень мало, старик потребовал поклясться, что гость не раскроет ни того, что узнает, ни источника узнанного. Нарушение клятвы грозило смертью, и, скрепляя договор, поэт прикоснулся губами к Библии, содержавшей книги, священные для обоих мужчин. Гость знал, что такая клятва самодостаточна для каждого из вступивших в договор. Для христианина

связь с евреем и общий поиск того, что рассматривалось церковью и государством как *ars hermetica magica*, означали анафему и смерть через повешение, если не на костре, и не имело никакого значения, что его вела чистая любовь к мудрости, что вся его жизнь, его сердце и душа принадлежали Богу и Иисусу. В случае чего еврею предстояло умереть первым, христианину — заnim.

— Через эту клятву, — сказал старик, — мы, возможно, оба спасемся от смерти и будем жить, чтобы умереть позже.

В предыдущие посещения поэт приносил листки со стихами, полагая поначалу, что Исаия может пожелать увидеть это свидетельство громадной работы души. Позже он стал приносить их со все возрастающей надеждой, что старик по крайней мере проявит к ним какой-то интерес. В день принесения страшной клятвы гость сам, по своей воле и желанию, развернул фолиант и передал листы со словами хозяину. Старик прочитал первый листок: голос у него был тихий, но звучный. Потом прочитал второй, тем же мягким и тихим, но звучным голосом, демонстрируя прекрасное чувство размера и ритма. На третий лист старик лишь взглянул, после чего передал назад гостю, не сказав ничего ни словом, ни выражением лица.

Никогда еще ни одно слово и ни один жест не поражали поэта так сильно, как это отсутствие того и другого. Только позднее он понял, что, пережив этот нарочитый знак невнимания, испытал не столько злость или недовольство, сколько стыд, коим был повергнут, как никаким другим словом или деянием, в унижение и смирение. Старик не выразил ничего: первые листы не вдохнули в него желание прочесть третий, он не назвал их ни хорошими, ни плохими, ни никудышными, ни отмеченными гениальностью. Но если старик не выразил ничего, то душа гостя сжалась от страха, неуверенности

и самоуничтожения. Таков был первый принятый им под клятвой урок: сила ничего. То было всего лишь вступление, в форме молчаливого удара ничего, пролог к долгой проповеди откровения, и далее раскрытия невысказанный природы Логоса.

В то утро, уходя из кельи старца, он задержался и посмотрел на того, кто держал приоткрытой тяжелую деревянную дверь. Возраст не сильно согнул его, и их взгляды встретились. Он спросил старика, зачем тот все это делает.

Хозяин комнаты тихонько притворил дверь и вернулся к скамье из того же, что и дверь, тяжелого дерева. Годы не согнули его, но отняли много сил. Старик медленно опустился, словно осторожничая, чтобы не повредить кости, и жестом поманил поэта к себе. Он говорил на венецианском диалекте, столь стойком в своей верности латыни, что понять его было бы нелегко без знания самого языческого из всех языков.

— В Писании сказано, что евреи избраны Богом. Взглянем на этот вопрос внимательнее. Избраны для чего? Чтобы понести наказание? Чтобы страдать в рабстве? Потому что, как было также сказано в Писании, первое племя мужчин и первое племя женщин были избранными и первыми, кто согрешил против Него. Мы знаем их под именами Адама и Евы. Возможно, племя Израилево в последующих поколениях было избрано, дабы страдать и учить: страдать за грех отца сильнее, чем все прочие, подпавшие под Его общее проклятие, и учить знанию, вкушенному ими. И возможно, что установленный приговором проклятия порядок соблюдался из века в век, от согрешившего отца согрешившему сыну, через последовательность бессчетных смертей. Если это так, если Он был избран, чтобы учить, то тогда пришло время, время откровения, когда роковой вкус знания будет, согласно Его решению, распространен

среди всех, кто жаждет этого знания, среди всех самых разных племен, включая тех, кого, как семя, сдуло с древа познания. Зачем это нужно — чтобы запретное знание, ставшее некогда причиной Его проклятия, дошло до людей благодаря Ему, проклявшему человека, — неизвестно. И ответ на этот вопрос не содержит уже распространяемое знание. Вот почему я изучаю слова всех верований и учений, даже в тех книгах, которые ваша церковь избрала для себя, руководствуясь корыстным и отвратительным интересом продления собственного мирского владычества. Если это не так, то остается тайна или ложь. Мне не больше, чем тебе, известно об избранных. Так что, отвечая на твой вопрос, зачем я это делаю, говорю — не знаю. — Стариk потер ладонями колени и, опустив голову, заговорил снова: — Спрашивая, зачем я делаю это, ты ведешь себя как человек, не ведающий о христианской добродетели милосердия. Как будто никогда прежде ты не был ни благодетелем, ни облагодетельствованным. Это...

Поэт попытался объяснить что-то, но едва успел произнести первое слово, обозначавшее его самого, как ему было указано — резко и бесцеремонно — помолчать.

— У меня складывается впечатление, — продолжал еврей, — что ты и сам воздух спрашиваешь, зачем он дает тебе дыхание.

Стариk перестал тереть колени и, выпрямив шею, застыл в молчании. Только тогда поэт заговорил, поначалу осторожно и сдержанно, потом свободно.

— Я не хотел показаться неблагодарным, задавая вопрос. Поверьте: благодарность моя велика. Но дело в том, что я и подумать не мог о том, чтобы человек, подобный мне, моей веры был допущен к вашей мудрости.

— Возможно, таких, как ты, много, тех из людей твоей веры, кого пригласили в царство мудрости. Возможно, их много. Но они, как ты, принесли клятву молча-

ния, нарушение которой грозит смертью. А может быть, *ты* и есть избранный. Может быть, твой удел, — медленно произнес старик, — страдать и служить.

Они немного помолчали, затем старик сказал:

— К тому же мало из того, о чем шла здесь речь, не было уже включено в язык вашей церкви.

— Я не знаю Аристотеля, — признался гость, — знаю только то, что было повторено и разъяснено Фомой Аквинским.

При упоминании Аристотеля еврей пожал плечами.

— Что касается твоего соотечественника Томмазо из Аквина, которого я знал в Париже, то он человек добродетельный и весьма ученый, но больше мудрости я обнаружил в скромной и плохо написанной книге вашего Грегорио.

Старик вздохнул и продолжил:

— У вас, несомненно, есть Птолемей, мудрость которого изложена во многих латинских трактатах. У вас есть Пифагор, пересказанный арабами и Оланом из Лилля. У вас есть Плотин в передаче Эвсебия.

— Я не знаю Плотина.

Так же устало, как садился, старик поднялся и перевел взгляд на три массивных фолианта, лежавших под стопкой других, и начал один за другим снимать верхние манускрипты. Поэт встал и принялся помогать ему. Наконец перед ними остались три нижних тома. Старик указал на них, не столько рукой, сколько бородой.

— Не возвращайся, пока не изучишь их хорошенко.

Гость перенес тяжеленные книги на скамью, и мужчины снова сели по обе стороны от них.

— Вы очень добры, вверяя мне такое сокровище.

Еврей пригладил бороду.

— Нет. Все эти книги несут нечто вроде проклятия, и горе тому, кто украдет их или причинит им, вольно или невольно, какой-либо вред.

Поэт промолчал, но поднялся, забрал свою сумку и книги, намереваясь уходить.

— Как мне расплатиться с вами? Вам известно, что средства мои скучны.

Старик едва заметно склонил голову в знак согласия и как будто улыбнулся. Гость, ни разу не видевший улыбки на его лице, даже подумал, что, возможно, ошибся и то, что он принял за выражение чувств, было всего лишь игрой света.

— Когда дело доходит до оплаты, мы все становимся людьми с ограниченными средствами.

Похоже, вопрос об оплате не столько обрадовал его, сколько опечалил. Потом они оба еще постояли, не улыбаясь, как будто ждали чего-то.

— Истинная цена, цена истины, будет в свое время счтена и названа, но то, что ты заплатишь, не пойдет на мой счет.

Он опять взялся за тяжелую деревянную дверь.

— Что касается меня, то я возьму золотом, но не серебром, и столько, сколько ты сможешь дать.

Принеся страшную клятву и захватив несущие проклятие книги, гость вышел из полумрака на открытую площадь, куда звало его небо.

Такого неба он еще не знал, ибо оно было небом смерти и рокового проклятия, и в спину ему смотрела шестиконечная звезда: звезда из двух треугольников, звезда двух троиц.



Загул длился недолго. Чтобы попасть в Америку из Бора-Бора, надо сначала добраться до большого аэропорта на Таити. Несколько дней я слонялся по острову, пьяниствуя и играя. Не помню название тамошнего главного города — и черт с ним! — но я был там. Прекрасный остров Таити. Гребаная помойка для туристов.

— Я не говорить английский, только французский и таитянский, приятель, — сказал мне представитель прекрасного народа, обитающего на этом чудесном острове: здоровая, наглая, ухмыляющаяся и вихляющая задом обезьяна, стоявшая у двери под неоновой вывеской.

Такой ответ я получил на вопрос, есть ли в этом задрипанном заведении столы для блек-джека.

— Да пошел ты... — Я отправил его куда подальше, и он тут же развелся, выхватил большой нож и выбросил лезвие. — А мне показалось, что ты не говорить английский, приятель, — в тон ему заметил я и презрительно рассмеялся.

Нож он достал для того, чтобы произвести впечатление на своих таитянских дружков, таких же здоровых, наглых, ухмыляющихся и вихляющих задницами, а не испугать меня. Мой смех, как и вообще мое поведение, явно пришелся ему не по вкусу. Такое вот прекрасное гребаное Таити.

Полет до Нью-Йорка занимал кучу времени, а я не мог пить, потому что не мог курить, а без сигареты я не могу пить. Я так накачался, что уже подумывал заказать чартер до дома, но цена зашкаливала за сто пятьде-

сят штук, и я, даже пребывая в ступоре, сообразил, что таких денег у меня нет. В конце концов пришлось разложить кресло, довести себя до полной отключки с помощью валиума и прочего, позволить милой леди из «Эр Франс» укрыть меня пледом, подсунуть под голову большую мягкую подушку и погрузиться в бездну забытья.

Дома я не поехал в клинику, а начал сразу же со снижения привычной дозы белого вина и героина и уже через несколько дней вышел на нулевой уровень и по одному, и по другому.

Меня не было долго. Во время моего отсутствия делами занималась ассистентка, Мишель. В отношении поступающей корреспонденции мы с ней установили твердое правило: игнорировать все, что не несло денег и не приходило от чистого и любящего сердца. Такой подход намного упрощал бизнес и жизнь вообще.

Мишель сразу увидела, что я болен, но ничего не сказала, потому что также увидела, что я выздоравливаю. Она лишь заметила, как я загорел, и спросила, где я побывал.

— На пляжах, — ответил я. — Много пляжей, много гамаков, много ящериц.

Потом я спросил, поступали ли какие-то деньги. Она отчиталась по нескольким незначительным чекам, сообщила, что Расс, мой агент, и Дэнни, мой агент по правам за границей, получили какое-то предложение из Германии на триста тысяч марок. Мишель давно поняла, что такого рода сделки неперспективны, потому что денег я не увижу еще, может быть, года три: проценты пойдут агенту, а остальное — моему американскому издателю в счет погашения выплаченного аванса.

— И еще у вас опоздания по срокам, — добавила она. Опоздания? Куда?

— Нет, — хмыкнула я. — Никаких опозданий нет. Спешить некуда.



На Сицилию его привело то, за что в свое время были прокляты гностики: желание знать.

Свет с башни порта Трапани исчез у него за спиной во мраке ночи. Корабль сделал поворот, беря курс на древний остров, все еще носящий старое арабское название Газират Малтимах, и он вдруг тоже почувствовал себя проклятым, а появившийся в бледном свете луны остров предстал островом проклятых или мертвых, а может, и того хуже.



По возвращении в Нью-Йорк — было ли то делом случая или волей судьбы — мне не пришлось разыскивать старого друга Левшу, потому что он сам уже искал меня.

Левша хорошо знал о моей одержимости Данте. Во времена совместного беспробудного пьянства он нередко сидел, молча кивая и изображая интерес, пока я разглагольствовал о том, что почитал тогда самой прекрасной, блаженной эманацией человеческой души: для него важны лишь он сам и выпивка, а все остальное только часть ничего не значащего мира где-то там, за пределами все-поглощающего напитка. И все же Левша помнил ту пьяную болтовню о Данте.

Он спросил, не хочу ли я разбогатеть.

— О, такое желание может появиться.

Тогда он велел мне сделать полдюжины фотографий для паспорта и ждать его в клубе в следующий вторник.

Раньше я бы спросил, в каком клубе. Раньше их было много: два на Салливан-стрит, два — на Томпсон, два — на Макдугал, один — на Бедфорд и еще один — на Даунинг. Теперь остался всего один.

Наступил вторник. Я принес фотографии. Он назначил встречу на следующий вторник.

Так вот и вышло, что мы оказались у Джо Блэка с парнем по имени Луи.

За последние годы я несколько раз видел этого Луи. Он из тех ребят, при взгляде на которых пропадает желание задавать вопросы. Тебе не хочется знать, чем они занимаются, потому что это и так ясно.

— Настоящая? — спросил я, указывая на портрет, висевший на стене над тем местом, где сидел Джо Блэк.

— Рембрандт. Автопортрет.

— Тебе нравится картина, Ник?

Джо Блэк кивнул на портрет, не оборачиваясь к нему.

— Я скажу, Джо. Для меня это кусок дерьяма. Только не пойми неправильно. Я бы не прочь иметь такую картину. Иметь ровно столько времени, чтобы успеть продать. Но если уж честно, то нет, мне она не нравится.

— Думаю, мы поладим, — хмыкнул Луи.

— А как насчет «Божественной комедии»? Она-то ведь тебе нравится, Ник?

Я работал над собственным переводом «Комедии» более двенадцати лет. За эти годы мне удалось немного разобраться в Данте как в человеке. Я уже не воспринимал его как бесспорного и непогрешимого гения, в которого превратили поэта века почтенного изучения, и понимал, почему в памяти современников он оставался далеко не ангелом. Более того, я обнаружил недостаток в самой «Комедии». То был недостаток формы. Данте выбрал такую ритмическую и метровую клетку, в которой просто не могло существовать никакое величественное творение. Из-за этого ему часто приходилось прибегать к необходимой, но неестественной аффекции, приносить душу, красоту и силу в жертву. Поддерживать структуру произведения за счет таких уступок мог лишь человек равнодушный и холодный, ставивший и ценивший искусность выше искусства. Прекрасная вольная птица, рожденная парить на свободе, не может жить в клетке. Это и случилось с прекрасной вольной птицей его поэмы.

Да и вся эта продолжавшаяся эпопея с Беатриче постепенно становилась банальной, смешной, нудной тягомотиной. Похоже, такого же взгляда придерживался и Боттичелли: в его набросках «Рая» фигура Беатриче

становится все более и более чудовищной, разрастаясь до неприличных размеров, и сам Данте кажется рядом с ней карликом.

С одной стороны, я соглашался с Джорджем Штайнером, называвшим «Комедию» самым значительным трудом тысячелетия. С другой — иногда ловил себя на том, что соглашаюсь с Гёте, разнесшим ее как путаное, неудачное сочинение. Впрочем, эти же слова, на мой взгляд, вполне подходили для характеристики второй части «Фауста» самого Гёте. Но став для меня менее величественной как поэтическое произведение, «Комедия» предстала как величественный монумент недостижимости и тщетности самых возвышенных и благородных творческих устремлений человека.

— Да, — ответил я. — Когда-то я ее любил. Теперь она мне нравится.

— Что изменилось?

— Когда смотришь на что-то достаточно долго, начинаешь замечать, что не так: в бабе, в поэме, в собственной жизни. Ты смотришь, смотришь и — каким бы прекрасным ни было то, на что ты смотришь, — начинаешь видеть недостатки.

— Хотел бы посмотреть настоящую вещь?

— Что ты имеешь в виду? Какую «настоящую вещь»?

— Настоящую вещь. Оригинальную рукопись.

— Да, конечно, хотел бы. Но ее нет. Оригинальная рукопись не существует. Возможно, кто-то отправил ее в камин, чтобы погреться, примерно шестьсот двадцать лет назад. Нет даже клочка бумаги, на котором было бы что-то написанное рукой Данте. Ничего.

— Если бы рукопись существовала, сколько бы, по-твоему, она могла стоить?

— Она была бы бесценна. Ну, может быть, тысячу таких вот дерзких картин. — Я кивнул в сторону Ремб-

рандта. — То есть эта вещь стала бы величайшим литературным сокровищем всех времен. Установить на нее цену — это то же самое, как если бы Ватикан попытался определить стоимость «Пьеты» Микеланджело. Нет, такое невозможно. Немыслимо. Ее никто не смог бы купить.

— Сделаем, чтобы смогли.

Так сказал Джо Блэк.

Салон «магнифика класс» римского рейса был заполнен на треть. Первое, что сделал Луи, — это пересел от меня на другой ряд.

Мы все в одиночестве рождаемся и в одиночестве умираем, но Луи, судя по всему, нравилось заполнять одиночеством и то, что между этими двумя пунктами.

Вместе с билетами Джо Блэк вручил каждому из нас по два фальшивых паспорта. Выписанные на вымышленные имена, они предназначались только для использования при пересечении границ: один — туда, другой — обратно. Фамилии в паспортах соответствовали фамилиям на билетах. От нас требовалось лишь вложить нужный билет в нужный паспорт и запомнить вымышленное имя. Прочие идентификационные документы, как и кредитные карточки, остались дома. Кроме того, каждый получил по десять тысяч лир и указание расплачиваться только наличными.

— Ты когда-нибудь летал на этих консервных банках в Палермо? — спросил Луи, когда мы прибыли в Рим.

— Да.

Ничего хорошего от того полета в памяти не осталось.

— Я выбрал «Гольфстрим», — сказал Луи.

Первое, что он сделал, усевшись в кресло, — это закурил сигарету.

Пилот попросил его подождать до взлета.

— Заткнись и следи за дорогой, — ответил Луи.

Я тоже закурил, и мой попутчик одобрительно кивнул.

Проехать по улицам Палермо было проблемой. Наверное, какой-то религиозный праздник. Церковники двигались туда-сюда, не обращая внимания на машины, сопровождаемые процессиями из наигрывающих что-то унылое музыкантов — трубы, барабаны, цимбалы — и печального вида прихожан, большинство которых составляли женщины.

— Они еще хуже, чем евреи, эти чертовы сицилийцы с их чертовыми праздниками.

Мозаичное стекло и крашеные блондинки.

Мы сидели у бассейна «Вилла Игеа», окруженной садами и деревьями, с видом на бухту. Солнце припекало, небо было голубое, вдали медленно плыли белые пушистые облачка.

— Живем, парень, — сказал Луи.

К нам кто-то подошел. На меня упала тень. Незнакомец положил на землю рядом с Луи холщовую сумку.

— Завтра в восемь утра, шофер будет за воротами, — сообщил он, подавая моему напарнику пачку банкнот по пятьсот тысяч, перехваченную резинкой. — Это за шофера.

На следующее утро мы выписались в восемь. У каждого была только дорожная сумка, да еще Луи повесил на плечо свою холщовую. Мы вышли за ворота. Машинка уже ждала. Шофер открыл заднюю дверцу, и мы с Луи забрались в салон.

На подъезде к холмам извилистая, узкая дорога стала еще уже. Мы въехали в небольшой городишко под названием Пьяна дельи Альбанези. Мне уже доводилось здесь бывать. Одно из тех местечек — как Кастельвеккио ди Пулья, откуда родом мой дедушка и его братья, — где у макаронников похожие на мое имена.

Машина подкатила к узким воротам между двумя зданиями из старого, крошащегося камня.

Ворота были открыты. Луи вошел, я последовал за ним. Проход между домами вел к большому огороженному саду, такому древнему, неухоженному и заросшему, что он уже начал наступление на старинное строение, фасад которого был почти полностью покрыт густыми листьями расползшегося плюща. В деревянном кресле возле лестницы спал старик с открытым ртом и сложенными на коленях руками. Под руками лежало ружье. Рядом со стариком спал пес, похоже ровесник хозяина, едва открывший один глаз при нашем приближении.

Дверь в дом была открыта, вторая, сетчатая, закрыта. Луи отступил в сторону. Я негромко постучал. На встречу нам вышел преклонных лет священник. Увидев нас, он явно обрадовался. Мы обменялись рукопожатиями. Священник проводил нас в гостиную, где в уютном мягким кресле спал еще один старик. Из соседней комнаты доносились едва слышные звуки. Обычные, ничего не значащие, неспешные звуки кухни.

Священник подвел нас к спящему старцу и откашлялся. Старик не пошевелился.

— Дон Лекко, — тихо позвал священник.

Старец продолжал спать.

— Дон Лекко, — уже громче произнес священник.

Спящий шевельнулся. Переменил позу. Я протянул ему руку, но он лишь безвольно кивнул, приглашая нас садиться на стоящий рядом диван. Потом он подержался за лоб и с заметным усилием и с помощью священника поднялся на ноги. На мгновение старик застыл, затем глубоко и удовлетворенно вздохнул, как будто сам совершенный акт восстановил его в статусе бога.

Медленно передвигаясь по комнате, он приблизился к громадному древнему сейфу «конфорти», стоявшему у стены слева. Когда-то сейф был темно-коричневым,

но краска во многих местах отшелушилась, явив темную от времени сталь. Старик положил руку на замок, несколько раз повернул диск, набирая нужную комбинацию, и потянул обеими руками за тяжелый запор. В дверце глухо щелкнуло, и она со скрипом отворилась.

Хозяин дома медленно вернулся к креслу и сделал приглашающий жест.

Священник открыл сейф пошире, вынул из камеры резную старинную шкатулку и поставил ее на кофейный столик передо мной и Луи. Рядом со шкатулкой он положил два письма, одно на итальянском, другое на английском, из библиотеки Палермо, содержащие доверенность, в соответствии с которой предъявитель этих писем получал манускрипт на период до шести месяцев с целью изучения его за границей «нашими американскими коллегами».

Я надел очки для чтения и снял со шкатулки крышку.

Возможно ли это? Несколько секунд я смотрел на первую страницу, потом осторожно перелистал рукопись. Строчка за строчкой слова покрывали все предоставленное им пространство, исторгнутые из глубин души поэта, затем переделанные, уменьшенные, обрезанные в угоду форме ритма и метра. Много лет назад, занимаясь переводом поэмы, я пришел к выводу о необходимости отказаться от формы *terza rima*. Прежде всего, невозможно было переложить итальянские слова на английский без еще большей декоративной аффектации, чем того требовала избранная форма уже от оригинала. Кроме того, я понял, что форма неверна.

Точка.

И вот теперь передо мной лежало затушеванное перечеркиваниями и исправлениями свидетельство того, чем могла бы быть не загнанная в клетку формы «Комедия», вольная птица *vers libre*, которая могла бы отправить ко всем чертям тесный коридор формальной поэзии.

Возможно ли, чтобы эти страницы не были настоящими? Но если они настоящие, то это чудо.

Луи попросил чашку чая.

Священник довольно кивнул и отправился на кухню. Вернувшись, он сообщил, что чай будет готов через минуту.

Луи повернулся ко мне.

— Ну как, по-твоему, то, что надо? — спросил он.

— По-моему, то, что надо, — ответил я.

Луи улыбнулся священнику. Я закрыл шкатулку. Из кухни послышались медленные шаги, и в комнату вошла старушка с серебряным подносом, на котором стояли маленький серебряный чайник, две хрупкие на вид чашечки, два блюдечка с маленькими серебряными ложечками и крохотная серебряная сахарница с торчащей из нее крохотной серебряной ложечкой. Пока я отодвигал шкатулку, освобождая место для подноса, Луи неспешно открыл холщовую сумку. Священник с выжидательным интересом наблюдал за ним. В его глазах не было жадности. Все, чего он смиренно ждал, — это спокойного заказа собственной жизни.

Старуха поставила поднос на столик и улыбнулась, как бы радуясь возможности услужить гостю. Тем временем Луи опустил руку в сумку, достал большой черный пистолет с навинченным черным глушителем и выстрелил старушке в живот.

Потом он выстрелил в священника, в глазах которого не было ужаса, а только печаль.

Затем, едва повернув запястье, застрелил сидевшего в кресле старика дона Лекко.

Все это, как мне показалось, заняло не более двух секунд.

Луи вынул из сумки второй пистолет и поднялся.

— Положи ящик в сумку и вычисти сейф, — сказал он.

Выгребая из сейфа то немногое, что там оставалось, я слышал, как Луи еще по разу выстрелил в каждого. Потом он выглянул в окно. Старик по-прежнему дремал в кресле, пес лежал у его ног.

— Пошли.

Подойдя к спящему охраннику и собаке, Луи выстрелил им в головы одновременно из обоих пистолетов.

Мы быстро прошли через сад, быстро прошли между домами и сели в ожидавшую нас машину.

Я перебрал взятое из сейфа. Кодекс Катулла, сверток документов с признаниями каких-то давно умерших пап. Пачка денег примерно на двадцать миллионов лир. Золотое кольцо с бриллиантом. Конверты с личными бумагами. Кольцо Луи надел на палец. Деньги мы поделили.

На окраине Монреала мы въехали в невзрачный, полуразвалившийся гараж, расположенный за одинокой бензоколонкой. В тени покрытой пятнами ржавчины крыши из рифленого железа сидел, покачиваясь в кресле-качалке, толстяк. Мы вышли из машины. Луи кивнул толстяку, толстяк кивнул Луи. В гараже стояла проржавевшая насквозь металлическая бочка, заполненная наполовину золой и мусором. Луи собрал валявшиеся тут и там грязные газетные листы, скомкал бумагу и бросил в бочку, потом полил все бензином и зажег спичку. Сначала сгорели наши два паспорта: их страницы и обложки свернулись и рассыпались. Я швырнул в огонь конверты с личными бумагами.

Луи обернулся к толстяку, пожал плечами и повернулся рукой ладонью вверх. Толстяк жестом указал на лежавший у входа в гараж большой кусок брезента. Луи позвал нашего шофера. Они вошли вместе, и, когда шофер ступил на брезент, Луи застрелил его.

Он протер оба пистолета машинным маслом, вытер тряпкой и оставил завернутыми на верстаке. Толстяк

уже стоял у входа в гараж. Через несколько секунд рядом с седаном остановилось такси.

Растрапанный таксист кивнул толстяку, и толстяк кивнул таксисту. Последний положил все три наши сумки в багажник.

На борту самолета Луи глубоко затянулся и медленно выдохнул дым. Он обвел взглядом салон с мягким ковром, маленькими столиками с цветочными вазами, веселыми занавесочками на иллюминаторах и ножками стюардессы, принесшей нам пепельницы.

— Живем, парень.



Три года прошли в трудах, три года после видения трех зверей, три года, чтобы найти совершенные слова — вдохнуть их от звезд — для совершенных душ и найти для слов совершенный ритм и совершенный метр.

Три года прошли в трудах, прежде чем он нашел их: слова, не несущие печати трудов, льющиеся естественно, как легкий, нежный дождь, каждая *prismina* каждой капли которого светится радугой значений под мрачнющим небом, но читатель не видит и не чувствует этого, пока последний вздох последнего слова не утихает в многозначной, предвещающей грозу тишине.

Nel mezzo del cammin di vita nostra.

Темные леса — *selva oscura* — существовали в действительности. Не так давно он снова побывал там в тщетной попытке вернуть тот дух, который, похоже, иссяк в нем. Леса эти находились к западу от старой дороги из Флоренции в Пизу и, да, как только пришло ему в голову, к Западу, в стране мертвых.

В юности он сам рассказывал о встрече с тремя зверями в этом лесу. Иногда в этих рассказах он убивал одного из зверей, пользуясь мечом и силой, и его воинственный рык звучал так пугающе, что слушатели в страхе разбегались по кустам. Конечно, то было вранье: страх обуял бы и его самого. Но из вранья пришли три Зверя поэмы.

Несколько месяцев ушло только на то, чтобы перейти к *vita nostra* от *vita questa*, а к последней от первоначальной *vita mia*, имевшим те же размер и звучание. Переход к *vita nostra* востребовало небо. Оно поддерживало его и придавало сил. От *моей* жизни к *этой* жизни и далее к *нашей* жизни — в этом была идея Единства.

Душа, звери. Ему в память запало вычитанное в старом переводе платоновского «Тимея» объяснение наличия у человека двух душ: бессмертной, обитающей в голове, и смертной, «подверженной ужасным и неодолимым порывам» и «привязанной, как зверь неукротимый, в животе». И обе наши души, смертная и бессмертная, всего лишь есть жизнь души всего: *nostra vita*.

Третий зверь был порождением не умысла, а видения и дополнял триаду, троицу, триединство, *sacerdotum mysterium* трех.

Зверь неукротимый в животе: *'l veltro*. Этим словом пользовались иногда в древности для описания существа, подобного волку, но он слышал в его звучании свирепое упрямство и малодушную жажду свободы беспокойного зверя души в животе: *vengo, voglio, volo, trovo* — все эти и многие другие глаголы тянулись к нему вместе с силой ветра, *il vento*.

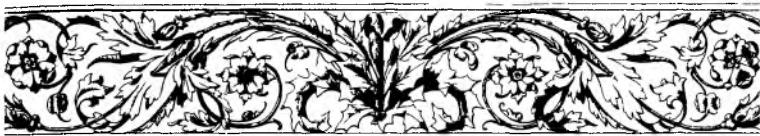
Осуществляя свой грандиозный замысел, в конце каждой из терцин триптиха он обращался к звездам, *le stelle*, унося читателей туда, где их ждало *mysterium tremendum*, выражение невыразимого.

Лишь много лет спустя, работая над последней из трех кантиков поэмы — «Раем» и видя, как небо ночи, небо трудов и дней становится небом мрака и уныния, он познал явленную звездам тайну, одну из мириада их тайн. Она была открыта ему для того, чтобы он понял ее в своем тщеславии, своей гордыне и ложном богоуподоблении. Понял, постиг и принял.

Non muovere — не шевелись.

Эта упавшая с неба тайна прошла через него, как меч: легко, с цепенящим холодом смерти.

Нельзя описать рай. Он здесь, на звездном небе, уже отчеканенный в нем. Можно читать о нем, но нельзя выразить его иным путем, как только через коленопреклоненное молчание.



Мы были над Атлантикой, почти дома, когда я задал Луи вопрос:

— Зачем ты убил собаку?

Он посмотрел на меня.

— Зачем я убил собаку? — повторил он.

— Да, зачем?

— Потому что собаки лают.

Через несколько минут Луи снова заговорил:

— Чертов священник получает пулю в сердце. Милая старушка, которая принесла нам чай. Старикан, дремавший в кресле. Этот гребаный дон Лекко. В Палермо наверняка начнется война. А ты спрашиваешь меня о какой-то хреновой псине. Не хватало только, чтобы он поднял вой, когда мы убирались после того побоища. Так что все просто.

Прошло еще несколько минут.

— Тебе нравятся собаки?

— Да, — сказал я.

— Мне тоже. Я имею в виду — настоящие собаки, вроде той, которую мы пристрелили. Мне не нравятся чертобы мутанты, которых полно в Нью-Йорке. Вряд ли настоящим псам по вкусу, когда их держат в квартирах. Это неестественно. Собаки хотят бегать на воле. По-моему, те, кто держит больших собак в городах, просто тупые уроды. Они убивают собственных собак, но делают это медленно и подло. Я бы держал собаку, если бы жил за городом. Но я бы держал настоящую собаку.

— Что ты имеешь в виду, когда говоришь «мы пристрелили»? — спросил я. — Я ее не убивал, стрелял ты.

— Ты был соучастником. Ты соучастник в убийстве первой степени.

Еще несколько минут мы молчали.

— Знаешь, что самое отвратительное? — заговорил Луи. — Те сучки на улицах в Нью-Йорке, которые подставляют газеты под задницы своим собачонкам. Меня от них воротит. Идет по улице такая красотка, ведет псину на поводке, а в руке у нее пластиковый мешочек с собачьим дерзмом. Черт, ну и мерзость!

Лицо Луи исказила гримаса отвращения. Это было первое проявление эмоций, которое я у него заметил. И я вполне разделял его эмоции.

— Да, эти сучки просто дерзмо собачье.

— И дело-то все в том, что их сразу не поймешь. Баба может быть настоящей дрянью, но ты об этом и не догадываешься, пока не увидишь ее на улице с мешочком собачьего дерзма в руке. Вот та стюардесса из «Гольфстрима». Она может ласкать тебя, а ты и не знаешь, что та же самая рука собирала собачье дерзмо с тротуара.

— Мне хотелось трахнуть ее ноги, — сказал я. — Так что ее руки здесь ни при чем.

— Ты хотел трахнуть ее ноги?

— Да. Мне нравятся ее ноги. То есть... я хочу сказать, что ноги должны быть классные. У той бабы ноги были классные.

— Ты просто извращенец. Но я еще хуже.

— А что бы ты с ней сделал?

— Я бы ее связал и обоссал. Наверное, все дело в том, что мне хотелось тогда отлить. Когда я отлил, мне этого уже не хотелось. Я думал о том, чтобы связать ее, приставить к ее голове пистолет и заставить отсосать.

— Ты это часто делаешь?

Луи слегка приподнял руку и покрутил запястье.

— Та, с ногами... Ноги в колготках или без?

— О нет. Конечно, в колготках.

— Понимаю.

— Тебе это кажется странным?

— В нашем долбаном мире хватает странностей. Но я вот что тебе скажу. Любой, кто вступает в физический контакт с бабой, собирающей собачье дермо, и знает об этом, определенно извращенец. Парень, который трахает мертвую, ни в какое сравнение не идет с тем, который дотрагивается до сучки с собачьим дермом.

— Ты трахал мертвых?

— Думал об этом. Мы же говорим о мертвых шлюхах, да? Ну так вот, я об этом думал. Прикинь сам, они же тихие, спокойные. Никакого трепа, ничего. Однажды я сгонял всухую перед мертвой шлюхой. Боже, она была хороша. Как гребаный ангел, если не считать дырки в голове. Это я ее пришил. И потом я несколько раз забирал белье.

— Что ты с ним делаешь?

— А ты бы что с ним делал? Смотрю на него, когда дрочу. И вот что я тебе скажу: я не собираюсь напяливать белье с дохлой шлюхи. Кроме того, я же не делаю это каждый день: беру тряпки только у настоящих куколок, а оно мне не по размеру. Да и нечасто меня посылают убирать хорошенъких шлюх.

Он отвернулся и грустно посмотрел в иллюминатор на белые облака.



Огорчало то, что он не был обучен языкам Писания и великих авторов Древней Эллады. Он с глубоким почтением относился к книгам Августина, но ведь именно литература языческих греков так восхищала и завораживала Августина, и она-то оставалась недоступной ему. Даже произношение букв греческого языка смущало его косный язык, и все, что давалось, сводилось к нескольким латинизированным словам в Библии Джерома.

А ведь как точно и ясно выразился сам Джером: «Священное Писание подобно прекрасному телу, скрытому грязным платьем. Псалмы благозвучны, как песни Пиндара и Горация. Творения Соломона обладают *gravitas*. Книга Иова совершенна. Все они написаны гекзаметром и пентаметром на иврите, языке оригинала. Но мы читаем их в прозе! Представьте, сколько потерял бы Гомер в прозе!»

Эти слова мудрого Джерома не выходили у него из головы. Первую и величайшую из эпических поэм он знал только по неуклюжему изложению, известному как «*Ilias Latina*», недостойной и вопиюще нелепой отрыжке оригинального и подлинного сочинения.

Тех языков, которые заключали древнюю мудрость и самые дерзкие и волнующие открытия современности и через которые эти открытия и мудрость были явлены миру — иврит и арабский, — он не знал тоже. До него доходило только то, что передавали ученые, имевшие познания в древних языках, только то, что они сочли нужным донести до него на *sbagliazio* латыни и *lingua vol-*

gare, ни один из которых не обладал точностью лексикона, достойной этой мудрости и знаний. Так как многие термины и фразы, ключевые в понимании этой мудрости и знаний, не имели латинского или простонародного эквивалента, то ученые мужи, к которым ему приходилось обращаться, изобретали для него такие эквиваленты в силу присущей им щедрости или — когда это было невозможно, когда скрытая божественная сила и значение какой-нибудь еврейской фразы или цифры таились только в них и могли быть выражены только через них — искали хотя бы приближения к соответствию.

Мог ли человек, настолько обделенный эрудицией, как он, нищий у врат Логоса, Слова, во всех его смыслах, стать Творцом в классическом и почитаемом смысле? Был ли он достоин поставленной им самим великой задачи?

Выбора не было. Нужно писать на том языке, на котором говорит его собственная душа. Об этом шла речь в его сочинении «*De Vulgari Eloquentia*».

Пусть у него не было греческого, языка Гомера и Завета, язычников и ранних христиан, но у него была латынь, язык язычников и христиан, Цицерона, Овидия, Вергилия, Августина и других мастеров. От Цицерона он узнал законы риторики, развитые и усовершенствованные Квинтилианом и заново открытые в свете христианства Августином.

Красноречие, говорил Туллий, должно отражать тембр природы предмета, о котором идет речь. Для изложения повседневных дел, повествования о естественных событиях, пересказа басни подходят простые, но хорошо подобранные слова. Вознося хвалу или предъявляя обвинение, предупреждая, следует говорить прямо и откровенно, вплетая в простоту речи такие риторические фигуры, как анафора и изокола. Чтобы возбудить людские страсти и вызвать извечные силы, нужно ис-

пользовать слова и стиль величайшего достоинства и мощи.

Отвергая Туллиеву классификацию и разделение предметов речи — для христианина каждый образ и каждый аспект жизни священен и неотрытен от вопроса вечного спасения, — Августин соглашался с его законами стиля, направляя их на достижение христианских целей: простейшая — учить; промежуточная — восхвалять и поносить; наивысшая — убеждать или спасать души.

Однако же, соглашаясь с предложенным Туллием разделением стилей — низкий, средний, высокий, — почему Августин не отметил, что такое разделение формирует самое святое из всех знамений, триаду, предсказавшее и отразившее в языческой преднауке саму Троицу, как Вергилий предвидел приход Христа в своих «Эклогах»?

Как инкарнация свела и соединила человека и Бога, так и он поставил своей задачей создать поэму, равной которой еще не было, соединив низкое и возвышенное, *humilis et sublimis*, работая со всем спектром стилей. Он поклялся под небом безграничности, что покажет человеку и Богу самые величественные высоты и самые низкие глубины, *peraltissima humilitas* и сумму небес, оттемброванных с такой точностью, что три закона риторики будут утврдены и что результатом станет совершенное во всех смыслах творение — *Dominus, Filius, Spiritus Sanctus* — Отец, Сын и Святой Дух вплоть до священных колоколов тройного ритма *terza rima*.

В этом творении будет все, соединенное в троице слов со звуком молитвы, *divinae mentis aura*, дыханием божественного разума. Это будет, как сказал о Священном Писании Августин, *res incesso humilis, successu excelsa et velata mysteriis*: вначале низкое, а затем возвышенное и окутанное тайной.

Как невозможно вызвать по своему желанию небо безграничности, так невозможно призвать и озарение: оно подобно мимолетному, быстротечному, почти неуловимому контакту — *ictu*, — дыханию вдохновения, после которого неизбежно возвращение к *humilitas* жизни и в итоге к *humus*, пыли и праху, земле, общему началу и концу *humanitas*. Только через магическую силу единства, повторяющихся и заключенных в призывае *divinae mentis aura*, надеялся он достичь этих контактов, этих *ictus*.

Он знал, что под определенными небесами Бог ниспосыпает ему свое дыхание. Знал, что под определенными небесами Бог дышит в нем и исходит из него вместе с дыханием. И он молил, чтобы это дыхание не растратилось впустую.

Он молил дать ему сил, физических и духовных, молил о том, чтобы дыхание Божье исходило через него. Он молил об этом, стоя на коленях на каменном полу в церкви Медиоланума, где Амвросий крестил Августину; молил, стоя на коленях на каменном полу в храме Ватикана в Риме; молил, стоя на коленях на каменном полу церкви Святого Марка в Венеции; он опускался на колени и молился во многих церквях, в грязи и на камнях; посреди открытых мест и в тени деревьев, в роще, где ему было видение трех зверей. *Dammi la forza, dammi il potere, dammi la Sua spira, faremi un vaso della Sua volontà*.

То были великие годы, славные годы, годы молитв, силы и поэзии. Море было в нем, и ветер, поднимавший бурю или приносивший покой, был тем самым божественным дыханием, и яростные волны и тихое обольстительное журчание слов и ритма той бури и того покоя являлись не по указу законов риторики, но по сверхъестественному согласию с ними. Даже в мучениях борь-

бы, когда не шли ни слова, ни краски их, сила оставалась с ним.

Потом, постепенно, все развалилось.

С углублением в христианство пришло более глубокое понимание молитвы. Она была, как ему теперь казалось, таинственным союзом *humilis et sublimis* в своей чистейшей, сильнейшей и чудеснейшей эманации, когда человек непосредственно обращался к Богу. Если языческие риторики считали негожим применение возвышенного стиля к вещам низким, земным, а низкого стиля к вещам высоким, духовным, то такие тонкости теряли всякий смысл перед чудовищным святотатством говорить витиеватыми словами с Богом. Молиться должно как можно проще, без ухищрений и непосредственно от души, отвергая любые риторические тонкости. Но и даже в этом случае, если душа человека просит Господа о собственном благополучии, достатке, приращении благ или мирском продвижении и если все это нужно лишь само по себе и не предназначается целям служения Богу и ближнему, то молящийся тем самым совершает еще большее святотатство и заслуживает проклятия. Потому как единственная молитва, достойная называться таковой, есть молитва о служении воле Божьей и силам праведности, молитва о даровании тебе того, что поможет этому служению, и молитва благодарения за дарованную тебе милость нести это священное служение.

Многие полагали, что допустимо и даже богоугодно молиться о благе для других. Не видя в этом ничего дурного, он видел в такой молитве большую глупость, потому что не знал никого, кто был бы спасен от смерти, утраты бессмертной души или виселицы через молитву от его имени или за него, возносимую другим. То, что смерть настигала даже невиннейших младенцев, представлялось ему достаточным эмпирическим доказательством непоколебимой воли Господа, которому можно и должно

молиться лишь во имя служения и который не приемлет просьб даже чистейших, невиннейших и честнейших о благополучии, будь то единственная еще не рожденная душа или все человечество. Молитва, считал он, автономна и самоосуществима.

Сама по себе искренняя, прочувствованная и ставшая привычной молитва дает силы и пополняет их.

Сама по себе искренняя, прочувствованная и ставшая привычной молитва о служении Богу, о желании стать сосудом Его воли и дыхания формирует из нас такой со-суд, как безостановочно работающий гончарный круг.

В это он уверовал давно и столь же давно понял, что такая вера привлекает к нему пристальный взгляд церкви, видевшей в нем подобных еретиков и преследовавшей их как таковых. Он, однако же, не чувствовал в себе ни вины, ни стыда, ни следа ереси. Сказать по правде, большей ересью казалась отвратительная и общепринятая концепция — принятая, похоже, даже самой Римской церковью, — согласно которой молитва ничем не отличалась от дешевой металлической монеты, употребляемой для покупки Божьей милости.

И однажды во время молитвы, когда чудовищный отзвук этой веры донес до него и потряс его, все развалилось.

Сердце замерло на мгновение, словно для того, чтобы сделать вдох. И за последним биением и последним вдохом вдруг разверзлась необъятная, зияющая пустота.

Он молился себе: молился не Богу, существовавшему без него, молился не Богу, жившему в нем самом, но молился Богу, которым был он сам. Открывшаяся внезапно ужасная истина — так было всегда — расколола, разделила его.

Это случилось под мозаикой Бога Пантократора. Впервые небо безумия рухнуло на него, и то было началом конца.



Джо Блэк, похоже, был неприятно удивлен.

— *Аутентификация?* Что ты имеешь в виду? Какая еще аутентификация? По-моему, она древняя.

Я представил, как таскаюсь с этой штукой, показывая в качестве подтверждения один-единственный документ: свидетельство со словами «по-моему, она древняя». Подпись, имя и звание: «Джо Блэк, Pezzo Grosso».

— По-моему, тоже, — сказал я. — И на мой взгляд, она *настоящая*. Но этого недостаточно. Нам нужна бумажка. Высококлассная бумажка. Чем выше, тем лучше.

— А, черт! — простонал Луи. — Что же получается? Я совершаю девять грабаных смертных грехов, летаю в грабаных самолетах, где и закурить нельзя, а потом оказывается, что эта штука, может, и не настоящая? Вот что я вам скажу: мне осточертело все это дермо.

— Не беспокойся, Луи, — сказал я. — Об остальном позабочусь я сам.

Джо Блэк посмотрел на Левшу.

— Если делать, то делать как надо. Ники знает, как надо. Потому он здесь.

— Видите ли, — пояснил я, — нам нужно по крайней мере доказать, что рукопись из того времени, когда писал Данте.

— И как ты это сделаешь? — спросил Джо Блэк.

— Мы отвезем ее в Аризонский университет для углеродного анализа, а потом съездим в одно место в Иллинойсе, где находится самая уважаемая в мире лаборатория технического анализа. Но сначала мне придется

вернуться в Италию. Необходимы датированные документы, написанные там и тогда, где и когда писал Данте. Мы сможем сравнить материал и чернила. Мне нужно получить образцы водяных знаков на бумаге того времени. Понимаете, у нас нет почерка для сравнения, поэтому придется основываться на косвенных доказательствах, которых лучше собрать как можно больше.

— Как ты получишь датированные документы? — спросил Джо Блэк.

— Украду, — ответил я.



Внезапная ужасная мысль: она умерла за это. Или еще хуже: Бог, отвечая на дьявольскую гордыню, на его своенравное стремление описать рай, дал ему вожделенное вдохновение, предав смерти ее, через него, за него, — жестокое доказательство того, что нет никакого вдохновения для того, кто желает сотворить или объяснить то, что может и уже сотворил и объяснил только Он сам. В тот давний день, перешедший в ночь безграничности, — благословенно редкий и достаточный для жизни любого человека, — он возжелал не только читать звезды той ночи, но и писать их.

Ее смерть не принесла ему ничего, кроме его собственной жалкой, мучительной смерти еще при жизни.



Считалось, что именно в Вероне под покровительством своего патрона делла Скала Данте завершил две первые кантики поэмы, «Ад» и «Чистилище», первую, вероятно, в конце 1313-го, а скорее в 1314-м; вторую — в последние месяцы 1315-го.

Остаток жизни Данте провел в Равенне, где жил с 1318-го под крылом Гвидо Новелло да Полента. Судя по всему, там же он закончил «Рай».

Я путешествовал под собственным именем. Со мной путешествовали, спрятанные под нижней панелью дешевого дорожного чемоданчика из зеленого винила, несколько страниц рукописи, а в бумажнике лежали идентификационные карточки, полученные мной от библиотеки Ватикана пару лет назад, когда я проводил там кое-какие исследования. Эти карточки открывали доступ в Апостольскую библиотеку Ватикана и в секретный архив и свидетельствовали о том доверии, которое оказывает мне сам Ватикан. Они служили внушающими уважение верительными грамотами и производили глубокое впечатление на директоров библиотек, особенно на директоров итальянских библиотек.

Сначала я отправился в Государственный архив Вероны. Я хорошо оделся, не забыв синюю рубашку. Сказав, что изучаю детали некоторых политических дел начала четырнадцатого века, я выразил желание ознакомиться с официальными документами, поступившими в архив со двора Кангранде делла Скала.

Директор библиотеки тоже оказался человеком хорошо одетым. Мне это понравилось. Архивисты и библиотекари — хранители того, что осталось от культуры. Эти люди, мужчины и женщины, заслуживают уважения, но редко его удостаиваются. Приятно было видеть, что в данном случае человек вполне отдает себе отчет в собственном значении и пользуется уважением, пусть даже только у себя самого.

Мне принесли три папки. Документы не были ни переплетены, ни прошиты, так что припасенная бритва не понадобилась и осталась в кармане. Я искал лишь те бумаги, на которых стояли печать и дата, и остановил выбор на трех: от 1313-го, 1314-го и 1315-го. Убедившись, что никто не смотрит, я медленно расстегнул пуговицы и засунул листы под рубашку.

Потом вышел на залитую солнечным светом виа Франческине. Вот и все.

Затем я отправился в Государственный архив Равенны.

Та же синяя рубашка, та же история, только теперь меня интересовали документы, оформленные Гвидо Новелло да Полента.

Бритва не понадобилась и здесь; из принесенных ассистенткой директора документов я выбрал три, с печатями и датами: один от 1316-го, второй от 1318-го и третий от 1321-го. Изучая последний, я наткнулся на одно письмо, датированное также 1321 годом, но написанное не на пергаменте, а на бумаге, и прихватил его с собой.

Потом вышел на залитую солнечным светом виа Гвачиманни. Вот и все.

Дальше мой путь вел на юг, через зеленые холмы, к небольшому городку Фабриано на реке Джано, где с конца тринадцатого века производили лучшую в Италии бумагу.

Просматривая рукопись, я обратил внимание, что текст на нескольких бумажных страницах — ближе к концу «Рая» — написан, похоже, другой рукой и почерк на бумаге явно отличается от почерка на пергаменте.

Это была не только загадка, но и проблема. С одной стороны, ни один мошенник никогда не стал бы делать ничего такого. С другой — требовалось какое-то объяснение. Неясные, расплывчатые водяные знаки на бумажном документе, обнаруженному мной в Равенне, были очень похожи на водяные знаки на тех загадочных страницах рукописи.

В музее бумаги я познакомился с человеком, бывшим наследником и хранителем огромных знаний и исключительных по своему характеру исследований ученого Зонги, чья работа по истории бумаги и бумагопроизводства в Италии все еще остается непревзойденной.

— Точные причины и обстоятельства появления водяных знаков, — сказал он мне, — никогда уже не станут известны. Можно предположить, что некоторые, отдельные, мастера, занятые изготовлением бумаги, начали на каком-то раннем этапе применять собственные индивидуальные сушильные доски, и то ли преднамеренно, то ли случайно вышло так, что одна из этих досок оставляла на бумаге характерный идентификационный знак. Вероятно, бумага этих мастеров отличалась высоким качеством, побуждая торговцев размещать заказы на бумагу именно с данной отметкой. А затем уже все те, кто имел основания гордиться своей продукцией, стали помечать ее собственными клеймом.

Поворот в бумажном производстве произошел тогда, когда на смену шерсти как материалу для изготовления нижней одежды пришел лен. Известно, что в котлы бросали не только животные отходы и пеньку, но и изношенное белье. Все это были основные ингредиенты. Лен позволял получать бумагу несравненно более высо-

кого качества, и аристократы постепенно перешли к использованию в повседневных делах именно ее, а не пергамента. К тому времени производители бумаги уже начинали на работу женщин, *filigamiste*, обязанность которых состояла в нанесении водяных знаков.

Я передал ему несколько страниц манускрипта. Он положил первую на подсвеченный экран и внимательно осмотрел через лупу. Потом сделал то же самое поочередно со всеми остальными. Кивнул, достал с полки толстенный том, раскрыл его и нашел то, что искал.

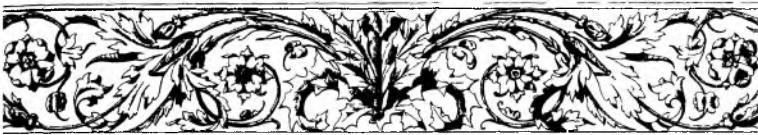
— Эти листы являются частью небольшого заказа, размещенного только один раз. — Он наклонился к книге и прочитал: — *Una risma, tipo di miglioramento, ai 34 bolognini.*

Старик закрыл том.

— Данная *filigramatica* изображает орла, являвшегося гербом Гвидо Новелло да Полента. Заказ был принят в Фабриано в первый день мая тысяча триста двадцать первого года и отправлен в Равенну третьего дня следующего месяца.

Я передал ему бумажный документ, украденный из Государственного архива Равенны.

— Из того же заказа, — определил он.



Как камни, блиставшие в море подобно драгоценностям, превращаются, будучи собранными и разложенными для просушки, в заурядные и непривлекательные предметы, достойные лишь того, чтобы остаться на берегу или быть выброшенными обратно в море, так и слова этой поэмы, написанные и звучавшие удивительно ночью, тускнели и становились ничем в свете утра, когда высыхали чернила. Так случалось все чаще, и все реже наступившее утро было утром дня неба безграничности, или дня неба знаков, или дня неба обетов, или дня неба беспокойства мертвых, голоса которых слышались из-под земли и в шуме ветра, или дня неба зова.

Дни знаков встряхивали его, пробуждали силы независимо от того, знаменовали ли они приход и уход времен года или указывали загадочно на то, что хорошо было известно древним, но потом оказалось утерянным и утраченным. Да, он любил эти дни. Пусть ему было неприятно время года, наступление которого предвещали знаки, — унылого малярийного лета или злых, холодных дождей, столь частых в области, куда забросила его судьба, — он любил эти знаки сами по себе: цветение полей и свежий румянец небес последней строфы весны, дымные лесные запахи созревшего осеннего винограда. Наблюдая другие, таинственные знаки — оттенки луны, полет определенных птиц, трансформации и удивительное многообразие облаков и зверей, — он чувствовал порой, что его малое понимание лишь добавляет им таинственности. Евреи и сарацины научили его многому из

того, что было утрачено, восстановлено и держалось теперь подальше от чужих, но и сами они восстановили и знали немногое.

Дни неба обетов были днями упорства. В эти дни он брал в руку перо, как берет серп изнуренный трудами, уставший от жизни поденщик, у которого нет ничего, кроме тягостного долга и истерпых в кровь рук.

Дни, когда оживали духи мертвых, тоже встряхивали его, как и дни знаков, потому что в нем тоже были мертвцы его собственной жизни и умирающие части его самого, и они вместе с неспокойными мертвцами, чьи *movimenti* он ощущал в земле, как и в сумрачном небе, увлекали его в темноту, извлекавшую из него странные *sentori*, слова и предложения, темные, но прекрасные и ужасающие.

Когда он просыпался под небом зова, это было то же, что проснуться утром под крик петуха — крик, напоминавший ему о его истинном призвании. И тогда он брался за перо не так, как берется за серп изнуренный трудами, уставший от жизни поденщик, а как жнец чудес, поднявшийся и дивящийся на бескрайнее колосящееся поле, не похожее ни на одно из тех, которые ему приходилось жать, поле, урожай которого принадлежит только ему, и никому другому, как предписанный его сану сосуд власти и славы.

Из других четырех небес — неба трудов и дней, неба греха, неба уныния и того неба, которое человек видит в конце и лишь единожды, — первое было по большей части насыщено жизнями всех, кто жил: небо за небом бездущности, проходящие и забытые, как следующие одно за другим дыхания, не наполненные ни осознанием, ни благодарностью, а лишь существованием и работой, отлученные от великого дара и чуда каждого вдоха каждого мига каждого дня каждого времени года этой

единственной, данной человеку, жизни, суть которой только в одном, нынешнем, вот этом самом дыхании, а ценность и значимость которой в ощущении таинства причастия и, следовательно, в глубине этого вдоха. Поэтому что вдох этот есть единственный дар, наша единственная жизнь и нет обещания другого — жизнь всего лишь вдох, говорит нам Иов, и, как сказано в Псалмах, мы все здесь только на миг краткий. Таким образом, человек, встретивший и проводивший много лун и времен года и проживший, казалось бы, сотню лет, возможно, так и не сделал по-настоящему глотка жизни, а ребенок, сошедший в могилу после нескольких лет, прожил на самом деле дольше и полнее, вдохнув всего однажды под небом безграничности: дольше и полнее того, кто, пусть даже он царь, по сути, лишь зерно, брошенное на землю и смытое дождем.

Потому как времени нет.

Tempus fugit, как говорится, но на самом деле крылато дыхание, и оно летит. Время — глупая выдумка нашего тщеславия и самообмана, вонючая, желтушная *pisciata di cane*, которой наше запаршивевшее племя пытается пометить *infinitas*. Зыбкие пески тщеславия и самообмана, зыбкие *mictus неведения* — именно эти *anxiatum* стали управлять пульсом и укради дыхание.

Бог дал нам бесконечность, а мы отвернулись от нее, обратились к календарю, хорологиуму, клепсидре, клепсаммии, а теперь к чудовищным шумным механизмам из покачивающихся колесиков — *grandi orologi*, отодвинувшим на задний план самого человека, *grandi orologi*, чьи неуклюжие *rotismi* вселяли в отодвинутых на задний план большее благование и больший трепет, чем совершенные чередования вечных небесных сфер, не замечаемых отодвинутыми на задний план, которые в постоянно нарастающей спешке и с постоянно возрастающей

безжизненностью двигались, подобно *automata*, в процессии к идиотскому погребальному костру *tecnologia* и безбожным *computus*.

Это убавление вечности, этот ритм продвижения нашей процессии к идиотскому погребальному костру никаким образом не обозначали и не отражали истинного временного хода природы. Путешествие из Лукки во Флоренцию занимало один день под Богоданным хорологиумом солнца и луны. Однако расчеты живущих в разных городах глупцов так отличались друг от друга, что путешественник, выехавший из Лукки двадцатого марта и прибывший во Флоренцию в течение одного дня, мог оказаться в конечном пункте двадцать первого марта предыдущего года. Отправившись далее в Пизу, он приезжал в этот город, затратив на дорогу восемь дней, двадцать восьмого марта следующего года.

Так за восемь обычных дней человек успевал побывать и в уже минувшем, и в еще не наступившем году. Кроме того, за свое восьмидневное путешествие по трем годам он узнавал, что и сами дни считаются по-разному: в одном городе первый час дня отмечался колокольным звоном на рассвете, в какой-нибудь деревушке тот же звон возвещал приход дня в полдень. А в городке подальше новый день наступал в полночь. Так что за один обычный день наш путник мог услышать начала трех разных дней двух разных лет. К тому же канонические часы то совпадали, то отклонялись от часов мирских, а посему то, что для одного означало полдень, для другого — утро. А по причине того, что канонические призывы к молитве, установленные с интервалом в три часа, не соблюдались с должной строгостью и гидравлические механизмы и другие затеи хронологии не отличались надежностью, то *hora quod officium* и *hora quod tempus* соперничали в неточности не только с природным временем, но и между собой.

Времени не было. И после тысяч лет такой путаницы с календарем и часами отсутствовала даже иллюзия времени, в которую можно было бы поверить. Каждый час, отмечаемый нами с такой тщательностью, был часом нашей смерти.

И так как мы утратили дыхание бесконечности и безвременности, данное Богом, то и Его дыхание стало жестче, превратившись, как сказано в Библии, в бурю: «*inspiratione spiritus furoris*».

Он, тот, кто почувствовал эту перемену в ветре жизни, в своей жизни воспринимал столь презрительное отношение к единственному дару, выброшенному подобно какой-то требухе, как величайший грех, осквернение и святотатство, плевок в лицо Господу. И таково было общее состояние человека: пребывать в величайшем грехе, не испытывая от него ни мирского трепета, ни удовольствия, ассоциирующихся обычно с грехами помельче, которые предшествуют проклятию. Таково было состояние *i vigliacchi*, равнодушных.

Платье его собственной жизни и души было обожжено до некоторой степени, прогорело насквозь — а фактически сгорело совсем — тем идиотским погребальным костром и его погоней за *comitutus*, которые некогда почитались им как священные. Он почитал священным то, любовь к чему была корнем всех зол. Он пал жертвой нумерологии Августина. Пал жертвой мысли, поисков Бога в разуме, где Его никогда не было.

Цифры принесли нам арабы, взявшие их у индусов, те самые арабы, которые также взяли у индусов математику нуля и бесконечности. *Zero*, *zefiro*, *cifr*, как называют это арабы: сведение великого ничто, необъятной пустоты к определенному цифровому знаку, который можно прибавлять и вычитать на ученической линейке. Сведение *infinitas* к арифметическому приспособлению, величине, получающейся при делении любого числа на

ноль. Такова математика идиотского погребального костра, иллюзия, такая же, как и само время. Ни арабы, ни Фибоначчи из Пизы, великий итальянский апостол этой неверной арифметики, не оценили по достоинству то, как индусы измеряли время. Кальпа, один космический день, рассчитанный на 4,32 миллиарда лет. Вот единственно верный хорологиум *oriuolo del soffio della vita*, который послужил бы человеку: хорологиум, отмечающий время не по часам, а только по кальпе.

Между отброшенными за ненадобностью вздохом человека и суровым дыханием Бога лежит грех, у которого тоже есть свое небо. Это небо нависало над всем, о чем он не говорил. Вело ли то небо греха к греху и его самого или только было свидетелем его грехов, он не знал, поскольку больше не признавался никому в своих грехах, но ловил себя на том, что иногда поглядывает вверх, словно раскаиваясь молча. Со временем небо греха стало для него и небом-исповедником. При каждом новом появлении оно выглядело все более гротескным, облака — все более тяжелыми, словно налитыми его стыдом, его мучительным осознанием собственного позора и собственной вины.

Небо уныния могло быть светлым и радостным, но не для него. Именно под небом уныния когтистая тварь хватала его, и хотя, объятый страхом, он не смел вслух произносить имя безумия, овладевавшее им после таких нападений, он знал — дело не только в яде дурного настроения.

Из нескольких небес безграничности, дарованных ему, лишь одно, первое, явленное в тот благословенный день детства на лужайке, не ушло с переходом дня в ночь; какое-то небо управляло днем, какое-то ночью, но никакое днем и ночью. Небо обета могло незаметно переплестись с небом греха или отступить перед ним. Небо

знаков, небо неспокойных мертвцевов и небо безграничности могли приходить вместе. Небо трудов и дней, небо *i vigliacchi*, могло растягиваться на день и ночь, и день, и ночь беспокойное, как стежки старой костяной иглы. Небо уныния нависало порой надолго, превращая ночь в вечность. И как небо уныния могло приходить в сиянии света, так и другие небеса в чем-то бывали схожи друг с другом. Небо безграничности или небо зова могло прийти вместе с тьмой в полдень или с грозой в полночь. Тайны звезд, до которых он старался добраться, оставались неисчислимы, и независимо от того, по какому небу они были разбросаны, хотя их ритм и размер, похоже, мог меняться, их поэзия оставалась безошибочной, их чудо — совершенным.

Девять небес, все, кроме одного, лежали в душах людей, каждый из которых жил в данный момент под небом, идентичным по виду, но отличным по силе от того, под которым существовал сосед, любимый или чужак. Только девятое небо оставалось неизвестным для всех, но при этом всегда было и всегда будет известно всем, каждому в свой черед, со временем, когда единое небо Эдема превратилось в девять небес, и до той поры, когда будет открыта Книга седьмой печати.

Да, человек в своей глупости исчислял семь дней недели, назвав каждый из шести именем языческого бога и седьмой в честь Господа, приказавшего не иметь других богов, кроме него.

Но истинное число дней равно истинному числу небес, и число это девять. Задолго до открытия этой истины он, под первым из них, во мраке ночи, познал совершенство этого числа. Девять — число утроенной Троицы. Потом, уже много позже, старый еврей в Венеции сказал, что три — это число ничто, потому что каждое число есть число ничто.

Именно к такому открытию пришел старый еврей, посвятивший всю свою жизнь гематрии и каббале. Этот еврей мог бесконечно рассказывать о тайнах и силах триады: что это первое из совершенных чисел; хозяйка геометрии, потому что треугольник — главная из фигур; что триада также имеет три лица, три декана и три повелителя тройственостей, что это число парок, фурий, граций и гор; что гром Юпитера, высшего божества римлян, имеет формы; что это число троекратно великому богу тайн Гермесу Трисмегисту; что, как рассказывали древние раввины, с Меча Смерти стекали три капли желчи, первая из которых попадала в рот умирающему, вторая вызывала в нем мертвеннную бледность, а третья возвращала в прах; что еврейская буква *yod* в треугольнике представляет несказанное, тайное Имя, тогда как треугольник представляет и Бога, и христианскую Троицу, и что сами христиане часто изображают голову Бога Отца с нимбом из трех исходящих лучей света; что *yod* — десятая буква еврейского алфавита и что десять — еще одно совершенное число, называвшееся у Пифагора божеством и вечностью, а в его священной геометрии бывшее величайшим из чисел, «пантелеей», — также можно изобразить треугольником.

Чтобы продемонстрировать этот треугольник непонятливому поэту, старик достал из ящичка стило и дощечку. Дощечка состояла из двух потемневших от времени деревянных половинок, скрепленных кожаными полосками. Бронзовое стило, давно потускневшее, но еще блестевшее в тех местах, где его сжимали пальцы старика, было простым и крепким, но в то же время не лишенным изящества. Положив дощечку на колени, еврей открыл ее, и поэт увидел, что внутренняя поверхность обеих изготовленных из сосны частей покрыта воском цвета мха. Темное дерево и темно-зеленый, как лишайник, воск напомнили густые тени густого леса: ипа

selva oscura. Эффект усиливался тенью от темного, затянутого патиной стиля, опустившейся на дощечку в свете свечи.



— В греческом, это язык Септуагинты и Нового Завета, число десять выражено буквой *delta*.

Он тремя движениями руки изобразил аттический треугольник.



— В своем родительном падеже имя Зевса, верховного бога греков, меняется с Ζεύς на Διός, что близко по звучанию к Deus древних римлян, французов и португальцев, к Dios испанцев, к Dio итальянцев. Ученые-грамматисты говорят, что эти имена Бога не имеют отношения к Зевсу. Но я им не верю, потому как подозреваю, что они мало знают о *delta* и ее формах. Полагаю, что эти имена имеют некое отношение к Зевсу-владыке. Родительный падеж: форма обладания. Здесь, в обозначении Всего, чем есть Бог, имя Всемогущего принимает форму дельты, которая есть треугольник десяти.

Числа, числа, числа, — продолжал он, словно размышляя вслух. — Каково число, получаемое при умножении треугольника десяти на бесконечность, если оно обладает силой дельты, силой Всего?

Его голос слегка изменился, когда он посмотрел на поэта.

— То, что известно как гематрия, восходит по крайней мере к временам ассирийского царя Саргона Второго, построившего стену из камней размером в локоть, —

таково было число его имени — для укрепления своей крепости Дур-Шаррукин. Глазами гематрии смотрел на мир и Израиль эпохи Второго Храма. Но лишь в век, называемый *tannaim*, гематрия и раввинская литература стали одним целым. В то же самое время, в годы после вашего Нового Завета, христиане создали собственную гематрию, дав ей имя. — Он начертал слово и произнес его вслух: — *Isopsephia*. Древнегреческое слово, обозначающее равенство голосов, которое приобретало новый смысл. Смысл равновесия цифровых значений букв. Пример этого рода можно обнаружить в Откровении Иоанна, где имя Зверя представлено суммой значений трех греческих букв. — Он нарисовал их — χ, ξ, Φ — и, перечислив, пояснил: — Первая из которых есть с'hi и означает шесть сотен, вторая есть хi и означает шестьдесят, а третья есть digamma и имеет значение шести.

Эта третья буква, древняя дигамма, была названа так потому, что ее вид напоминает вид одной гаммы, — он нарисовал Г, — наложенной на другую. Двойная гамма исчезла из греческого алфавита до появления греческого списка Откровения, как и представляемый ею звук, схожий с «двойным и» алфавита Британии, тоже вышел из употребления. Подобное случилось и с буквой, известной в Италии как *doppio vu*, а во Франции с буквой *double ve*, которые стали лишь призраками себя прежних.

Греческая дигамма была двойником еврейской *yod*, дающей звук *waw*, — стило снова опустилось на зеленый воск: *w*, — значение которого тоже шесть. После потери дигаммы в греческом алфавите нет буквы, имеющей силу шести.

Интересно, что в Откровении ваш еврей, говоривший на греческом не лучше, чем на иврите, произносит в последней главе такие слова: «Я альфа и омега». Такое впе-

чатление, что это неправдоподобное греческое высказывание — эхо провозглашения Бога, до того дважды встречавшееся в Откровении, служит целью *третьего* провозглашения, — это указание на начало и конец с помощью первой и последней букв греческого алфавита должно было восприниматься как сигнал того, что эта странная книга относится к области чисел. Последняя глава этой книги носит порядковый номер двадцать два — именно столько букв в еврейском алфавите, — что можно воспринять как еще один сигнал. Но уже к тому, что эта странная книга относится не только к области исопсефии, но и к области гематрии. А стих, в котором ваш еврей провозглашает себя началом и концом, есть тринадцатый стих последней главы. Тринадцать, число великой силы — совершенная триада и высшая божественность и вечность священной десятки декады, также образующей треугольник.

И глава, в которой дано имя Зевса — по сумме греческих букв с'hi, xi и потерянной дигаммы, — тоже имеет порядковый номер тринадцать.

Продолжая говорить, стариk медленно поворачивал тупой конец стиля над тонким язычком огня. Он сравнил троекратное провозглашение *alpha* и *omega* с *trishagion*, услышанным Исаией, — «Свят, Свят, Свят», — ставшим частью христианской литургии. Он напомнил, что христиане трижды осеняют себя треугольным знаком креста. Когда плоский конец стиля нагрелся, стариk разгладил поверхность дощечки, стерев все предыдущие знаки и одновременно сообщив, что имя первого человека, Адама, тоже состоит из трех букв.

После этого он начертал три значка — **¶¶¶** — и пояснил:

— Adamo. È il nome del nostro padre.

Адам — это имя нашего отца.

Далее еврей рассказал, что три буквы имени являются буквами имен Адама — aleph, Давида — daleth и Мессии — тет и что душа первого перешла в душу второго, а затем третьего, что тет — это тринадцатая буква еврейского алфавита, что тринадцать опять же — это совершенная триада и высшая божественность и вечность декады, также образующей треугольник, что в герметической каббале третий из сефиротов содержит корни древа Всего и что эта сефира и есть сфера матери Всего сущего.

И оно, это слово — λάντων, — является последним словом странной книги Откровения. Потому что омега означает не только конец, но и «великое «О»», противопоставляемое не столько alpha, сколько omicron, маленькому «о»: это тоже омега. О, Magnus, великий круг, включающий в себя все и не имеющий конца.

— А тот, кого вы называете самым ложным из имен и чье истинное имя Yeshua, — старик начертал — יְשֻׁעָה, — тот, кого вы почитаете, не обращаясь к нему по его истинному имени — его sermo in monte, как выразил это ваш святой Августин, — он и есть еще большая тайна трех, чем извергнутая γνῶμοιούσια. — Поэт насторожился, распознав звучание и значение латинских gnome и logos, первое из которых, идентичное lingua volgare, означало афоризм, а второе имело несколько презрительный оттенок и означало что-то вроде небылицы. Но старик не остановился и не дал гостю времени на обдумывание. — Которую ваш Августин в своей «De Sermone» назвал высшим и совершенным образцом христианской жизни.

Последовавшее дальше объяснение совсем запутало поэта. Старик говорил о латинском gnome, о латинском gnosco, о латинском gnomo, этом роковом указателе солнечных часов, отравленной стреле в сердце всех его размышлений о лживости времени, отравленной стреле в сердце всех глупых человеческих попыток навязать

свой несведущий разум безвременной бесконечности. Сводя эту троицу воедино — гно, знать, — еврей сделал вывод о тщетности самих усилий к постижению истины.

— Она, «De Sermone», представляет собой расчетливое сочинение из частей: вступления, изложения *via vitae aeternae* и рассуждения.

Первая из них посвящена десяти блаженствам и основывается на древнегреческой и еврейской поэзии. И снова наша десятка, высшая божественность и вечность декады, также образующая треугольник. Вторая часть сама состоит из трех частей: толкование Торы, культовые предписания и сентенция. Третья часть складывается из трех проповедей, на протяжении которых еврей, называемый Иешуа, утверждает себя как учитель Торы.

И вот тот, которого вы называете ложным именем, чье настоящее имя Иешуа, тот, кого вы почитаете, не обращаясь к нему по истинному имени, он, как считается, сделался пастырем в тридцать лет, учил в течение трех лет и умер в возрасте тридцати трех лет, претерпев трехчасовые муки и пронзенный тремя пиками, умер через три часа, на третьем часу после полудня, когда тьма окутала небо.

В ваших Евангелиях есть три разные версии его последних слов на кресте. Те, кого вы называете Маттео и Марко, вкладывают в уста вашего еврея первые слова двадцать второго псалма, но мешая при этом иврит и арамейский: «Боже мой, Боже мой! для чего Ты меня оставил?»

Такого рода аллюзия есть риторический прием, используемый раввинами и называющийся *gomez*. Ваш Маттео вместо слов «Боже мой» употребляет термин Или́, как и в псалме. Ваш Марко выбирает Элои́, более классический библейский термин, или, возможно, арамейскую форму, Элои́. Оба термина производные от Эл, самого древнего имени Всемогущего.

Стило по табличке:

ל

— Это 'ēl обозначает Всевышний, и именно 'ēl придает теофорический элемент названию народа Израиля, дарованное Иакову в Книге Бытия: Yiśrā'ēl.

Через некогда выразительные латинские указательные местоимения, ilium, ille, ilia, это 'ēl эхом отзываеться в языках Европы: il и la в итальянском, el и la в испанском, le и la во французском.

В близком ивриту арабском наше древнее Эл стало их Ал, а Ал превратилось в Аллах, как Эл превратилось в Эли и Элои.

Стило по табличке:

آل

— Все в Эл, все в Ал: наша lamed, их lam, — продолжал старик, указывая стило на нарисованную lamed и переводя его на одну lam, потом на другую, в середине слова Аллах.

Lamed — буква величия, возвышающаяся над другими и занимающая положение в центре алфавита. Она имеет цифровое значение тридцати и, понимаемая как конфигурация элементов *carh*, со значением двадцать, и *vau*, со значением шесть, имеет гематрию двадцати шести. Идентичную гематрии Тетраграмматона — *yod*, *heth*, *vau*, *heth*, — который представляет непроизнесенное имя Бога. Таким образом, мы имеем дело с удвоением, свертыванием, сокрытием и засекречиванием великого числа тридцать, совершенной триады и высшей божественности и вечности декады, также образующей треугольник. И как тридцать есть совершенная триада

да и высшая божественность и вечность декады, также образующей треугольник, так и тридцать, цифровое значение *lamed*, есть совершенная триада, умноженная на высшую божественность и вечность декады, тоже образующей треугольник.

Lam тоже буква величия, и у арабов она обладает цифровым значением тридцати, как *lambda* у греков, *lamda* в языке ваших Евангелий. И в первых строфах Корана она встречается тринацать раз.

Все эти священные имена, Эли, Элои и Аллах, рождены сходным образом из трех букв — *aleph-lamed-yod* в иврите; *alif-lam-ha* в арабском, — и в сердцевине каждого из этих слов лежит буква мириада троиц.

Как говорит *hadeeth* Абу-Хурайрах, у Аллаха девяносто девять имен: три умноженное на тридцать три. Он, этот Абу-Хурайрах, жил в одно время с вашим евреем, который, как вы полагаете, был распят на кресте в возрасте тридцати трех лет, призвав на последнем издыхании, как пишут ваши Маттео и Марко того, чье имя Эли или Элои, Бога мириада троиц.

Здесь старик остановился, уставился в большие, темные глаза поэта и улыбнулся, как улыбается своей жертве вор. Вором он и был, вором, укравшим невинность.

— Скажи мне первые слова Библии.

Поэт уставился в большие, темные глаза старика и улыбнулся, как улыбаются жулику, обман которого раскрылся. Первые слова Библии известны всем, каждому ученику и каждому набожному, пусть и неграмотному крестьянину: «В начале сотворил Бог небо и землю». Краеугольный камень всего рассказа о Творце. Он произнес эти слова на своем родном языке: «*In principio Dio creò il cielo e la terra*». Затем, как бы в подтверждение, повторил их на латыни: «*In principio creavit Deus caelum et terram*».

Еврей расплылся в улыбке.

— Ничего другого я и не ожидал. Даже среди тех, кто способен прочесть слова иврита так, как они были написаны, большинство упорно не замечают или не хотят произносить то, что видят в первых словах Книги Бытия.

Поэт уже не улыбался, а стариk развеселился еще больше.

— Видишь ли, в иврите существительное мужского рода во множественном числе отличается от существительного в единственном числе окончанием -im, буквами yod и mem soffit. В первой строчке Книги Бытия не говорится о том, что Элои сотворил небо и землю. В ней ясно утверждается, что небо и землю сотворили Элоим: не бог, а боги.

Он вывел слово «Элоим».

אלֹהִים

Потом подчеркнул yod и mem soffit, служившие окончанием множественного числа.

אלֹהִים

И повторил:

— Не бог, но боги.

Затем из груды фолиантов стариk извлек толстенный том Библии, написанной, по его словам, несколько веков назад в Тивериаде, на западном берегу Галилейского моря. Там, в Тивериаде, рассказал он, с незапамятных времен жили, работали и изучали древние писания величайшие хранители священной письменной традиции, massora. На протяжении многих поколений величайшими из этих хранителей каждого слова и каждой буквы истинной и древнейшей Библии были члены семьи бен Ашер. Именно писец из семьи бен Ашер и пе-

реписал книгу, которая лежала сейчас перед глазами поэта.

— Из-за того, что первая строка первой книги Библии была первой из написанных, ее никогда не писали иначе. Евреи не приняли ее, и на другие языки ее никогда не переводили истинно точно. Так что все мы, евреи и христиане, открывая книгу и заявляя о желании понять ее, отрицаем ее с первых же слов. Странно, что неизвестные с первой строкой Книги Бытия отваживаются браться за толкование Откровения.

Старик перевернул первые кожаные листы и отыскал первую строку первой книги Библии:

בראשית בָּרָא אֱלֹהִים אֹתָהּ שְׁמֵיָּם וְאֵת הַאֲרֹץ

Глядя как зачарованный на прекрасные, изысканные линии букв, поэт вспомнил, что в иврите, как и в родственном ему арабском, слова пишутся справа налево. Не зная больше ничего, он все же распознал слово «Элоим».

— Я показываю тебе это только потому, — сказал старик, — что мы сегодня много говорим о числе три. Сейчас ты видишь, что слово, стертое миром со страниц Библии, — слово, остающееся засекреченным для всех, кто не может прочесть Книгу на том языке, на котором она была написана, и хранимое в тайне всеми, кто может, это первое и наиважнейшее упоминание о божественном, — является третьим словом Библии. И в первой главе Книги Бытия оно обнаруживается тридцать три раза.

Вот. — Он указал пальцем. — Ты видишь его в следующей строчке и в следующей за ней «И духи богов носились над бездной. И сказали боги: да будет свет, и стал свет. И увидели боги свет, что он хорош, и отделили боги свет от тьмы». И так далее: всегда боги — Элоим, — и всегда в передаче, с самых ранних времен, един-

ственний Бог. Как говорится здесь, в твоей стране: *traduttore, traditore*. Переводчик — изменник. Один истинный Бог. На этом камне построены храмы, мой и твой, и все это ложь, измена, иллюзия, неведение.

И так везде, не только в первой главе Книги Бытия. Когда она, та, кто зовется *haššâ*, и он, тот, кто зовется *'ādām*, отведали плод с древа мудрости, их постиг гнев: «стал ты, как один из нас, зная добро и зло».

Один из *nas*.

— Те боги и богини Элоим знали добро и зло: Элои и Яхве Тетраграмматона, Ваал и Ашторет, Шамаэль и Лилит, и еще другие без имени, и те, чьи имена неведомы нам.

Третье слово. Тридцать три упоминания.

Он вернул Библию на место посреди других книг, и все стало так, словно ничего и не было сказано. Старик больше не улыбался и молчал. Потом, как будто слова его ничего не перевернули, повернулся к Христу на кресте.

— Как мы уже говорили, есть три рассказа о последних словах вашего еврея. Лука красноречив: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Самые прекрасные слова принадлежат Джованни: «*Consummatum est*, — свершилось».

И он, кого вы называете самым ложным из имен и чье истинное имя было Иешуа, он, кого вы почитаете, не обращаясь к нему по настоящему имени, он провел три дня во гробе, прежде чем воскреснуть.

Старик замолчал и, подняв левую руку, стер с лица усталость. Потом выпрямился, глубоко вздохнул и снова заговорил.

Заговорив, он снова принялся медленно поворачивать над пламенем свечи плоский конец стиля, а когда оно согрелось, разгладил оставленные на зеленом воске знаки.

— Я не поклоняюсь вашему еврею, тому, пред кем тебе подобные опускаются на колени, преследуя от его имени других евреев; я не поклоняюсь еврею, которого вы превратили в симпатичного *italiano* по имени Джезу. Но я поклоняюсь перед теми тремя днями в гробу и тем, как он вышел на свет.

Старец замолчал, и тот, кто ждал его слов, тоже молчал. Поднявшись, еврей медленно прошел по комнате и остановился перед сбитым из старых, потемневших досок столом. Он порылся в небольшой *cassetta*, потом повернулся и возвратился к своему гостю. В руке его, зажатые между большим и средним пальцами, были две игральные кости. Старик перекатил их на ладонь, нагнулся и бросил кости на пол, после чего, не глядя на кубики, выпрямился.

Поэт перевел взгляд на кости: на одном выпала двойка, на другом единица. Он с некоторым беспокойством посмотрел на еврея. И лишь тогда старик, выдержав паузу, наклонился, чтобы взглянуть на брошенные им кубики. Лицо его было серьезно и задумчиво. Гость следил за ним с нарастающей тревогой.

— Никакой некромантии, — сказал старик. — Через твою веру и через силу трех, вызванную нами, те силы проявляются здесь даже через эти богохульные кости.

Поэт поднял кубики с пола, покатал на ладони и бросил: на одном выпала единица, на другом двойка. Он попятился от проклятых костяшек и голосом тихим, дрожащим и неуверенным произнес:

— Мы преступили черту знаний и тайн. Вы говорите, что это не черная магия, но если так, то я не нахожу других слов для того, что вижу.

Он заглянул в глаза старому еврею и увидел, что они светятся, как глаза Зверя, чье *numerus nominis* состоит из многих трех.

— Не думай об этом как о преступлении,— ответил стариk. Гость не видел движения его губ, но слышал голос, будучи не в силах отвести взгляд от блестящих звериных глаз.— Думай об этом как о проникновении. Ты стремился за занавес.

Затем еврей поднял кубики, и, когда выпрямился снова, его глаза сияли восторженной радостью ребенка. Он снова покатал кости между пальцами.

— *Dez pripés*, обманки, как мы, бывало, говаривали в Париже.— Он усмехнулся.— *Dati plumbei*.— Каждый кубик с одной стороны утяжелен свинцом.— Улыбка стала еще шире, когда стариk с детским восторгом продекламировал стишок:

*J'ai dez du plus, j'ai dez du moins,
De Paris, de Chartres, de Rains.*

Поэт понял этот куплет из короткой песенки: «На моих костях выпало больше. Мои будут и Париж, и Шартр, и Реймс».

— Да,— продолжал стариk, довольный своей шуткой и, похоже, желавший продлить миг возвращенного детства,— у меня есть кости, каждая своего оттенка и устроенная так, что падает на определенную цифру.

Обескураженный, поэт слушал своего собеседника уже с явным облегчением. Между тем веселый дух юности покинул старика.

— Таковы тайны и силы твоих цифр: жульничество, обман, жалкие трюки. Латинское *tres* близко к *treccare* твоего родного языка, как и *triquar* моего родного португальского близко латинскому *trias* или *triccare*.

Он вновь поднял и вернул кости в шкатулку на столе, сколоченном из темных, старых досок.

— Что касается вашей благословенной Троицы, то знай, что о ней нет никаких упоминаний, за исключени-

ем одной неясной аллюзии в греческом варианте вашего Нового Завета. Знай также, что до времени, абсурдно называемого вашей церковью вторым веком, самого термина *trinitas* не существовало, а изобрел его христианский теолог Тертуллиан Африканский, тот самый Тертуллиан Африканский, который и дал вашему Писанию имя Новый Завет. Знай также, что только два столетия спустя после смерти вашего Христа доктрина Троицы была сформулирована полностью и принята вашей церковью на первом соборе в Никее.— Он не сел, а так и остался стоять перед гостем.— Как человек честный, ты не можешь не признать, что источником вашего увлечения Троицей является также сочинение еще одного африканца, великого нумидийского мыслителя Августина, человека красноречивого и с воображением.

Старик наконец сел, и речь его ушла немного в сторону от темы.

— Ты видел, как люди играют в *sortes Virgilianae*? Видел, как бросают кости, чтобы найти в «Энеиде» ответ на тот или иной вопрос? Это древняя форма предсказания, восходящая к дням *sortes Homericæ*. Но после смерти Вергилия прошло не так уж много лет, а он умер незадолго до вашего особенного Иисуса — их разделило, наверное, меньшее время, чем то, что лежит между нами, — и христиане восприняли эту языческую форму предсказания. *Sortes Sangallenses*, *sortes Biblicæ*, *sortes Sanctorum*. Ты видел, как играют в эти игры, с костями и Библией? — Он остановился в недолгом раздумье.— Интересно, что в славе этого галла, этого зачисленного в святые иберийца, было реальностью, а что легендой?

Он покачал головой.

— Такого рода вещи всегда останутся с нами, потому что душами людей правят боги, чьи имена отрицают их уста. Эта глупая игра в кости и стихи идет и сейчас, в

этот самый момент, где-то рядом, в каждой христианской стране.

Было бы удивительно, если бы такой восторженный человек, как Августин, сам не без склонности к каббали — не под этим, конечно, названием, — проявил рвение в борьбе с общей глупостью. Ведь он, в конце концов, как мне кажется, играл в ту же игру, только в более повышенной и более опасной сфере: с поддельными костяшками интеллектуального превосходства.

Поэт почувствовал, как поднимаются в нем и сливаются разные течения: течения сопротивления, течения подчинения, течения чувств, не имеющих названия.

— Вы говорите, что не верите в Сына Божьего...

— Я верю в то, что каждый из нас сын Божий. Я верю, что каждый из нас отец Божий. Я верю, что каждый из нас Бог. Я не верю, что кого-то следует называть Спасителем, ставя Его над остальными, потому что каждый человек единственный и истинный спаситель, живущий внутри себя, независимо от того, находит ли он Его и спасает себя или не находит и обрекает себя на проклятие.

— Но вы говорили о тех трех днях, проведенных Им в гробу, и Его выходе на свет...

— Три дня, пятьдесят лет — число ничего не значит. Да, я почитаю Его за то, что Он вышел на свет. Именно в этом выходе на свет из гроба я нахожу великую силу, заключенную в рассказе о Нем.

Теперь поэт понял. Течения внутри его сошлись — и он понял.

— Да, — сказал старый еврей, — пятьдесят лет и больше. В смертном мраке гроба познания, во мраке, не позволяющем воспринять даже самый слабый запах тончайшей травинки, растущей за стенами гроба. Затем, когда большая часть отведенной мне жизни растрячена впустую и смерть уже позади, приходит воскрешение, и я выхожу из гроба в свет мудрости.

Вот так и ты приходишь ко мне в поиске тайных знаний — *j'ai dez du plus, j'ai des du moins*, — и я говорю тебе то, что знаю.

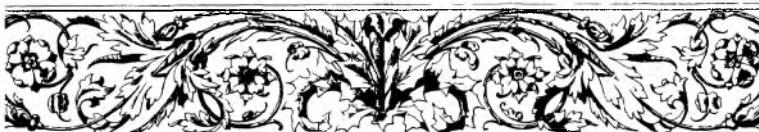
Заканчивай свои поиски. Выходи из гроба исканий. Иди к свету, и пусть наполнит тебя запах каждой былинки твоей души и каждой былинки каждого мига этой жизни. Иди и восприми Ее.

— Ее?

— Софию. Σοφία. Sapienza. Saggezza. Под любым из имен мудрость женственна. Мудрость — женщина. Мудрость — Женщина. Та, кто есть то, что она есть. Она.

— А что вас вывело из гроба?

— Ветер.



А потом я снова отправился на север, в Милан. Потому что именно там жила Джульетта, и меня не оставляло тревожное, не дающее покоя чувство, что я могу и не увидеть ее больше.

Любовь с первого взгляда. Жизнь после смерти. Последнее проверить можно — нужно лишь умереть. Но способны ли мы по-настоящему постичь первое?

Можно ли измерить глубину моря в один кратчайший миг, без движения через всю толщу воды? Могут ли звезды обручить две души, никогда не смотревшие на них вместе?

Когда-то однажды я почувствовал, что познал любовь с первого взгляда. Но то было давно, когда, возможно, любовь приходила лишь под маской желания, потребности и слабости. То было прежде, чем я узнал любовь без какой-либо маски. Только тогда, когда я в равной степени смог полюбить ветер в осенних деревьях и душу другого человека, когда любовь истекала из меня также свободно и бесцельно, как дыхание, когда тот ветер и то дыхание давали мне всю полноту любви, — только тогда я понял, что такое любовь. И только тогда, после многих лет любви к ветру и дыханию, я снова, неожиданно для себя, ощутил любовь с первого взгляда.

Уверен: то была любовь. Боже, она была прекрасна. Но при этом ее физическая красота казалась лишь сиянием красоты духовной, куда более редкой. Никогда еще меня не поражало столь естественное сочетание грации, достоинства и безмятежности. Никогда еще я не смот-

рел на женщину, видя в ней богиню, блаженный дух, недоступный и величественный. В первый и последний раз я почувствовал собственную ущербность. В первый и последний раз ощутил, что недостоин женщины. И еще она была на двадцать лет моложе.

Но позднее, после того как началось наше бесконечное постижение друг друга, когда мы лежали однажды рядом на постели, а может быть, были разделены морем, она призналась, что испытала то же чувство потрясения любовью в вечер, когда наши глаза встретились впервые.

Мы говорили о том, чтобы родить ребенка. Я потерял дочь, которая могла бы держать меня за руку в час моей смерти. И уже никак не мог ее заменить. Но мне хотелось оставить что-то — что-то настоящее, из плоти и крови, — после себя. Джульетта была единственной женщиной, пробудившей во мне это желание. С помощью врачей или без таковой — потому что счастливая улыбка на ее лице вернула мне желание жить — мы могли это сделать. С Божьей милостью что-то прекрасное и дышащее могло войти в этот мир.

За обедом в «Биче», за добрым белым вином с северных холмов, мы снова говорили о будущем ребенке. Потом, ночью, мы любили друг друга и уснули, крепко обнявшись, и спали до утра, пока заглянувшее в окно солнце не разбудило нас.

Ее колготки лежали на полу у кровати. Я поднял их и, скомкав, засунул в свой дешевый зеленый дорожный чемоданчик. Она поняла, что тем самым я заявил на них свои права.

Сейчас, когда я сижу и пишу эти слова, готовый сделать то, что задумал, в пределах оставшегося от мечты, которую мы называем временем, они здесь, в ящике справа от меня.

Там, в ящике, все.

Пузырек с морфием, пистолет, фальшивые паспорта, которые я не использовал, когда летал в Италию, чтобы украсть документы из архивов, куча денег и бежевая гвоздика ее колготок.

Я прижимаю эту гвоздику к лицу и вдыхаю ее запах и запах всего того, что не рассказано и что нельзя рассказать.

Я представляю, как умираю: в одиночестве, прижимая к лицу, как будто кислородную маску, этот скомканный душистый цветок ее колготок.



И тяжелые, темные, низкие тучи устремились на север под сияющими в вышине неподвижными облаками.



Дни за днями сидел он, уперев локти в колени, поддерживая голову руками, уставясь в булыжник, ставший всем его миром, ограниченным запыленными сандалиями и обтрепанным, грязным подолом платья, с каждым днем он все меньшее воспринимал происходящее: короткую прогулку в комнату, короткую прогулку к столу, короткую прогулку к тюфяку, отправленные внутрь хлеб, рыбу и вино, короткие и все убывающие приливы сна; все меньшее и меньшее воспринимал он сам мир, чьими оконечностями были обутые в кожаные сандалии ноги, давно не чиненное платье и бесконечная падающая тень. Жил ли он в Равенне или каком-то другом городе — он не осознавал этого, обитая в пыли, где падала тень и где, хотя его невидящие глаза не замечали этого, была начертана дата его смерти; и в душе его не было ничего, кроме тщеты сделанного и утраты.

Когда-то он написал бесчисленные слова любви — они стекали с пера, как слюна из раскрытого рта паралитика, — но ни одного для той, которая родила ему дочь и сыновей и несла долю изгнанника, как свою собственную.

И что еще хуже, эта женщина умела читать.

След, оставленный за годы его первом, как слизь, оставленная проползшей улиткой, могли видеть все, как видела она.

Он сам выставил на всеобщее обозрение все обожание и всю любовь к той, которая давно умерла, к той, которой при жизни пришлось выйти замуж за другого, не

удостоив даже толикой чувств, не говоря уже о любви, не найдя ни слова для другой, рядом с которой он стоял перед Богом и с которой был связан узами брака.

Он прекрасно понимал все это, острее и острее воспринимая с годами, но никогда ничего не сказал.

Теперь он хорошо знал и кое-что еще: знал, что если бы женился на той, чей призрак пленил его, и если бы она еще жила, то перестала бы быть обожаемой и превратилась бы в обыкновенную стареющую жену, не вызывающую поэтических порывов. Потому что ни одна женщина, делившая с ним постель, не могла бы быть идеальной, и ни одна, обнимавшая его, не могла бы взойти на алтарь его мечты.

Что знал он о страсти и любви, он, способный дать их только незапятнанному юношескому идеалу, но не женщине, отдавшей ему все свое сердце и всю свою любовь? О чём говорило то, что он мог любить так ее, *divina beata purissima*, ту, которая, сгнив в могиле, наградила его при жизни лишь мимолетным взглядом? Это говорило о том, что он ничего не знал о любви и о самом сердце, одержимом всего лишь чудесным звучанием любовной песни, но не укрепленном более высокой, молчаливой песней самого сердца.

У него не было души. Он оставил ее давным-давно на лужайке безграничности или где-то еще вскоре после того, но под другим небом. Его сердце было подделкой, самодельной и весьма искусной. Его любовь — тоже выдумкой из чернильницы.

Он отправил в ад половину человечества и еще смотрел на них сверху вниз: ханжа и лицемер, способный любить, да и то не по-настоящему, только мертвца; ханжа и лицемер, не поместивший в аду собственную прощающую душу; ханжа и лицемер, пытавшийся выразить рай через слова; *damnatus*.

Если бы только отнять, вырвать у разливавшейся вокруг красоты творения одно лишь слово благословения, чтобы выразить на бумаге ритм того, что билось в груди, но ни слова, ни цвет не приходили оттуда, из другого мира.

Пришла тьма, и он не стал зажигать лампу, оставшись неподвижно сидеть под собственной разрастающейся тенью, уже почти не отличной от наступившей тьмы.

Слово не пришло.

Он знал, что слов уже не будет, если не считать неотступного шепота внутри.

Через несколько дней его вызвали, чтобы отвезти в Венецию документ, требующий печати дожа.

Луна уже несколько раз становилась полной и убывала до тончайшего серпа с тех пор, как он в последний раз навещал того, кто принял имя Исаи.

Они вместе сидели в предвечернем зное. Во взгляде старика лежала усталость, но было в нем и сходство с пронзительным взглядом умудренного годами ястреба, ждущего то, что должно прийти: ветер освобождения, способный нести старые крылья.

Взгляд еврея то замирал, то медленно переползал с одного предмета на другой, но не терял пронзительности, и, когда гость заговорил о том, что загубил душу, старику ничего не сказал.

Молчание не задело и не оскорбило поэта, как это случилось годы назад, когда еврей вернул ему три листа со стихами, третий непрочитанным. Возможно, тогда он больше ценил слова, чем душу. Или, может быть, в нем уже просто не осталось ничего, что могло бы оскорбиться. Гость не говорил больше о душе, а когда после собственного долгого молчания заговорил снова, то о ветре, том ветре, которого, как ему казалось, ждал старик. И только эти слова, произнесенные невзначай, нашли отклик.

Аура. Анима. Ветер, дыхание и душа.

Нельзя лишиться того, чем никогда не владел. Не надо печалиться, узнав, что потерял иллюзию. Такое открытие — благословение.

Если мы не поймем, чего нам недостает, то никогда не станем искать недостающее, а значит, останемся неполноценными в темноте, которую ошибочно принимаем за свет.

Аура. Анима. Ветер, дыхание, душа.



В последний раз, когда мы встречались, Левша выглядел не очень хорошо, а сейчас он выглядел еще хуже. Все волосы у него выпали, и их отсутствие скрывала coppolla; губы сохраняли бледно-фиолетовые следы химиотерапии.

— Левша выглядит получше, тебе не кажется?

Это сказал Джо Блэк.

— Я видел ребят, которые прошли через это, — сказала, — и видел ребят, которые победили. Послушай меня, Левша, ты победил. А волосы отрастут, и заметить не успеешь.

Глядя на него и произнося эти слова, я подумал, что жить ему осталось несколько месяцев.

Левша улыбнулся, что отнюдь не сделало его краше.

Потом заговорил Луи. Он обращался ко мне:

— Ты становишься настоящей занозой в заднице со всем этим дерьямом насчет идентификации. Думаешь, легко за тобой подчищать?

— О чем это ты? — спросил я.

— О чем это я? О том хрене в Вероне, у которого костюмчик от Бриони и туфли от Берлутти. И о другом, в Равенне. И его помощнице, которая притащила тебе кучу всякого бумажного дерьяма. Думаешь, легко мне было засунуть их в один мешок? Думаешь, приятно, когда они оба стояли на коленях, умоляя, плача и обделяясь со страху? У той сучки было обручальное кольцо на пальце. Наверное, ее муженек уже поднял шум.

— Ты спятил, на хрен, или просто такой тупой? — прощедил я сквозь зубы. — Эти люди не имеют к нам никакого отношения. Они никто. Понимаешь, черт возьми? Никто. Они ни в чем не виноваты.

— Ни в чем не виноваты? При чем здесь, на хрен, «ни в чем не виноваты»? Что за дерньмо ты несешь?

К тому времени я уже знал Луи. Знал его язык. Для Луи «дерьмом» было все: жизнь, мир. Все. «Дерьмо» было общим знаменателем, итогом, суммарным значением его онтологии, пантологии и эсхатологии.

— Откуда у какого-то библиотекаря костюмчик за пять кусков и туфли за три штуки? — завелся он. — Кто, на хрен, знает, что это за люди и с кем они треплются? Ты везде следишь, Ники, а я только подтираю за тобой.

— Подтираешь? Что ты подтираешь? Ты оставляешь кровавый след там, где нет ничего, кроме пыли.

— О господи, прекрати, а? Кровавый след. Сделай перерыв, ладно? Это дерньмо даже в газеты не попадет. Просто пустой бланк. Ничего.

Я отвел взгляд от Луи и, сделав это, наткнулся на выжидающий взгляд Джо Блэка. Его глаза были двумя колючими льдинками.

— Всякий, кем бы он ни был, кто может, пусть даже с натяжкой, связать нас с рукописью, — *tabutu*.

Голос прозвучал как будто из тех застывших льдинок-глаз, губы под ними словно и не шевелились.

— Почему? — спросил я.

Джо Блэк взглянул на Луи, а Луи взглянул на Левшу, и они начали смеяться. Даже Левша со своим голым черепом, и тот растянул в ухмылке кривые лиловые губы. Тогда я понял, что больше не знаю его.

Смех стал громче, потом утих.

— Почему? — повторил я. — Мы вывезли эту штуку из Италии, где ее могло востребовать государство. О ее существовании никто не знает. Никто не знает, что она когда-то существовала. Нельзя украсть то, что не про-

пало. Нельзя украсть то, чего никогда не было. Эта вещь наша, она чиста, она вне пределов национальных притязаний, владение ею не является преступлением. Рукопись чиста, мы чисты, и все можно закончить чисто.

Наступила тишина, которую нарушил Джо Блэк:

— Ну, во-первых, прежде чем возносить благодарственные молитвы и петь хвалебные гимны, давайте вспомним, что есть люди, которые знают о ее существовании. Это наши друзья в Палермо: они вывели нас на рукопись, и им причитается половина выручки.

— Так почему бы не убрать их, а не каких-то гребаных библиотекарей?

И снова Джо Блэк взглянул на Луи, а Луи на Левшу, и они начали смеяться. И снова смех стих.

— А как насчет того парня в Фабриано? — спросил я.

Луи вздохнул.

— Ушел. После встречи с тобой уехал прямиком на аэропорт в Анконе с какими-то ребятами.

— Что ж, по крайней мере, ты хоть что-то не испортил.

Я отдал Джо Блэку копии того, что привез из музея бумаги.

Пока он читал, Луи и Левша не спускали с него глаз, хотя вообще-то Левшу уже вряд ли что-то интересовало.

«Тем, кого это может касаться.

Настоящим подтверждаю, что бумага сего документа была изготовлена в Фабриано в мае 1321-го по специальному заказу синьора Гвидо Новелло да Полента из Равенны, которому она была доставлена в начале следующего месяца, в период личного и профессионального сотрудничества с находившимся под его патронатом поэтом Данте Алигьери.

Фотокопии исследованных мной страниц прилагаются. Каждая из них имеет мою подпись и печать музея бумаги Фабриано».

— Вот такого рода аутентификация нам и требуется, — сказал я. — Еще два анализа, и все готово. Нельзя, чтобы лица, проводившие аутентификацию, оказались вдруг все мертвые. Две мелкие библиотечные кражи уже превратились в крупные преступления, которые нетрудно связать и...

Джо Блэк не дал мне договорить, махнув рукой.

— Что? — не выдержал я. — По-твоему, два почти одновременных убийства директоров библиотек не наводят ни на какие мысли?

— Нет, не наводят, — ответил он. — По-моему, бытовое убийство, случившееся в одном итальянском городе, останется неизвестным для властей другого города.

— Тем не менее эти бессмысленные убийства надо остановить. Мы не можем продавать манускрипт с документами аутентификации, подписанными международно признанными экспертами, которые совершенно случайно оказались убиты сразу после изучения рукописи. Это безумие. Мы вступаем в иной мир. Отныне — никакой крови, никакой стрельбы.

Луи устало вздохнул.

— Черт, я только «за». А то выходит, будто мне нравится все это дерьмо.

Джо Блэк не обратил на его слова никакого внимания: его взгляд словно приkleился к моему лицу.

— Ладно, — сказал он. — Забудем парня из Фабриано. А как быть с сучкой в Милане?

— Она тут ни при чем. Это моя личная жизнь.

— А по-моему, нет. И вот что еще я тебе скажу. У ребят, работающих на меня, нет личной жизни.

И тогда заговорил Левша:

— Знаешь пословицу про болтливые губки, потопившие корабль?

«Да, — про себя ответил я, — а как насчет лиловых губок?»

— В общем, так, — негромко и уже спокойно сказал Джо Блэк. — Заканчивай эту аутентификацию. Потом найдем покупателя. А потом уж повеселимся.

Tabutu.

Прошло много лет с тех пор, как я услышал это слово в первый раз. Как говорят знающие люди — а незнающие предпочитают помалкивать, — это самое зловещее, самое тревожное слово в сицилийском языке.

Tabutu.

Оно означает что-то вроде «дом мертвых» и употребляется не только как угроза, но и как принятное решение.

Tabutu.

Слово звучало в моей голове.

Tabutu.

Тогда-то я и понял.

Tabutu.

Шесть дней назад.

Tabutu.

Шесть дней назад, когда я, слыша в голове эхо этого слова и понимая, что будет дальше, схватился за ручку и начал торопливо излагать все то, на что смотрю сейчас, удивляясь собственному безумию, — скучную брань и поношения, вызванные наркотиками лирические рассуждения о смерти, зацикленность, как на пуле в голове, на том, с чего все началось, — я не думал об этом как о безумии. Сейчас я понимаю, чем это было: попыткой спастись через слова, жить или умереть через них.

Теперь это не важно. Все не важно: отчаянные поиски утерянного мира, мира, обреченного не на ад, а на Равнодушие *i vigliacchi*; воспоминания о перерезанных глотках и нежных шеях; распахнутые ворота души — для чего? Все пустое. Все. Нет никакой истории, начавшейся однажды в чудесный день. Есть история, начавшаяся шесть дней назад, с того слова, его эха и понимания.

Tabutu.

Вот и вся история, которая начинается и заканчивается здесь, неведомо для меня, как и для вас.

Я написал эти слова три часа назад, посреди ночи.

Я проснулся два часа назад, посреди ночи.

Я включил плиту на кухне. Нарезал хлеб на алюминиевом подносе и положил его в духовку.

Я включил «Jumpin' Jack Flash», громко, но не слишком.

Я положил на диван две подушки.

Я достал пистолет из ящика.

Мне хотелось посмотреть, какой получается звук от выстрела в помещении.

Мне хотелось проверить, как он работает.

Мне хотелось проверить, не дрожит ли рука.

Громкий, пронзительный ритм песни перекроет хлопки выстрелов.

Запах горелых тостов скроет запах пороха.

Я отошел от дивана.

Я вскинул руку с пистолетом, не оставляя времени, чтобы прицелиться.

Tabutu.

Одна подушка, потом другая — все заняло не более одного нервного вздоха.

Пальцы чувствовали пистолет как упругий комок живой, трепещущей плоти.



Когда-то он был молод, теперь — стар.

С тихим, почти неслышным смешком, чистым и презрительным по отношению к смеющемуся, припомнил поэт то, что писал в пору молодости, когда число его лет едва равнялось тридцати; что писал в начале той тонкой книжки, которая была его первой; что писал, вообразив себя убеленным сединами мудрости пророком, о «книге моей памяти», как будто это было нечто настолько величественное и увесистое, чтобы нести на себе седьмую печать и покрытую коркой времени застежку.

Мужчина разбрасывает свое семя в борделях, и на этом все заканчивается, и стыд нести ему одному. Но разбрасывать глупость своего тщеславия прилюдно — это оставлять пятно, которое не смыывается.

Он снова рассмеялся, уже слышнее, но еще чище и еще презрительнее. И прошептал себе под нос, как один шепчет другому о невероятной глупости третьего, неприсутствующего, те три слова, которые слетели с его пера в ту пору, когда кожа его еще была мягкой и незагрубевшей, как у ребенка: *incipit vita nuova*.

В ту ночь он достал из сундука, где лежали все эти годы, во всех его путешествиях, те листы пергамента с юношескими словами той маленькой книжечки, которая была его первой. Они были свернуты, переплетены тонким кожаным ремнем и неплотно связаны.

Положив свиток под одежду, он в ту же ночь оседлал свою кобылу и выехал из города к древнеримской дамбе, чьи камни крепко держал замешанный столетия назад

раствор. Мчавшиеся по небу тучи то скрывали, то обнажали луну, и она, в свою очередь, то погружалась во тьму, то освещала путь к морю. Ветер становился холоднее и сырее, донося грохот сердито обрушивавшихся на укрепление волн, и наконец он и сам увидел в свете луны пену взметнувшихся гребней. Ветер безжалостно, с дикими звуками рвал его платье, как будто и ветер, и волны, и он сам были единственным существом, управляемым грохочущей луной, ее вспышками света и провалами тьмы, становившимися все безумнее, все непредсказуемее, потому что тучи уже походили на обезумевших и скинувших седоков лошадей.

Он слышал и видел и долгое время был един с тем, что слышал и видел.

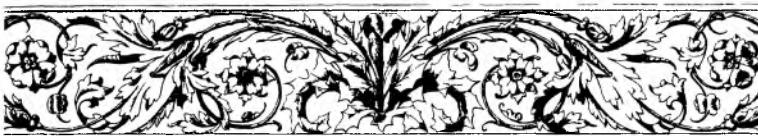
Потом вытащил из-под одежды свиток, развязал стягивавший его ремешок и позволил ветру выхватить у него листы, швырнуть их на землю и бросить в море. Поэт смотрел на них, пока мог видеть: они походили на попавших в бурю птиц, которых уносило все дальше, а потом они внезапно исчезли, найдя смерть в ревущем мраке стихии.

— *Incipit vita nuova*, — сказал он неистовому ветру, безумствующему морю и свету и тьме. — *Incipit vita nuova*.

В яростном дыхании того дикого морского ветра, когда луна открывала и закрывала глаза от табуна несущихся туч, поэт ощущал то, что, как ему давно казалось, покинуло его навсегда. Оно пришло как с дыханием внутри его, так и с дыханием вошедшем в него. Аура, анима. И еще то, что лежало за восьмым небом, число, *cifra*. И еще то, что лежало за девятым небом, то, что было всегда, что было им самим и что будет после. Он втянул это дыхание, как будто оно было его первым, дыхание неизвестного, неведомого, дыхание мудрости.

Так, прожив пятьдесят шесть лет, человек, который не знал ничего, который был молодым и знал всем все, вступил в новую жизнь.

Новое дыхание новой жизни написало в нем и вне его все, что еще оставалось написать; и оставалось написать то, что недоступно словам, потому что так должно быть и только так будет: аура, анима, cifra, дыхание и ветер.



Тандемный ускоритель — спектрометр, на котором работают физики лаборатории Аризонского университета, — самое верное средство радиоуглеродной датировки, способа, все еще требующего усовершенствования.

Именно в этой аризонской лаборатории проводили анализ свитков Мертвого моря.

Именно здесь было вынесено решающее заключение по Туринской плащанице как подделке, изготовленной в Средние века.

Это то, что нам нужно.

Утром какая-то немолодая бабенка из Феникса привнесла в отель пистолет для Луи. Я сказал ему, что с этой штуковиной ни в какую лабораторию его не впустят. Я сказал, что если он не хочет оставлять оружие в номере, то пусть остается в нем сам.

— Я не должен выпускать эту штуку из виду, — ответил Луи.

— Похоже, мне уже не доверяют, а? — бросил я.

— Дело в другом.

— Ладно, поступай как хочешь, — согласился я. — Все равно без присмотра ты меня не оставишь. Только предупреждаю: не завали дело. Если появишься вблизи лаборатории с пушкой, они не ограничатся тем, что попросят предъявить ее при входе.

В итоге Луи остался-таки в отеле и, раскрыв телефонный справочник, взялся за изучение раздела «Эскорт-

услуги». Но я не сомневался, что он все равно пустится по моему следу.

Физик, управлявший лабораторией, рассказал много всякого, что спустя несколько часов совершенно вылетело у меня из головы: о том, что углерод-14 — это радиоактивный изотоп углерода, образовавшийся в незначительных количествах при воздействии космических лучей на атмосферный азот; о том, что радиоуглеродная датировка возможна только в отношении вещей, бывших когда-то живыми или содержащих некогда живой материал, потому что метод основан на обнаружении и измерении пропорции углерода-14 в предмете, а она, эта пропорция, уменьшается с известной скоростью после смерти исследуемого предмета или смерти находившегося в предмете живого объекта и при этом достигает известного естественного предела... Тут он меня потерял. Вот на этой самой естественной пропорции углерода-14 в чем-то.

Мне понравилось насчет космических лучей.

Как оказалось, деревянная шкатулка была изготовлена из некогда жившего дерева, а пергамент — из шкуры некогда жившего животного.

Работала машина так: анализ давал какой-то определенный год с допуском на ошибку в плюс-минус столько-то лет, причем вероятность ошибки выражалась в процентах. Чем старше вещь, тем больше допуск на ошибку. Например, если ускоритель определил возраст вещи, скажем, в десять тысяч одиннадцать лет, то ошибка может составлять плюс-минус три сотни лет. В нашем случае речь шла о столетиях, а не о десятках тысяч, так что и допуск был довольно узкий.

Затем взяли требуемые образцы: щепки дерева и скребы с пергамента, столь мелкие, что их отсутствие практически не обнаруживалось.

Данные по содержащей рукопись шкатулке оказались таковы: 1703-й плюс-минус 10 лет.

Меня это не удивило: я никогда не думал, что столь хорошо сохранившаяся вещь могла быть изготовлена в начале четырнадцатого века. Однако напряжение в ожидании главного события только усилилось.

Были проанализированы четыре страницы: первая страница «Ада», последняя страница «Чистилища», последняя пергаментная страница из окончания «Рая» и последняя страница «Рая».

Получилось прекрасно.

Первая страница «Ада»: 1309-й плюс-минус 8 лет, с 10% вероятности точности в пределах 1 года и 80% вероятности точности в пределах 8 лет.

Последняя страница «Чистилища»: 1315-й плюс-минус 7 лет с 15% вероятности точности в пределах 1 года, 85% вероятности точности в пределах 7 лет.

Последняя пергаментная страница, предшествовавшая бумажным, в конце «Рая»: 1320-й плюс-минус 5 лет с 20% вероятности точности в пределах 1 года, 90% вероятности точности в пределах 5 лет.

Последняя страница «Рая»: 1316-й плюс-минус 6 лет, с 15% вероятности точности в пределах одного года, 85% вероятности точности в пределах 6 лет.

И дальше — в Чикаго.

Эксперты этой научной лаборатории — признанные во всем мире специалисты по разоблачению фальшивок — сущие адвокаты дьявола. Все попадающее сюда считается подделкой и подвергается серии изощренных тестов, цель которых доказать, что исследуемый образец является таковой. И лишь пройдя всю цепочку аналитических испытаний, от самых простых до невероятно сложных, вещь признается очищенной от подозрений.

Визуальный осмотр.

Инфракрасная микроскопия.

Аутентификация письменных характеристик, относящихся к предполагаемому году или годам происхождения.

Аутентификация характеристик чернил по соответствию предполагаемому году происхождения.

Тест на установление степени и природы диффузии чернил по пергаменту и внутри его и природы желтых пятен вокруг чернильных линий как показателей срока, предположительно прошедшего со времени написания образца.

Визуальное, химическое и техническое сравнение с датированными документами того же временного периода и места.

Тест на микроэлементы.

Химический анализ чернильного пигмента.

Сканирование с помощью электронной микроскопии.

Энергодисперсионная рентгеноспектрометрия.

Хроматография.

Поляризационно-световая микроскопия.

Меня уверили, что никто и ни при каких обстоятельствах не сможет востребовать рукопись. Только я сам смогу забрать ее из лаборатории.

Итак, назад в Нью-Йорк, где летняя жара приближалась к пику.

Я получил деньги, обналичил все, снял деньги с банковских счетов, закрыл кредитные карточки.

Перед тем как покинуть Аризону, я позвонил моему другу Брюсу, работающему в «Стриблинге», и попросил позвонить нашему общему бухгалтеру и адвокату, с тем чтобы передать мои апартаменты одному из них, за наличные, быстро. Никаких залогов у меня не было. Я не знаю, кто владеет моей бывшей квартирой сейчас, когда я сижу в ней. Но чьей бы собственностью она ни была,

я сижу в ней с миллионом сотенными вместо одной бумажки.

— Позвоню, — сказал я Брюсу. — Объяснить ничего не могу.

Я позвонил Мишель.

— Позвоню. Объяснить ничего не могу.

Миллион сотенными — куча денег. Я позвонил бухгалтеру и попросил его перевести деньги в Милан на счет Джульетты.

— Позвоню. Объяснить ничего не могу.

Я позвонил Джульетте и назвал ей номер перевода.

— Позвоню. Объяснить ничего не могу.

Если уж я умру, то пусть лучше деньги достанутся ей.

Я заказываю пиццу и слушаю сонату Баха для виолончели.

Я ем пиццу и слушаю «Роллинг стоунз».

Оглядываюсь.

Господи, моя библиотека! Столько прекрасных книг.

Куплю новые.

На кладбище нет ламп для чтения.

Господи, все! Столько привычных, нежно любимых хреновин. Столько нежно любимых, мать их, знакомых.

О черт!

О Боже!

Пожалуйста, помоги мне.

Я дремлю. Просыпаюсь. Свет какой-то странный.

Вечер или утро?

Сумка собрана.

Через несколько часов у меня встреча с Луи, Левшой и Джо Блэком.

Я включаю на полную катушку «Jumpin' Jack Flash».

Готовлю кофе. Принимаю валиум, горячую ванну, бреюсь.

Этот халат прослужил мне целых гребаных двадцать лет.



НИК ТОШЕС

Левша оружие никогда не носит.

Я выключаю музыку.

У Джо Блэка пистолет, возможно, в ящике стола.

Я оглядываюсь. Слезы на глазах.

Остается Луи. Тот, кто отправляет людей в мир теней.

Я принимаю еще одну таблетку валиума.

Я достаю из ящика пистолет.



Когда дела привели его в Венецию в следующий раз, визит к старику оказался по необходимости коротким.

Откровенно и с легкостью рассказал он о том, что предал тщеславие юности морю, и о дыхании, вошедшем в него на берегу.

Старик выразил понимание и одобрение.

— Все слова, — сказал он, — рождены стремлением выразить себя и жаждой общения. Каждый звук, каждый элемент каждого древнего алфавита, от которого произошли все другие алфавиты, имеет, как мы видели, собственную божественную, священную ценность. Чем древнее язык, тем выше, могущественнее эта ценность, эта таинственная значимость. Так, латинский язык обладает неизмеримой точностью для передачи величайших тонкостей и различий и четких афоризмов и фраз, но его начальные, исходные элементы сами по себе слабее таких же элементов более древнего еврейского языка. Именно понимание этих сил, как я думаю, и привело тебя ко мне.

Но поразмыслил вот о чем: первый звук первой буквы древнееврейского языка *ah*, с которого начинается *aleph*, есть звук вздоха.

То же самое можно сказать и о первой букве греческого языка *alpha*, с которой открывается этот алфавит. Примеры можно продолжать. Первая буква латинского алфавита *ah* — это ее *alpha*, ребенок. А потом наши разговорные, простонародные языки, на которых говорят в Италии, Франции и так далее.

Все начинается со вздоха, с *ah*, от которого пошли все слова и все языки, и все попытки выразить невыразимое.

Дуновение, дыхание, душа.

— *Ah-ura*. *Ah-numus*. *Ah-пума*. Вступить в эту область, познать и испытать божественность невыразимого означает вступить в ту божественность, к которой тщетно стремятся все слова.

Как гласит ваше Евангелие: «В начале было Слово». И это слово, сверхъестественное и *ex nihilo*, не имело звука, и вся та вечность, за которую цепляется человек, — он медленно выдохнул, и звук получился похожим на вздох ветра, о котором он говорил, — есть лишь эхо того Слова, а может, и весь Бог этой жизни, постичь которого дано человеку среди мешанины всех слов.

Pahrola primah, *pahrolah ultimah*.

Trinitah.

Ahurah.

Ahnimah.

Spirah.

Sospirah.

Divinitah.

Poetriah.

Beatah.

Vitah. Nostrah vitah.

Sacrah.

Stellah.

Ahstromomiah.

Ahstrologiah.

Он произносил каждое слово, заканчивая его медленным, прекрасным выдохом, как бы иллюстрируя подобный дуновению вздох Слова, *ex nihilo et ad nihilo*.

— В Библии, как мы видели, ничего не говорится о религии, но много говорится о спасении и проклятии.

В этом стихе лежит истина, *apricus* и *secretus*, того и другого. По этой причине церковь, та самая мирская церковь, публичный дом иерархов, несущий имя Иисуса Христа, соскребла эту истину с пергамента Писания: если одна единственная церковь есть та, что внутри, то зачем нужна другая, снаружи, если не за тем, чтобы обслуживать тех, кто превратил ее в доходное дело.

Многое соединяется и сходится. Снова и снова прихожу я к мысли, что во всех рассуждениях ученых мужей, будь то евреи или христиане, о природе, неоднородности и доктринах религии, само это слово невозможно обнаружить ни в Библии, ни в книгах, приложенных к ней христианством. Нигде, от Книги Бытия до Откровения.

То, что мы называем религией, есть искажение языческого представления о *religio*, чем в латинском языке обозначается священное место или священный предмет. Лишь тогда, когда мы пользуемся этим словом для названия того священного, что находится внутри нас, мы пользуемся им правильно, а все иное — язычество. Мы также можем справедливо употребить его в отношении Вселенной и Космоса, как и каждого элемента и атома оных, потому как, будучи Божьим творением, все священно. Но употреблять это слово применительно к тому, что создано человеком, значит входить в языческое заблуждение.

Поэтому нужно отказаться от языческого разделения религии на новую и старую, на христиан и иудеев. Существует только одна религия, она внутри нас, и она окружает нас: священность всего сущего и дара дыхания, позволяющего нам жить, давать и быть частью сущего.

Вот так.

Старик снова неторопливо кивнул, и снова в положенное время слова пришли к нему.

— Еврей по имени Иешуа, самопровозглашенный Мессия, почитаемый в качестве такового неевреями.

Что до красоты слов, приписываемых ему, то в этом сомнений нет. В отношении же приписываемых ему так называемых чудес скажу так: я считаю их либо сочиненной легендой ложью, либо халдейским искусством. Разве станет Бог или святой человек устраивать фокусы на свадебном пиру или поднимать человека из мертвых, чтобы тот испытал заново муки гниения? Это не Божье дело, это не дело святого.

Что же до красоты его слов, то я скажу тебе так, и это о нем еще не говорили: он был первым оратором простых и неграмотных. Если он не был воплощением Бога, то наверняка был воплощением, совершенством, идеалом риторики *humilitas*.

Говоря это, я говорю также и о том, что мистическая сила его слов намного превосходит силу того, чего можно достичь искусствой риторикой.

Как я уже говорил тебе однажды, есть много других его слов, помимо тех, кои было дозволено сохранить в Евангелиях вашими иерархами. Некоторые сирийские общины сохранили текст, о котором уже шла речь. Это Евангелие святого Фомы, дошедшее в старинном сирийском списке. Если можно сказать, что Бог озвучил Слово, не имевшее звучания и предшествовавшее всем словам, то сделал Он это в тайной строфе Евангелия Фомы.

Гость умолял старика открыть ему эту строфи, но еврей остановил его такой речью:

— Нет-нет, ты поэт слов и только тогда, когда станешь поэтом бессловесного, будешь готов постичь священную тайну, заключающуюся в сокрытом писании.

Гость знал, что настаивать бесполезно, и давно смирился с упрямством старика. Не желая сражаться с тем, что ему казалось гордячеством еврея-затворника, — подумать только, тот, кто далек от поэзии, решает, достоин или нет воспринять стих тот, кто является поэтом, — он лишь вздохнул и слабо улыбнулся.

— Боюсь, мой друг, что день такой может и не наступить никогда.

Черты лица его собеседника слегка переменились, но не от улыбки.

— Наступали дни и почуднее, — сказал он, — а еще более чудные, как говорят, еще наступят.

Молчание, последовавшее за этой репликой, тоже было не совсем обычное: произнесший слова, похоже, задумался над ними не меньше того, к кому они обращались. И он же, произнесший их, первым негромко нарушил тишину.

— Итак, Иешуа. Да. Стремясь в своих изысканиях к свету, я чувствую, что свет этот ничего не проясняет для меня. Вот тебе загадка: что же это за Бог, умоляющий самого Себя на кресте: «Отец, зачем Ты покинул меня?»

И что же это за великое творение, если ты назвал его «Комедией»?

Гость улыбнулся немного холодно, как будто чему-то далекому, что уже ушло из памяти и едва виднелось на горизонте.

— Великое творение. Справедливое определение, хотя я и сам не понимал, в чем его величие. Это комедия меня самого и моего тщеславия, красивое зеркало, в котором отражаемся только я сам да моя собственная глупость, глупость того, кто ее создал.

Отвлеченная улыбка исчезла.

— И что же, — спросил старик, — будет с тем зеркалом? Неужели его тоже поглотит бушующее полуночное море? Я слышал, что части его уже циркулируют по Италии, а некоторые даже переведены на французский язык. Слышал я и то, что город, изгнавший тебя, стремится теперь провозгласить тебя своим сыном.

Поэт ответил устало и просто, не задумываясь, одним легким вздохом:

— Non lo so.

Он и сам не знал, какая правда заключена в этих словах, и тот легкий выдох, потраченный на звуки, упавшие в тишину подобно камешкам в застывшую воду, был больше всего, потраченного им на грандиозную комедию за четыре времени года.

Он не смел взглянуть на написанное, делая исключение лишь для начала и конца, а также нескольких отрывков, красота и мощь которых остались позади и за гранью его нынешних возможностей. Порой он заглядывал в начало и конец и те немногие отрывки, ища вдохновения, надеясь, что они помогут снова взяться за перо, но из этого ничего не получалось, хотя совершенное и трогало его. Чаще он обращался к началу и концу и тем немногим отрывкам просто для того, чтобы наслаждаться ими.

Тогда же, когда он позволял себе или бывал принужден обстоятельствами посмотреть на другие места своего труда — например, надеясь увидеть их в озарении нового света или в порыве самобичевания, — то натыкался лишь на изъяны ритма и насилие над рифмой: много мелочного и преходящего, мало великого и вечного; много искусной риторики, мало порывов души. Если бы мог он ухватить ритм и рифму той страшной бури с грохочущими волнами и несущимися по небу безумными тучами, той ночи, когда листья его стихов трепыхались, летели и падали в жадно ревущее море. Вот где была поэзия. Если бы мог он ухватить, вырвать, отнять у той ночи весь грохот и всю значимость момента и придать тот пульс и тот размер своему труду. Если бы его поэма, то, что осталось между выкованными им из плавкого золота и рева собственной души началом и концом, достигла таких благословенных высот.

Тогда у него получилась бы песнь о розовом румянце и темной воинственности облаков, о *profumo di forza* шевелящего сосны и трогающего полевые цветы ветра, о

брьзгах моря и соленых слезах смертных. Тогда его стих, как та бурная ночь, сам бы пожирал и рвал, катясь вперед несокрушимыми волнами рифмы. Тогда блаженство счастья и свирепость дикости сошлись бы в танце, тогда жестокость и красота улеглись бы на твердь неведомого, обсидан и жемчуг под всесокрушающим молотом ритма, и тогда сияющая пыль закружила бы в тонких лучах стиха. Если бы только *tre bestie* свободно понеслись по кругам и сферам. Если бы только *Il Veltro* стал его проводником.

Но нет, вместо этого он поступил как школьник, руководствующийся не Божьей бурей, а строгими правилами ремесла и плана. Он не позволил себе служить сосудом Господа. Где еще найти такого глупца, выдумавшего и построившего банальный и нелепый соломенный домик, не подведя под него никакого основания, и при этом наивно полагавшего, что дыхание Бога и Космоса услужливо подстроится под его усеченное видение, *contra naturam*, а не сметет его как пушинку?

Если бы у него хватило сил начать все заново. Но нет, он не внимал Богу в себе, он не внимал Богу вне себя, он не внимал небесам. Он внимал той части себя, которую самонадеянно, высокомерно и слепо принял за Бога в себе, который, через него, написал начало и конец, а потом отвернулся от него.

— Non lo so.

— Что касается вашей загадки, то я поразмышлял над ней и не могу сказать, что нашел ответ.

— Загадка.— Старик произнес это слово так, словно уже забыл, о чем говорил. Потом тон его голоса изменился на тон голоса человека, стоящего перед свежевыкопанной могилой.— Увы, загадка.

— Да. У меня нет ответа, хотя размышления над ней привели меня в опасное место, где обитают нечестивые догадки.

— Тогда ты знаешь ответ, но не осмеливаешься произнести его.

Поэт, рассматривавший каменный пол, поднял голову, отвернулся, потом посмотрел в глаза старика.

— Да, ты знаешь ответ, — повторил еврей, когда его глаза встретились с глазами гостя.

— Ответ тот же, что и на загадку Сфинкса. Ответ — человек.

Поэт медленно покачал головой, опустил глаза на пол, потом посмотрел на собеседника.

— На третий день Он восстал из мертвых.

— А почему Он предпочел восстать из мертвых так, чтобы это могли воспринять глаза людей?

Гость не стал спешить с ответом, потому что слова, пришедшие на ум, могли показаться детскими. Но вера дала ему голос.

— Потому что хотел убедить их в том, что Он есть Бог.

— А разве те, кто почитал Его таковым, нуждались в доказательствах?

— То, что вы говорите, — полная ересь, и говорите вы так только потому, что вы еврей.

— И Он вознесся на небеса.

— И Он вознесся на Небеса.

— Духом или *in corporis*?

— Об этом ничего не сказано.

— А что думаешь ты?

— Ничего.

— Ты не хочешь поделиться своим знанием со мной или просто не знаешь?

— Я не знаю.

— Но как тебе кажется?

— По-моему, Он вознесся только духом.

— На Небеса.

— Да, на третий день Он вознесся на Небеса, чтобы воссесть по правую руку от Господа.

— И об этих самых Небесах ты написал в своей «Комедии»?

— Нет. Я описывал то, что пришло из меня самого, то, что приоткрылось мне: источающий аромат лепесток и колышущуюся на ветру сосну, грустное мерцание вечера и несбыточные мечты.

И тогда, впервые за все время, поэт рассказал старику о восьми небесах и о девятом небе и о том, что вошло в него под небом безграничности.

— Разве тебе недостаточно этого Неба?

Гость помолчал, потом со спокойной твердостью сказал:

— Нет.

— В ваших книгах много говорится о рае и аде, а в наших этого нет. Подобно тебе мы считаем, что рай находится здесь, на земле, что он в даре, доставшемся нам от Бога, как, впрочем, и ад.

Поэт повернулся к нему и с той же спокойной твердостью спросил:

— Вы верите, что Он, тот, кого мы называем Иисусом, был Богом?

Еврей ответил сразу, без паузы на раздумье, и так же твердо и уверенно:

— Да.

Поэт посмотрел на него так, как будто стремился понять.

— Тогда вы христианин.

— Нет.

— Как же можно, признавая, что Он был Богом, приведшим к вашему народу, Спасителем, не исповедовать новую веру?

— Я отвечаю так: согласно моей вере, ты такой же Бог, как и еврей по имени Иешуа. Я отвечаю так: каж-

дый на земле, кто дышит, есть Бог. Я отвечаю так: вера — всего лишь родимое пятно, пуповина, связывающая нас с определенным местом и временем, которую редко кому удается перерезать. Если бы кто-то из нас, ты или я, родился и издал первый крик на арабской земле, то он был бы мусульманином. А если бы твоя или моя душа появилась на свет в давние халдейские времена, то мы, ты или я, преклоняли бы колени перед другими, незнакомыми нам богами. Я, как видишь, родился с маской еврея; ты, с твоими бледными тосканскими чертами, принадлежишь народу, некогда поклонявшемуся другим богам, а затем поверившему в простого еврея, провозгласившего себя Богом. — Стариk мягко улыбнулся и взглянул на поэта. — Глядя на твой нос, я бы не удивился, узнав, что кровь распинавших смешалась в тебе с кровью распятого. — Заметив, что гость никак не отозвался на его слова, еврей придал своему голосу прежнее достоинство. — Если ты веришь в букву Книги Бытия, то должен верить и в то, что мы все, все до единого, потомки одних родителей, что у нас общие предки, общий отец и общая мать. Есть такие, кто считает, что до Евы у Адама была другая супруга. Сам я верю, что Бог создал мужчину и женщину из единого. В Книге Бытия нет ничего, что противоречило бы этой вере. Как сотворил Он в один день солнце и звезды, а в другой свет и тьму, так и свет и тьма должны быть отличны от дня и ночи: они должны быть светом и тьмой души. Верю, что сотворение мужчины и женщины подобно разделению надвое души: без одной половины не может быть другой. Мужчина желает женщину, и женщина желает мужчину, и каждый ищет утраченную часть себя, чтобы стать целым и единым, как когда-то.

Когда мужчина смотрит на женщину, он смотрит на себя, и когда женщина смотрит на мужчину, то тоже

смотрит на себя. По-моему, Бог не мужчина и не женщина, Он един, как та Его часть, что живет в нас. По-моему, мы все заблуждаемся, относя Бога к мужскому роду, как относим к тому же роду и ветер, но таковы уж особенности нашего языка, воспринимающего, например, мудрость — *sophia, sapientia* — как женское.

Быстрый переход с одной темы на другую смущил поэта, сбил с толку, и потому, когда старик обратился к нему с вопросом, он оказался неготовым дать ответ.

— И раз уж мы завели речь о едином целом, не имеющем пола, но разделяемом на мужскую и женскую половины, то как ты объяснишь резкие слова своего еврея, обращенные к женщине, из лона которой он вышел: «Отойди от меня, женщина, Я не знаю тебя»?

И спросил старец:

— Это ли есть Слова Любви?

Поэт молчал.

— Смею сказать, тот, кого вы называете Иисусом, говорил почти как обезумевший маг. Вы же называете его мудрецом. — Не дождавшись ответа, старик продолжил: — Эти слова вашего еврея, как и другие, произнесенные на кресте, нужно воспринимать в высшей степени серьезно.

Оба молчали весьма долго.

— Дай мне конец, назови последние слова твоей песни.

— Ничьи глаза не видели этих слов, и ничьи уста не произносили их, кроме моих. Нельзя заканчивать то, что еще не доделано.

— Не нужно стыдиться своего творения. Сами судьбы наши определены до того, как дыхание покинет нас. К тому же, не забывай, наши скреплены клятвой смерти. Твои слова останутся тайной, которая умрет со мной.

— Тогда чего же вы хотите?

— Может быть, я увижу то, что видел ты.

Поэт уже приоткрыл рот, словно собираясь заговорить, но остановился, услышав, как бьется его собственное сердце. Приоткрытые губы шевельнулись.

— Закроем глаза,— тихо приказал он,— потому что слова эти я ношу с собой, ясно запечатленные в памяти.

Старик закрыл глаза, и поэт сделал то же самое, и так они еще сидели какое-то время в тишине. Гость ждал, пока тишина не призовет тьму, чтобы стихи пришли из этой тьмы.

Поэт сделал паузу, и голос его упал до шепота.

О Вечный Свет, который лишь собой
Излит и постижим и, постигая,
Постигнутый, лелеет образ свой!

Круговорот, который, возникая,
В тебе сиял, как отраженный свет,—
Когда его я обозрел вдоль края,

Внутри, окрашенные в тот же цвет,
Явил мне как бы наши очертанья;
И взор мой жадно был к нему воздет,

Как геометр, напрягший все старанья,
Чтобы измерить круг, схватить умом
Искомого не может основанья,

Таков был я при новом диве том:
Хотел постичь, как сочетаемы были
Лицо и круг в сиянии своем;

Но собственных мне было мало крылий;
И тут в мой разум грянул блеск с высот,
Неся свершенье всех его усилий.

Здесь изнемог высокий духа взлет;
Но страсть и волю мне уже стремила,
Как если колесу дан ровный ход,
Любовь, что движет солнце и светила*.

* Перевод М. Лозинского.

Последний звук ушел с его дыханием в обступившую их тишину, как шепот самих звезд в сердца людей; длинный, протяжный вздох, рожденный этим звуком, покинул мир слов и растворился в бессловесности, перенесясь из обители людей в божественную сферу; тишайший шорох стал ветром, подхватившим невесту, чьим единственным желанием было обнять бесконечное, великое, невыразимое Всё.

Лицо старика осталось бесстрастным. Подняв голову, поэт увидел, что глаза его все еще закрыты. Затем черты еврея прояснились, он глубоко вздохнул, как будто нежный и могучий ветер вздоха захватил его и только теперь чувство ласкового прикосновения магии исчезло вместе с улетевшим, растворившимся в безмолвии шорохом.

— Слушая твой стих, я словно слышу легкий шаг Афродиты, выходящей на берег из мерно накатывающих волн гулкого ритма, расцвеченногом божественным светом.

Никогда еще поэт не слышал более глубокой похвалы, а стариk продолжал:

— Бог дышал тобой. Он позволил тебе приподнять завесу невыразимого, и то, что ты сделал, отмечено изяществом и силой, встречающимися реже, чем редко. Ты — один из избранных, и ты хорошо послужил Ему.

Польщенный похвалой и исполненный благодарности, поэт взглянул на еврея, и ему вдруг захотелось коснуться того, что все еще беспокоило его: несовпадения ритма, слабости некоторых звуков, а прежде всего последней строки, в которой он так и не посмел отразить еретическое видение земли, движущейся в небе вместе с солнцем и другими звездами.

— Одно небо может стать другим через легкое смещение оттенка или облака, и так продолжается вечно, пока совершеннейший рассвет одного дня не станет со-

вершеннейшими сумерками бесчисленных будущих дней. Но божественность, явленная через человеческую душу, не может смещаться бесконечно, потому что музыка земного языка не бесконечна в оттенках и нюансах. Ты служил и ты страдал. Оставь все как есть.

Что до последних могучих, потрясающих слов, которые приведут твоё тело на эшафот, а душу к спасению, то это самый удивительный, чудесный и опасный момент, загадка Божьего дыхания, тайна твоего служения и твоих страданий.

— Вы бы хотели, чтобы я оставил эти слова?

— Не знаю. Не я написал их, и не мне, стоящему у края могилы, судить, что делать с ними. Решение только за тобой, тем, кто дал им жизнь. А выбор, как уже было сказано, прост: солги — и попадешь в ад, скажи правду — и тебя распнут. Приходи ко мне с утренним светом, и я попытаюсь отблагодарить тебя за подарок. Ты познал вздох. Ты стал поэтом. Ты подошел к словам, о которых я говорил, к тайному стиху запретного Евангелия Фомы, узнать который стремился.

Он направился к книгам, и, когда потянулся к ним, гость не сомневался, что старик возьмет тот единственный том с замком на застежке переплета. Но в руке еврея оказалась другая книга, скромная с виду, плохо переплетенная и очень старая. Перелистив страницы, старик положил книгу раскрытой между ними и опустился на скамью.

Слова незнакомого сирийского начертания были написаны чернейшими из чернил. Ведя пальцем по строчкам, старик медленно и с запинкой, словно не читая, а вызывая из памяти, произнес их. Потом, отведя глаза от книги, повторил прочитанное на другом языке — арамейском, как он объяснил, — том самом, на котором их сказал человек, называемый Иешуа. Далее еврей добав-

вил, что, насколько ему известно, эти слова еще никогда не переводились ни на греческий, ни на латынь, ни на иврит. И наконец он произнес их на знакомом обоим просторечии:

— «Если ты извергнешь то, что внутри тебя, то извергнутое тобой спасет тебя. Если ты не извергнешь то, что внутри тебя, то, что останется неизвергнутым, погубит тебя».

Когда поэт с первым светом утра пришел к старому еврею, тот уже ждал его. Над огнем висел почерневший от копоти железный котелок с каким-то овсяным варевом. На дощатом столе стояли две маленькие чаши тонкой венецианской работы и стеклянный кувшин темноянтарного цвета, наполовину заполненный похожего цвета жидкостью, крепким и вкусным — как ему предстояло узнать — арабским подобием *alcool*, называемым *ha-shesh*. На скамье — единственном, безмолвном свидетеlex их долгих споров, клятвы и всего, последовавшего за этим, — лежала закрытая на замок книга, а на книге сморщеный мешочек размером с кулак.

К поднимающемуся из котелка густому пару премышивался, маняще распространяясь по комнате, запах корицы; лучи утреннего солнца мягко играли в янтарной жидкости и отражались от стеклянных стен тонких чаш, и постепенно унылая келья старого монаха превращалась в обитель чувственных радостей.

Овсяное варево, сдобренное щепотью корицы и разлитое в каменные посудины, насытило и согрело мужчин, но не оставило их равнодушными к другим удовольствиям. Янтарный арабский напиток был разлит по чашам, и поэт, следуя примеру хозяина, поднял свою.

— Горе тому, кто поднимается утром и употребляет крепкий напиток, — шутливо провозгласил старик, намекая на запрет Библии.

Он посмотрел на поэта, весело улыбнулся и выпил. Гость сделал то же самое. Поспешный вдох притушил вспыхнувший в горле пожар, на мгновение лишивший его возможности дышать. Старик сел на скамью рядом с таинственной книгой и шагреневым мешочком, поэт сел по другую сторону от них. Еврей едва заметно шевельнул головой, как бы подтверждая свое намерение.

— Светила, — произнес он и снова кивнул. — Светила. — Он повернулся к тому, кто накануне закончил этим словом свой последний стих, закончил так просто и изысканно. — Ты видел их прошлой ночью?

Поэт признал, что не видел.

— Они были чудесны и несметны.

Старик еще раз произнес три слога последнего слова: *несметны*. Как бесконечное повторение истинного имени Бога, всех тех духов и сил, которые носили имена богов или были богами и остаются ими, не имея никаких имен, всех душ, прошлых, настоящих и будущих, наполняющих великое Всё.

Он глубоко вздохнул, будто вбирая в себя воздух той звездной ночи. Затем, когда дыхание вернулось, старик медленно открыл глаза и посмотрел на поэта, зачарованного словами и вдохом собеседника.

— Самое удивительное, что эта неисчислимая бесконечность пребывает в постоянном изменении. Как сказал мудрейший Гераклит: *лάнта ёт*. Здесь душа покидает бездыханное тело, там она мерцает, входя в тело, еще не рожденное на свет. Здесь звезда падает на землю, там человек приходит в мир. Непознанное и непознаваемое, гематрия бесконечности.

Необычное, странное опьянение гашишем постепенно овладевало гостем. Он не столько слышал, сколько ощущал, и то, что он ощущал, пробуждало другие ощущения, другие чувства, и все эти ощущения и чувства причудливо и красочно переплетались между собой.

Но ни завораживающие слова старика, ни порочная и укрепляющая дух гордость, торжествовавшая в поэте после похвалы предыдущего вечера, ни причудливое переплетение чувств не избавили его от сомнений и разочарований, вызванных осознанием неудачи, поражения, столь долго висевших на нем тяжким камнем.

Он снова проклинал себя за то, что погубил «Комедию», заточив ее в схоластические леса академической архитектуры, по природе своей мстительной и вредной для всего трансцендентального. Будь проклято все умозрительное, говорил он. И трижды проклято *его* умозрительное.

Если бы только он принял Божью форму, форму без формы. Если бы только принял числа и меры бесконечности, лежащей за пределами чисел и мер.

Выслушав стенания гостя, старый еврей остановил его загадочным взглядом, пробудившим нечто вроде стыда или смущения.

— Да,— сказал он со вздохом, выражавшим бесконечное понимание,— мы оба знаем, чего тебе не хватает. А потому я даю тебе это.

Старик взял кожаный мешочек и протянул его поэту, сразу почувствовавшему, что кошелек содержит немалое число монет.

Развязав узелок, он запустил руку внутрь, а потом высыпал на ладонь золото. Тридцать три флорина.

— Число, делимое на три,— с той же загадочной улыбкой сказал даритель.

— Здесь намного больше, чем я заплатил вам за учение во все эти годы.

Старик махнул рукой и заговорил серьезно, уже не улыбаясь:

— Эти деньги освободят тебя от необходимости обшаривать мой труп.

Поэт промолчал. Золото — это золото. И здесь его было больше, чем он когда-либо держал в руках.

— Творец истекает кровью, чтобы творить, а его *bibliopola*, издатель, продавец и вор в одном лице, пьет эту кровь. Так было всегда. «*Lector, opes nostrae*», — напыщенно заявляет Марциал. «Читатель, ты мое богатство». Но немного дальше он говорит уже без напыщенности и искренне: «*Quid prodest? Nescit secculus ista meus*». Это о славе и признании: «Что пользы в них? Мой кошелек таких вещей не знает».

Поэт медленно кивнул и мягко улыбнулся над мудростью слов, которые он уже позабыл.

— Возьми их, — сказал старый еврей, — как сделал бы наш прекрасный Марциал, благородно и открыто.

Поэт подождал, давая словам время отстояться, очиститься от притворства, фальши и неискренних выражений, а затем произнес:

— Я благодарю тебя.

Старик кивнул, так сдержанно, что его тень почти не шелохнулась. Потом положил руку на книгу с замком и вставил в замок маленький медный ключ исключительно тонкой работы.

— Этого золота более чем достаточно, чтобы оплатить предстоящее путешествие.

Отомкнув замок и раскрыв старинный том, поэт замер, не в силах выразить словами восхищение от увиденного: перед ним были удивительнейшие листы пергамента, выскошенные и отшлифованные пемзой до редчайшей гладкости и чистоты, но при этом более толстые, чем любые из тех, что он видел, так что каждая сторона как будто лучилась наподобие жемчужины или облака, как будто некое внутреннее свечение пропускало через ее поверхность. Страницы были чисты, если не считать правой стороны первой, которую украшали выведенные

темно-синими, казавшимися черными, когда на них не падал солнечный свет, чернилами несколько изящных, напоминающих арабские буквы.

مُنَا أَسْكُنْ
عَلَى الْثَّلَاثَةِ
فِي الْثَّلَاثَةِ
فِي الْثَّلَاثَةِ

Под ними, исполненный не менее изящно, стоял древний знак Тринакрии, заключенный в наложенные друг на друга и образующие еврейскую звезду треугольники, в свою очередь заключенные в окружность. ТРИНАКРИЯ.



Поэт хорошо знал знак Тринакрии. В своей работе он и сам, беря пример с Овидия, называл Сицилию именем этого древнейшего символа.

Его пальцы привычно пробежали по странице, тайна которой заключалась не только в непонятных словах, но и в потустороннем сиянии самой кожи.

— Снова и снова до меня доходят слухи о его смерти, — сказал еврей. — Эти сообщения прибывают все чаще, от сарацинов и сефардимов, через бродячих голиардов или доставляются венецианскими купцами.

Иногда кажется, что он умирает каждое полнолунье. Но вряд ли хоть один из тех, кто якобы видел его могилу, знал его в лицо. — Он кивнул в сторону свитков и фо-

лиантов. — И пока он умирает, снова и снова, бесценные дары продолжают поступать, снова и снова. От него.

Поэт молчал, сдерживая любопытство, погруженный в волшебное опаловое сияние, испускаемое раскрытыми страницами. Скрюченный палец еврея с кривым, похожим на коготь ногтем указывал на заключенный в окружность символ.

— Вот, — сказал старик, — то место, где ты найдешь его; здесь, где три заключено в три, заключенное в три.

Поэт удивленно поднял голову и заглянул в глаза наставника, сиявшие тем же, что и страницы, — бледно-молочным светом.

— Еще один подарок от того, кто также постиг магическую силу трех.

И он рассказал, что мог, о том, кто прислал эту странную книгу.

— Мы вместе учились в Париже, в одно время и в одном заведении, куда стекались многие потоки знаний. Одним из тех, кто бросал сеть ума и чувств в дельту той обильной реки учености, был и твой соотечественник, Томмазо из Аквино.

Я взял себе имя Исаия, а он не имел никакого имени, а потому для него изобретали сотни имен. Никто не знал, откуда он родом, потому что не было человека, имевшего такие способности ко всем языкам. Слыша голос из темноты, скрывавшей его облик, можно было подумать, что это говорит еврей или араб, испанец, уроженец Пропавшего или итальянца, а то и дух ожившего греческого или латинского оратора или барда.

Нас свела каббала; и в наши занятия он, благодаря своей огромной эрудиции, вносил свет многих мудростей: *the mille folliata geometria mystica* Пифагора; малоизвестных сочинений христианских каббалистов; редкого трактата того, кто известен под именем Артемидора, и еще многих.

Именно он ввел нас в мир Плотина. Больше года мы посвятили изучению «Эннеады». — Он взглянул на поэта и улыбнулся улыбкой, которая была улыбкой лишь в малой своей части. — Вот тебе и еще одна устроенная троица. Был ли мир создан кем-то? И если да, то кем? Богом, Демиургом или дыханием Пантократора? А может, он вечен? Живет ли душа отдельного человека после смерти, или вечна лишь душа Всего? Это лишь некоторые из тайн, раскрыть которые пытались тогда и там многие, помимо нас. Но в отличие от многих мы в своих поисках вышли далеко за пределы схоластической диалектики и отважились вступить в малоизвестную и еще меньше обсуждаемую область тайных знаний. Диалектика Платона привела нас к мистериуму «Тимея», а оттуда мы пришли к прекрасным и магическим картинам подлинного, скрытого текста «Последнего сна Сократа», в котором отвергалась не только вся диалектика, но и мышление вообще.

Он закрыл глаза и процитировал по памяти:

— «Плотин был нашим мостом в неведомое, и мы прошли по нему».

Чтобы присобщиться к знаниям, переданным избранным Исадора, мы вместе отправились в Прованс. Я задержался там, уча других Торе и ивриту и исполняя обязанности раввина. Он тоже пробыл там довольно долго, живя среди нас, хотя, сказать по правде, я бы назвал его скорее арабом, чем евреем. Мой отец был из Испании, его — из Северной Африки. Но его мать была шлюхой-арабкой, вскормившей и научившей его в меру возможностей своего ремесла. Она же рассказала ему об отце. — Снова улыбка, которая почти и не улыбка. — Помню, однажды за ужином, когда перед нами лежали раскрытые Коран и Библия, но глаза стремились к заходящему солнцу, он поднял чашу с вином и сказал: «За моего

отца, святейшего в аду; за мою мать, грешнейшую в раю». В другой раз я услышал от него такое: «Я знаю, почему Иисус принял Магдалину и отвернулся от той, которая считала его своим сыном, рожденным от непорочного зачатия».

Но это все неуместные отступления, — остановил он сам себя, — размышления старика о прошлом, не больше того; да, о прошлом, которое, как и должно быть, ушло навсегда. О том, что он больше араб, чем еврей, я говорю лишь для того, чтобы тебе было легче найти его.

Так вот, как я уже сказал, мы прожили в Лангедоке довольно долго. Но к тому времени, когда нас, евреев, изгнали оттуда, он уже покинул нас.

При его знании языков и умении сочинять пользовавшиеся тогда успехом изящные стихи, известные под названием *tuwassaba*, а также владении прочими поэтическими формами, от Гомера до Окцитана, ему не составляло труда найти место при дворе какого-нибудь прованского вельможи. Он даже добрался до королевского дворца, где ему заказывали стихи на французском и переводы на латынь всевозможных королевских документов.

Когда я попал в Венецию, он уже уехал из Франции, заслужив расположение короля Сицилии. По его представлению, именно там, в древнейшей стране Тринакрии, жила и сохранялась древнейшая мудрость веков. Именно там, говорил он, кровь одних смешивалась с кровью других, и сила одних завоевателей налагалась на силу других завоевателей, но при этом истинная, сокрытая душа земли оставалась могущественнее и сильнее суммы всех завоевывавших ее сил.

Сейчас он там. Оттуда он прислал мне, среди прочих сокровищ, суть мудрости запрещенного Евангелия от Фомы. И, как я уже сказал, эти дары продолжают приходить. Но письма не приходят. В своем последнем послании

ний он рассказал, что нашел легендарную Итаку, родину Одиссея, и сообщал, что она станет и его домом, его последним пристанищем, сокольим гнездом.

Вот и все ключи, которые я могу предложить тебе, потому что других у меня нет, а сам я никогда там не был.

Другого значения трех в трех внутри трех я не ведаю. Но полагаю, что именно там ты и найдешь его. Книга, которую ты держишь, получена от него и послужит тебе пропуском к нему.

Наступила тишина, потом поэт спросил:

— Откуда вы знаете, что этот знак есть знак, указывающий на его местопребывание, а не несет какое-то иное значение?

— Так говорят письмена. — Старик указал пальцем, похожим на коготь, на искусно начертанные иероглифы, и его голос, давший звучание молчаливым знакам, напомнил журчание быстрой воды темного потока:

Huna 'askunu
'ala al-thalatha
fi al-thalatha
fi al-thalatha

Затем он перевел звуки быстро бегущей воды на язык, понятный гостю:

— «Здесь я обитаю, здесь, где три есть три трех».

Но, как и журчание быстрой воды, значение этих слов осталось недоступным пониманию поэта.

— Почему он просто не назвал место, где живет?

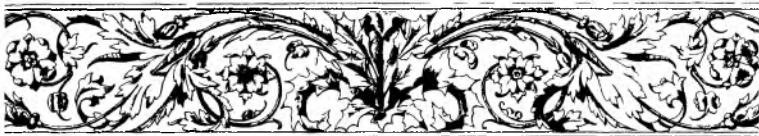
— Потому что преувеличивает мою эрудицию и не хочет, чтобы его местонахождение стало известно тем, кого он не желает посвящать в эту тайну. Чего еще ожидать от человека без имени?

Снова наступила тишина, и снова первым ее нарушил поэт, но теперь он заговорил о том, что было ближе его сердцу.

— Вы нарисовали впечатляющий портрет вашего друга. Но при всем том мне непонятно, почему я должен пускаться в трудное путешествие, чтобы найти его.

Казалось, старик задумался над ответом, но это было не так, потому что, когда он заговорил, слова прозвучали столь уверенно, словно голос был нареченным, единственным и верным женихом:

— Потому что он может видеть.



Лицо Левши было уже сизым, и руки у него тряслись. Он сидел слева от меня. Луи сидел справа. Джо Блэк смотрел на нас из-за стола.

— Значит, ты оставил ее в Чикаго?

— Пришлось.

— Ты же знаешь, — сардонически ухмыльнулся Луи. — Вся эта чушь с аутентификацией.

— С тобой не разговаривают, — сказал Джо Блэк.

Луи закатил глаза, цыкнул зубом, закурил сигарету и отвернулся.

Джо Блэк снова повернулся ко мне.

— Пришлось, говоришь?

— Да, пришлось, — повторил я.

Джо Блэк неприязненно взглянул на Луи и обратился к Левше:

— По-моему, ты сказал, что у этого парня есть голова на плечах.

— Эй, перестань. — Голос Левши был совсем слабый. — Они же там не ерундой занимаются. И домой по вызову не приходят. Там же эти штуки... — Он взглянул на меня. — Как, ты говорил, они называются? — Он снова повернулся к Джо Блэку. — С аппаратурой, размером в комнату, на вызов не ходят, Джо.

— Электронно-сканирующий микроскоп, — вспомнил я.

— Ники знает, что делает, и он в порядке. Послушай, а как ты себе это представляешь? Взять рукопись и отнести ее на Ченэл-стрит? Положить на тротуар рядом с какими-нибудь поддельными «Ролексами»?

Джо Блэк уставился на Левшу. Взгляд его смягчился, как будто Левша достоин прощения по причине болезни. Хотя, может быть, весь этот спектакль разыгрывался по заранее намеченному сценарию и с заранее рассчитанным финалом.

— Послушай, — сказал я. — Хочешь, чтобы я вышел, отдай мне прямо сейчас мои деньги.

Джо Блэк слегка поднял голову и взглянул на Рембрандта.

Я наклонился вперед, покачал головой, устало вздохнул и поднял руку, как будто собираясь почесать спину.

Выхватив пистолет, я быстро повернул его вправо и выстрелил Луи в голову, перебросил прицел на два фута влево и выстрелил в грудь Джо Блэку, а когда тот, собрав последние силы, подался ко мне, всадил еще одну пулю прямо ему в макушку. После первого выстрела в Луи Джо Блэк и Левша вскрикнули. Именно вскрикнули, потому что Джо Блэк не успел даже вдохнуть, прежде чем получил вторую пулю, а Левша вдруг умолк.

Пистолет смотрел на него в упор.

— Я был на твоей стороне, Ники. Я все время был на твоей стороне.

Друг.

С давних времен.

— Ты же сам знаешь, как обстояли дела. Все веревочки держал Джо Блэк. Но я всегда стоял за тебя.

Да, давние времена. Былые деньки.

— А потом, когда я сыграл бы свое... — Я посмотрел ему в глаза. — Прощай, Ники, верно?

— Нет, приятель. Нет, если бы все получилось помоему.

— Как легко и быстро у тебя нашлись слова. А хочешь так же быстро прыгнуть в мою могилу?

— Посмотри на меня, — сказал он.

— Смотрю.

— Давай вместе доведем это дело до конца.
— Да ты шутишь, приятель. За тобой же первым придут. Кроме того, ты же мешок дерьяма. Ты сам поможешь им отыскать меня.

— Ники, — сказал он.

Других слов уже не было.

Я проделал ему дырку там, где когда-то была душа. Старые времена давно умерли, как умер и мой старый друг.

Tabutu.

Я не знал, кому еще известно, что рукопись в Чикаго. Не знал, сколько понадобится времени, чтобы кто-то обнаружил эти три трупа. Я лишь знал, что нельзя убить такого человека, как Джо Блэк, и ждать, что будет дальше. Есть закон. Ладно, тень закона. Да. Но еще у ребят вроде Джо Блэка много своих теней, от Нью-Йорка до Палермо. А у тех теней есть, в свою очередь, еще тени.

Я закрыл дверь и услышал, как щелкнул замок. По соседству строители потрошили дом, чтобы расширить площадь жилых пространств. Мусоропровод изрыгнул дерево и штукатурку, и они посыпались в большой мусорный бак. Пыль от штукатурки поднялась в воздух грязно-серым облаком. С верхних этажей с шумом обрушилась очередная порция мусора, и облако всколыхнулось. Проходя мимо бака, я бросил в него пистолет.

Сжав сумку, я оглянулся в последний раз, и меня едва не оглушила бесповоротность случившегося и утра та всех осозаемых предметов.

Мой путь лежал прямиком в Чикаго. Там я забрал манускрипт и отчет, содержащий детальное описание всех исследований, известных человеку и современной науке. После того как директор лаборатории подписал договор о конфиденциальности, я вернулся в аэропорт и вылетел в Париж.



Ему запомнились эти слова: «Потому что он может видеть». Они остались в нем: «Потому что он может видеть». Слова вошли в душу: «Потому что он может видеть».

Они вросли в него, как темнота врастает во мрак, и, когда первые летние ветры, промчавшиеся над Равенной и ее окрестностями, принесли новую жизнь горожанам и крестьянам, ему они принесли небо болезни, так что ласковое солнце, подарившее свой мягкий золотистый свет весело зазвеневшей бронзе церковных колоколов и пению детворы и птиц, буйной, живой зелени чертополоха и искрящимся росой травам холмов, полей и лугов, душистым цветам и порхающим разноцветным бабочкам, оно, это же солнце, резало глаза и вызывало тяжелый запах гниения, вытаскивало на свет мерзких личинок, и червей, и грязных жужжащих мух. Все, что сияло, блестело, пело и плясало под солнцем, действовало на него так же, как действовала болезнь на его чувства, как некий демон жестокости, насмехавшийся над ним и мучивший его. В конце концов тьма, сгустившаяся внутри, стала болью, и он, не имея сил выносить эту боль, отступил в свою собственную тень, и пыль земли снова стала его Космосом. Он все равно что умер, но при том продолжал отворачиваться от солнца и даже от тьмы, обволокшей его душу и сердце. Сердце его колотилось, как колотится сердце мечущейся, обреченной на заклание твари, когда он размышлял об этом небе хвори, отводя от него глаза, когда размышлял об источнике семян

тьмы в себе, когда думал об обрушившемся на него зле, о небе, болезненно влекущем небе зла, призываюм и прогоняемом людьми.

По мере того как дни делались длиннее, тьма все больше сгущалась. Он мало ел. Звуки, чинимые женой и детьми, были звуками, чинимыми некоторыми зловредными чужаками, заставить которых умолкнуть у него недоставало сил. Обязанности оставались неисполненными, письма без ответа; он перестал заботиться о себе и не уделял ни малейшего внимания своему внешнему виду, чем отличался даже от самых бедных и малопочтенных, пытающихся придать себе по крайней мере видимость достоинства. Он перестал носить *berretta*, а иногда не надевал и *infula*, грязные от пота полы которой напоминали пыльные мешки.

Простоволосый, как какой-нибудь нищий, он чаще всего уходил от дома к осыпающимся под бременем веков монастырским стенам, где находил уединение в темном внутреннем дворике, заросшем, как и все остальное, плющом, покрытом патиной и зеленым мхом. Там он сидел часами на древних каменных, покрытых мхом жерновах, лежавших у огромного, глубокого провала, бывшего некогда колодцем.

Он принимал все меньшие пищи, но все больше вина и уже не утруждал себя, чтобы согнать облепляющих его и ползущих по нему мух; он даже не проклинал их, когда они садились на сизые от вина губы, собирались у желтоватых комочек в уголках глаз и на ресницах, приклеивались к дурно пахнущим выделениям, коркой засыхавшим у него на коже. Из щелей между покрытыми мхом камнями, на которых он сидел и в проливной дождь, и в удушающий зной, сложив за головой костлявые руки, поднимался отвратительный запах гнили и разложения, исходивший из той черной дыры, которую закрывали камни. Однажды, когда вонь стала невыно-

симой, он повернул голову и только тогда понял, что гнилостная вонь смерти и хуже того, вонь посмертия, идет от него самого.

Шаги его становились медленнее, слабее и реже. Каждое движение превращалось в пытку. Иногда, очнувшись от оцепенения, он судорожно хватал воздух, как человек, боящийся смерти и испытывающий агонию, но вдох получался не всегда, и тогда его тряслось, ему начинало казаться, что сердце вот-вот остановится, что он задохнется и проглотит свой сухой, распухший, покерневший язык, что он уже под землей, в кошмаре, который может привидеться не нашедшему покоя мертвцу.

Его уложили в постель с лихорадкой, и там, мокрый от пота и грязный от выделений собственного тела, он умирал сотни раз, но ни разу не увидел света жизни и ни разу не познал спокойного сна и спокойного пульса.

Потом он уснул и проснулся, дрожа от увиденного во сне. Он засыпал, просыпался, дрожа от увиденного, и так повторялось снова и снова. Каждый раз пробуждение начиналось со страха, и сердце его стучало, как у маленькой птицы, чья жизнь коротка. Он не боялся страха, потому что страх был реален. И однажды он уснул и спал без видений, а проснувшись, испытал не только страх, но почувствовал силу, и страх и сила были его страхом и его силой, и оба были реальны.

Он жаждал вина, но принимал только воду, и со временем перестал жаждать вина и жаждал только воды. Потом через окно проник густой аромат свежего хлеба, и этот аромат наполнил все его чувства, вытеснив исходившую от него вонь. Он уснул, а ночью, когда все утихло, прошел к стоявшей во дворе бочке с водой и обмылся, а потом соскоблил выросшую бороду. Оказалось, что жена прокипятила, выстирала и вывесила на просушку его нижнее белье, и *infula*, и платье. Он оделся и сел в ожидание.

дании рассвета, а когда рассвело, взял палку и, опираясь на нее, потащился, сам не зная зачем, к могиле Теодорика на окраине города.

Под одеждой что-то ожило.

Onda e nuba.

Солжешь — и попадешь в ад, скажешь правду — и тебя распнут.

Утроенная троица.

Триада в триаде, заключенной в триаду.

Тройная Тринакрия.

Поэт положил руку на холодный камень саркофага, посмотрел на прожилки в розовом мраморе и вздувшиеся вены на своей собственной руке, потом поднял глаза к куполу гробницы. Лучи восходящего солнца, проникая через узкие восточные оконца, освещали великие слова, искусно выбитые в камне. Они пережили почти восемьсот лет и впереди их — камень и запечатленную в нем величественную и священную элегию — ждали еще десятки и сотни поколений.

И это все бессмертие, какого только может достичь человек? Неужели оно в этом камне, добытом из земли, расщепленном и обтесанном, воздвигнутом на могиле и украшенном *ad gloriae* Богу и тому, кто гнил внизу, под этим камнем, украшенным словами величественными и размеренными, выбитыми будто для того, чтобы разделить вечность с тем, кого они прославляют?

Столько же прожил и этот невзрачный древний жернов, и столько он, наверное, еще проживет, не неся никакого имени или благородных возвышенных слов; камень сей тоже был памятником тем бесчисленным безвестным, сделавшим его и веками пользовавшимся им.

Если и впрямь существуют рай и ад, где обитают души умерших, то, конечно, душа императора и души бесчисленных безвестных предстают перед судом нагими,

лишеными как украшений и короны, так и крестьянских дерюг и грубых орудий труда. Если и впрямь существуют рай и ад, где обитают души умерших, тогда этот монумент величию и великолепию ничем не лучше монумента-жернова; если так, то все монументы, грандиозные и скромные, простые и изысканные, — ничто по сравнению с подлинными монументами, восходящими в облака и нисходящими в море, монументами, созданными из ветра и волн рукой самой вечности. Вот каковы памятники бессмертия, превращающие в детскую игрушку каменные творения людей, воздвигнутые в притязаниях на то самое бессмертие и удостоенные, должно быть, лишь мимолетного озадаченного или сердитого взгляда Бога, тогда как простой жернов если и не задерживает Его взгляд, то хотя бы не вызывает и раздражения.

Улыбка тронула черты осунувшегося лица, когда поэт, опираясь больше на кленовую палку, чем на ослабевшую левую ногу, направился к выходу из гробницы, но эта улыбка вдруг застыла, как мертворожденное дитя.

Кто он такой, чтобы из возведенного им самим храма собственного тщеславия выносить суждение тщеславию камня, самого себя или других людей? Кто он такой, рожденный ни для трона, ни для жернова, чтобы считать одно благороднее другого? Кто он, чтобы судить человека, написавшего кровью историю своей жизни на исполосованном войной пергаменте земли? Кто он, чтобы с презрением посматривать на слова, вырезанные в прекрасном камне во славу Господа и человека? Разве не он, уподобив себя Богу, пел во славу Господа и себя самого, оставляя слова на жалких, недостойных, трижды выскобленных и трижды употребленных шкурах домашней скотины и, хуже того, на грязной, дешевой бумаге, сделанной из сваренных, истолченных и спрессованных внутренностей лошадей и замызганных, выбро-

шенных за негодностью подштанников и загаженных тряпок? Кто он такой, чтобы судить о Боге и Его отношении к земным монументам?

Конечно, Бог жил в нем, но Он так же жил и в императоре и тех бесчисленных безвестных, кому служил этот жернов. И конечно, во всех живших и живущих обитали и обитают и демоны. И конечно, тот, кто, уподобившись Господу, судит ближнего своего, слушает не Бога в себе, а тех самых живущих в нас демонов, которых мы радуем, когда, следуя величайшей глупости и величайшему пороку, славим шибболет человеческой дерзости: проклятие мысли.

Да, думать, размышлять, использовать ущербный и измученный разум как средство более точное и более важное, чем чувства души, означает замыкаться в себе и отворачиваться от Бога в себе, а значит, от Бога Всего. *Mosce animai*: мухи души, вносящие только бесконечное нервное смущение в дыхание жизни, бесконечную хмурость и бесконечное беспокойство, бесконечное шараханье от дарованного свыше благословения жизнью, бесконечную суetu — и так до самой могилы.

Да, раздумье — корень всех зол. *Pensare humanum est; perseverare in pensarem est diabolicum*. Не зря же его назвали Вельзевулом, повелителем мух.

Думать — значит отказываться от дара дыхания, чувств, веры в Бога. Думать, уподобляться Богу, творящему суд, — значит совершать грех еще более тяжкий. «Не судите, и не судимы будете», — сказано в Писании.

Сидя у основания громадного саркофага, поэт все яснее осознавал, что потратил годы жизни на то, чтобы судить других, считая себя при этом слугой Господа и слугой данного ему Господом дара, обрекая мысли и думы на бесконечное хождение по кругам, начертанным в пыли бездушной эрудиции, изображая из себя смиренного и безгрешного паломника и одновременно росчер-

ком пера отправляя в рай или ад тех, кого ему захочется. Он отправил в ад всех писавших лучше, чем он сам, оправдываясь тем рассуждением, что они знали силы Всего под иными, чем он, именами, и вместе с тем другим росчерком пера вознес на Небеса и восславил как божественную силу молодую госпожу, единственная святость которой состояла в том, что она не досталась ему и умерла располневшей и потерявшей свежесть супругой другого. Она была ничто по сравнению с рожденной морем Афродитой, чьих певцов и поклонников он осудил на муки ада. Она была, сказал он, впервые признавая правду, всего лишь заурядным и не раз использованным приспособлением, позаимствованным им у других, как и многое другое, украденное у древних поэтов, брошенных им в ад. Кто и что его Беатриче, если не стихотворный прием, дань моде времени?

И что такое его надуманная эрудиция, попытка прославления философов и творцов поэзии, которых он даже не читал? И что такое его фальшивое оправдание одних и осуждение других, его личных врагов, под предлогом того, что они враги Господа и человечества? И если политика Бонифация VIII косвенным образом привела к изгнанию поэта, то и поэт в своем труде изобразил Бонифация злом большим, чем сам сатана. Что же это за теология?

Он плут и мошенник.

Снова и снова он предавал свою душу и свою жизнь в руки Господа, но делал это неискренне, не по-настоящему. Злое перо и пустая молитва не вознесли его к райским высотам. Бог был в нем, необъятная и бессловесная поэма бесконечности лежала перед ним, и небо безграничности явилось ему.

Сколько еще дыхания отпущено ему на этой земле? Суждено ли ему и дальше жить так, как он жил? Поэт знал, что не вынесет еще одно небо тьмы, подобное по-

следнему. Пришла пора предать себя, полностью и без остатка, другому, самому прекрасному и мистическому небу, посвятить себя той бессловесной поэме; пришла пора извергнуть из себя то, что было в нем, то, что должно было спасти его.

Утренний воздух в том месте мертвых был чист и свеж, и он вдыхал его, и чистым и здоровым воздух выходил из него.

Утренний свет в гробнице померк, когда западный ветер принес серую дымку, лишившую солнце его блеска. Но поэт знал, что небо за пределами гробницы не сулит ничего плохого, потому что не ощущал ничего плохого в себе самом.

Вдыхая свежий и здоровый воздух, он в каждом вдохе ощущал вдох, затрудненный вдох каждого неба каждого дыхания. Сколько их, таких вдохов, прошли незамеченными, были растрячены впустую, хотя каждый нес каплю росы бесконечности душе и чувствам; каждый вдох каждого из девяти небес был каплей росы вечности, святостью, без которой мы не живем, хотя мехи наших легких бессознательно всасывают и выдувают воздух, а всего лишь существуем, не замечая пути к спасению, света и чуда, бесконечно раскрывающегося перед нами.

Сколько еще дыхания осталось ему на этой земле? Он не мог просто вслушиваться в проходящее через него дыхание, не мог просто наслаждаться его росой и течением его бесконечности.

Что бы ни случилось, дыхание будет его судьбой. Что бы ни случилось, на нем не будет больше бремени выкованных им самим оков упрямства и своеолия, от которых он избавился могучим освобождающим ударом мягкого дыхания того спасительного, что жило в нем. Что бы ни случилось, теперь с ним пребудет дыхание Господа, дыхание ветров, которому он предаст себя и которое унесет его ввысь или вниз, вознесет в рай или

низвергнет в ад, к свету и во мрак, а может быть, забросит в неведомые земли или откроет новые судьбы.

Он оперся одной рукой о холодный розовый камень саркофага, сжал другой свою крепкую палку из ветви клена и поднялся.

Да. Пусть будет что будет. Он знал, что будет спасен тем, что исторгнет из себя, но не знал, какова природа этого спасения. В памяти всплыли его собственные слова.

Selva, salve; selvaggio, salvagia. Даже слова звучали схоже. Как показательно, что он смог обрести спасение на закате жизни.

Желая помолиться, поэт вошел в базилику Сан-Витале.

Никогда и нигде не встречал он такой красоты, как красота созданной здесь душой, глазами и руками человека мозаичной картины. Несколько лет назад, впервые вступив под свод базилики, освещенной зажженными свечами, он был настолько поражен и ослеплен сиянием мириад радужных осколков, отражавших блеск мириад солнц, что даже не смог среди всего сияния и блеска различить отдельные фигуры и формы. С тех пор прошло много времени, и он хорошо узнал эти фигуры и формы и все равно не переставал удивляться неописуемым оттенкам мозаичных ячеек, тому мягкому, незаметному, неуловимому переходу розового в белое или нежноголубого в темно-зеленое. Если каждое слово имело число и значение, то их имел и каждый оттенок, и как каждое дыхание поэзии обладало собственным цветом, так и каждый оттенок цвета обладал собственным поэтическим звучанием.

Для него оставалось загадкой, как эти бесчисленные ячейки величественной мозаики могли быть рождены тем же святым духом, который был первовидителем его собственных видений; он приходил к смирению, слу-

шая их неумолчные неуловимые ухом голоса, их слаженный хор бесконечных переливов и переходов, поющих о том, о чём пел еще поэт Экклезиаста, о том, что рано или поздно приводит на колени и мудреца, и младенца, о том, что в самом конце звучит над каждой могилой шепотом общего для всех ветра: *нет ничего нового под солнцем.*

Услышав эти слова внутри себя, он опустился на колени, оглядывая окружающую его красоту, освещенную другой красотой, красотой более великой и не принадлежащей никому из людей.

Кража послужила скрепляющим раствором в его трудах. Но он всегда ощущал в себе девственную силу, от которой родилось его первое видение. В той силе он был уверен, и ею он со злорадством гордился. Звери его книги служили доказательством этой силы, мистическим свидетельством ее тайны. Однако же здесь, вокруг него и над ним, были и звери, и книги, и проявления тайных сил, которые, как и в его поэме, вели к звездному куполу Небес. Они, как тяжкий молот мудрости Экклезиаста, обращали в прах все его глупые и дерзкие надежды на создание чего-то нового. *La vita nuova* существует лишь до той поры, пока человек не осознает, что есть только *vita*. *Lo stil nuovo*, выкованный силой поэзии, нов, лишь пока новы море, ветер и звезды. Вся красота — лишь красота *stilo aeterno*.

Как его видение вело к Богу, так и все видения должны вести к Богу и исходить от Него. Но здесь, стоя перед Богом, каждый замирал, словно пораженный молнией, потому что здесь, с небес этой церкви, разрывая все оковы человеческого представления о святом, простиралась дерзкая, как первый свет первого рассвета творения, десница Творца с выставленными пальцами — указательным и мизинцем, — обозначающими знак *la mano согнута*.

Он начал шептать слова «Отче наш», но потом остановился и, закрыв глаза, позволил себе лишь дышать, давая выход словам, которые могли быть в нем. Слов не было, и это обрадовало его. Вздох за вздохом вырывались из него, и в конце концов само дыхание стало молитвой. И в тот миг, когда дыхание и молитва сделались единственным и бессловесным, то, что было в нем, познало экстаз подчинения, и он познал преображение.



В Париже я сразу отправился на богом забытую рю Денуаэз, что в двадцатом округе. Наступила ночь. Рю Денуаэз. Произнесите слова быстро, нечетко и небрежно, как говорят здесь, в этом темном, запущенном районе, где обитают пропащие, безымянные североафриканские тени. Произнесите эти слова, и, может быть, у вас получится рю де Нуаэз.

Улица Утопленников.

Да, это улица утопленников, тех, кто лишился последней надежды, кто предпочел стать ничем, кто ползет, крадется или шатко бредет, прижимая к себе или прижимаясь к изящной бутылочке «Буха Бокобса», *eau-de-vie de figue*, прозрачного, крепкого тунисского напитка из фиников, который медленно и безжалостно топит их.

Я давно не чувствовал себя в безопасности. Не мог чувствовать себя в безопасности. Куда бы я ни пошел — в глазах незнакомца, попросившего прикурить, во взгляде праздно шатавшегося забулдыги, в жесте прохожего или притормозившем автомобиле, — везде и во всем мне виделась смерть. Я уже не отличал безопасность от опасности. Оставалась одна надежда — спрятаться.

На рю Денуаэз опасно было все. Но там, по крайней мере, не нужно скрываться, потому что все скрыто мрачным утопающим миром самой рю Денуаэз.

В конце улицы, подальше от скученных притонов, где люди вгоняют себя в ступор и льют кровь, где продаётся финиковый напиток и бешеные выкрики звучат так же громко, как записи завываний дервишей, разносящихся в густом, насыщенном зловониями человече-

ских тел воздухе, есть отель «Денуаэз»: ночлежка утопленников.

Я поселился там. Оставлять рукопись в этой вонючей мрачной дыре с прогнившими дверьми и стенами, с крысами, пьяными арабами и обкуренными тунисцами, то ли трахающими, то ли убивающими друг друга — определить было невозможно — в соседних комнатах, было бы безумием.

Наступило утро. Я отнес рукопись, документы и справки, все, что могло служить средством идентификации меня лично, в банк в седьмом округе и положил в сейф.

Потом вернулся на улицу Утопленников; идея заключалась в том, чтобы затаиться там. Но меня увлекла волна, погубившая многих.

Не знаю, сколько дней я шатался между шумными притонами и мрачной вонючей ночлежкой, накачиваясь финиковой водкой и изрыгая свою блевотину на засохшую блевотину других, тонущих и утонувших. Искаженные лица, неразборчивые слова... Я не знал, с чем подходили ко мне люди, с проклятием или приветом. Один плонул на крест, висевший у меня на шее. Я плонул ему в лицо, он закричал, и я закричал. Мы тонули, не прекращая драться.

Я чувствовал горькую вонь диабетического кеатоцидоза: кетоны просачивались через закупоренные поры.

Я не хотел такой смерти.

Я долго лежал в холодном поту, дрожа и хватая ртом воздух. Приступ миновал. Болезнь отпустила меня через несколько дней.

Я оставил за собой комнату в ночлежке утопленников, но снял другую, в небольшом, настоящем отеле на рю де Монталанбер, неподалеку от банка, где хранилась рукопись. Я купил хороший костюм, привел себя в порядок и поехал в аэропорт.



Друг и патрон улыбнулся, увидев его однажды утром серого и тихого летнего дня.

— Увы, — сказал он тоном актера, играющего комическую роль, — он все же жив и дышит.

— Вот именно.

Друг и патрон сменил тон комика на свой привычный, хотя и сохранил сухую насмешливость.

— Полагаю, ваша добрая женушка собиралась снять с вас мерку для гроба.

Поэт опустился в большое кресло, сиденье которого было обтянуто синим бархатом.

Два коротких слова, произнесенных поэтом необыкновенно серьезным голосом, не соответствовавшим шутливому приветствию, несколько обеспокоили его друга и патрона. Эти два слова и сопутствовавшее им выражение странной торжественности и спокойствия, как и вызванное поэтом чувство неясного беспокойства и ощущение некоей пугающей необычности, произвели эффект камешка, упавшего в ясную, застывшую воду пруда: он едва всколыхнул чистую гладь, но от места его падения разошлись концентрические все увеличивающиеся круги. Каждое движение — медленное опускание в кресло, перекладывание палки из одной руки в другую, скрещение ног, неспешный вдох дегустатора, пробующего воздух на вкус, как будто то, чем дышал он, отличалось от того, чем дышал остальной мир, и сопровождающая каждое движение неподвижность казались проявлением не-

коей внутренней концентрации, воспринимаемой лишь при полной безмятежности чувств.

Поэт отказался от предложенного ароматного, со специями вина, отказался мягко, спокойным жестом руки, тихой благодарной улыбкой и коротким опусканием глаз.

Друг и патрон поэта испытал странное чувство: гость был здесь, и в то же время его как будто не было, как будто на его зов явился не сам человек, а его дух, призрак. «Мой друг по-прежнему в постели и в этот самый момент умирает. Здесь, передо мной, сидит привидение, посланное для последнего прощания, пока душа еще не покинула тело». Но нет, его гость был настоящий, целый и во плоти, но при этом непонятным образом изменившийся, другой, незнакомый. От суровой непреклонности, мрачной угрюмости, душевной тягостности не осталось и следа.

Возможно, великий труд наконец-то завершен. Тогда его присутствие было бы понятно, пусть даже такое непривычно и тревожно странное. Но нет, он отказался от вина, и в руках у него не было ни сумки, ни свертка, ничего, что могло бы содержать листы законченной поэмы. Он не принес ничего, кроме собственного тела, палки и ощущения неестественности.

- Как идут дела? Как поэма?
- Я живу и дышу ею.
- Хорошо, — напряженно произнес друг и патрон, принимая тон человека, готового поговорить о загадке, ответ на которую он еще обдумывает.
- Действительно хорошо, — сказал поэт.
- Ее уже ждут писец и рубрикатор.
- Люди более и менее великие ожидали вещи более и менее великие.

Друг и патрон налил и выпил доброго, душистого вина.

— Но после тринадцатой песни «Рая» не было больше ничего.

— Было многое. Многие умерли, многие родились. Души переносились с одного ветра на другой. Волны морей бились о скалы, и созвездия двигались по небу. Тайное становилось явным, и явное становилось тайным. То, что внутри нас, разрушалось, и то, что внутри нас, спасало.

Обо всем этом поэт говорил легко, будто ведя обычную беседу, и в то же время так, словно разговаривал сам с собой, пребывая в трансе. Похоже, он собирался продолжать в том же духе и дальше, когда, закончив одно предложение и делая вдох, чтобы начать другое, опустил глаза на свою правую руку, лежавшую у него на колене. Некоторое время поэт смотрел на нее, потом изобразил пальцами *mano cornuta* и, глядя в глаза своему другу и патрону, поднял руку и направил два торчащих пальца ему в лицо. Застигнутый врасплох и не зная, как реагировать на столь неспровоцированное оскорбление, друг и патрон успел лишь рассердиться, так как поэт тут же заговорил снова, словно продолжая беспечную беседу и одновременно пребывая где-то еще.

— Вы не знаете, кто изобразил руку Господа в базилике?

— По-моему, это был какой-то ремесленник одного из наших сумасшедших епископов, человек, заплутавший на пути от языческого проклятия к священному христианскому образу. — Патрон раздраженно вздохнул. — А почему вы спрашиваете?

Поэт равнодушно пожал плечами, разглядывая оскорбительно неуместную фигуру, сложенную пальцами его правой руки, как будто в ней крылся некий непонятный смысл.

Его друг и патрон в раздражении отвел взгляд. Поэт же между тем разжал пальцы и вновь положил ладонь

на колено. Друг и патрон снова посмотрел на гостя и смотрел до тех пор, пока не увидел опять того, кем восхищался и к кому испытывал глубочайшую привязанность.

— Вы говорите о руке и образе. Как вам известно, наш друг Джотто согласился иллюстрировать мою книгу собственными рисунками.

— Он молодец, наш Джотто. Видели ли вы его работы для часовни Скровеньи в Падуе?

— Слышал, что они замечательные.

— Совершенно замечательные. *L'invidia*, — медленно произнес поэт, растягивая последний гласный звук в *ah*, как это делал старый еврей, и затем, поднеся к нижней губе большой и указательный пальцы, оттянул ее и медленно отнес кисть от лица, покачивая ею в подражание движениям змеи, выходящей изо рта, как изобразил это Джотто. — В картинах на стенах той часовни каждый аспект человечности нашел совершенный лик и совершенную форму. — Он сделал паузу. — Да. Все куплено на золото Скровеньи. Похоже, в последнее время деньги ростовщиков успешно служат прославлению Господа.

— Мы договорились о комиссии. Но он склонен начать работу лишь после того, как вся поэма целиком будет у него в руках.

Поэт медленно кивнул, как будто разделяя неудовольствие и огорчение своего друга и патрона.

— Сочинение поэзии, как ни грустно это признать, не то же самое, что выпечка хлеба, — тихо сказал он. — Невозможно просто так опустить монету и тут же получить свою буханку.

Лицо его друга и патрона болезненно скривилось.

— Аналогии, дающиеся вам с такой легкостью, представляются мне неблагодарными. Мне с самого начала нравилась ваша поэма, и я всячески старался облегчить ваше мирское бремя посредством назначений и пожертв-

вований, облегчавших мой кошелек и утяжелявших ваш, единственно ради расцвета вашего великого дара. Если переложить эти отношения на грубо рыночный лад, то скажите, где же моя доля? Мир получит вашу поэму, а я не какой-нибудь жалкий *stationario*, чтобы торговать на улице убого сделанными рукописями в фальшивых переплетах и наживаться на этом, тогда как вы ничего не получите за свой труд. Я желаю лишь, чтобы эта прекраснейшая поэма распустилась в полную силу и чтобы прекраснейшая из книг, созданная за мой счет, оказалась моим владением. Возможно, вы и Вергилий нашего языка, но сейчас не век Августа. Покровители поэзии не слетаются на стихи, как мухи на мед. Поверьте, я не шучу, когда говорю, что уже многие объявили меня сумасшедшим, узнав о моем желании и моих расходах. И вот что я всем им говорю: он мой друг, и труд его будет тем же для духа этого мира, чем для вас и для меня золото, а потому я с радостью даю тому, кто совершает сей труд, жалкие крупицы этого золота.

Наступила тишина. Вдалеке запела птица, и казалось, только ее голос нарушал покой мира. Когда птица умолкла, заговорил поэт:

— И вы тоже мой друг. Я сожалею о невпопад брошенных словах, которые так сильно задели вас. И сожалею о том, что подвел вас.

Его друг и патрон качнул головой, как бы в подтверждение того, что промелькнуло в их словах и их молчании, промелькнуло, но ушло, неопределенное и непонятое.

— Раз уж мы говорим, — негромко продолжал поэт, — как друзья, то позволительно ли мне обратиться к вашей искренности?

Свет в выжидательном взгляде его друга и патрона был ему ответом.

— Было ли в моем труде что-то такое, что доставило нечестивое удовольствие?

Свет в глазах его друга и патрона померк и вспыхнул снова: голова опять качнулась в знак подтверждения.

— Да, мне было приятно, что вы поместили в ад мою покойную тетушку Франческу. Она причинила этой семье немало горя и стыда.

— А вам никогда не приходило в голову, что я, может быть, сделал это из нечистых побуждений, желая добиться вашего расположения?

— Да, я думал об этом. А теперь позвольте мне обратиться к вашей откровенности. Вы действительно написали так по этой причине?

— Разрази меня Господь, если я солгу, но, по правде говоря, я уже не помню.

И снова легкий кивок. Потом друг и патрон помолчал и заговорил уже громче:

— Достаточно о Боге. Достаточно о правде.— Он поднялся и подошел к шкатулке орехового дерева, стоявшей на невысоком, длинном шкафчике еще более старого и темного от времени дерева.— Подойдите.

Поэт встал рядом, и тогда его друг и патрон снял ловко подогнанную крышку с ореховой шкатулки и развернул муслиновые складки свертка, под которым обнаружилась стопка листов прекраснейшего пергамента. Взяв верхний, друг и патрон поднял его к свету. Будучи более тонким, чем листы древней книги, которую дал поэту старый еврей, этот таил в себе тот же перламутровый блеск и былангельски белым и совершенно чистым, без малейшего пятнышка или неровности.

— Знаете ли вы, как часто я поднимал этот лист к свету? Мысленным взглядом я видел большую, искусно выписанную еппе, с которой начинается поэма, *rosso scuro*, цвет, которого нет ни у одних чернил.— Он повер-

нулся к поэту, все еще держа лист против света. — Я никому не говорил об этом, но, возможно, мне удастся раздобыть старинные пурпурные чернила и прекрасный красный *tinum*. — Он опустил лист и передал его поэту, который, полюбовавшись пергаментом, осторожно вернулся сокровище в шкатулку. Друг и патрон поэта бережно закрыл крышку и ласкающе провел ладонью по стенке шкатулки. — Это редчайший материал из кожи неродившихся ягнят. Он придает особый блеск чернилам каждого цвета. Полагаю, наш друг Джотто никогда не работал с пергаментом, но его рисунки будут так же божественно великолепны, как и его фрески. Кстати, кожа для переплета тоже готова, самая лучшая бычья кожа, выдубленная по африканскому методу.

Поэт не сводил глаз с ореховой шкатулки. Сколько же животных так и не увидело свет только для того, чтобы этот ящичек наполнился тончайшими листами пергамента.

— Пожалуй, только из прозрачной кожи Беатриче времени ее девственности мог бы получиться материал более подходящий.

Поэт отвел взгляд от шкатулки и странно посмотрел на своего друга и патрона.

— Нечто подобное можно купить у африканских арабов за большие деньги, — ответил его друг и патрон. — Но мне нужно лучшее. — Он кивнул в сторону ореховой шкатулки. — Если это удовлетворит вашу жажду знаний, то знайте, что их пергамент уступает этому по качеству.

Поэт вернулся к мягкому уюту кресла. Взгляд его, как бывало уже не раз, скользнул по томам, стоявшим на полках из того же старинного темного дерева, что и шкафчик. Он представил, как «Комедия» займет свое место на одной из них.

Его друг и патрон кивнул, словно прочитав мысли гос-
тя, и сказал:

— Ваша поэма будет лежать в шкатулке из дерева
каштана, обитой золотом и подбитой бархатом, украша-
ющим то самое кресло, в котором вы сидите. Она будет
покоиться на аналое, изготовленном из того же дерева,
так что и шкатулка, и аналой будут одинаково торже-
ственны и прекрасны. Рядом с аналоем будет находить-
ся подсвечник со свечой, которую всегда можно будет
зажечь, чтобы прочитать книгу.

Будто зачарованный, слушал поэт это выражение
любви и восторга в отношении того, что еще не суще-
ствовало. Его друг и патрон, похоже, и сам подпал под
магию картины, вызванной собственными словами; оба
мужчины молча сидели в почтительном раздумье о том,
что стояло лишь перед их мысленным взором.

Когда поэт поднялся, медленно и словно собираясь
объявить, что уходит, его друг и патрон беззвучно поло-
жил на стол новенький *florino d'oro*; на испускавшем
тусклое сияние столе, сделанном из того же старого тем-
ного дерева, что и шкаф, и полки, монета выделялась
своим ярким блеском.

— На нужды либо желания.

Поэт посмотрел на монету, потом на своего друга и
патрона.

— Вы уже дали мне более чем достаточно.

Он взял палку, улыбнулся на прощание и повернулся
к арке каменного портала.

Он уже перенес ногу через порог, когда его догнал го-
лос друга и патрона:

— Я просто не понимаю. Один год на «Чистилище».
С тех пор прошло шесть лет, а «Рай» все еще не закон-
чен. Я просто не понимаю.

Поэт обернулся.

— Я тоже, — честно сказал он. — Я тоже.
Поэт задержался, надеясь, что за этими словами при-
дут другие, но слова не шли.
— Она ведь будет закончена, да?
И тогда слова пришли:
— Все со временем приходит к своему завершению.



В зале для курящих не было никого, кроме одного седовласого джентльмена с маленьkim черным виниловым чемоданчиком, красные буквы на крышке которого складывались в надпись «Европейское кардиологическое общество». Мужчина спокойно и с явным наслаждением курил, и я, не удержавшись, с улыбкой сказал, что мне нравится представляемый им образ: чемоданчик с надписью и дымящаяся сигарета во рту. Поняв, о чем идет речь, он кивнул, улыбнулся в ответ и тоном заговорщика прошептал:

— Только никому не говорите.

Оказалось, что он возвращается из Стокгольма, где выступал с приветствием перед международным конгрессом специалистов по сердечным заболеваниям. Все присутствующие на конгрессе врачи получили такие вот чемоданчики.

Наш короткий разговор близился к концу, и я поинтересовался, удалось ли ему, при всех официальных обязанностях, выкроить свободное время в Стокгольме.

— Вы там бывали когда-нибудь?

— Нет.

— Свободное время в Стокгольме то же самое, что свободное время в чистилище. Там ничего нет.

Некоторое время мы сидели молча и курили. Потом он спросил, не буду ли я против, если он на пару минут включит телевизор, чтобы посмотреть новости.

Вообще-то я был против, но возражать не стал.

И вот тогда мы увидели, как самолет «Юнайтед эр-лайнс» врезается в одну из башен-уродин в центре Манхэттена.

Мы недоверчиво переглянулись, однако уже в следующую секунду поняли все без слов. Аллах явил свою волю и свой гнев.

— Летайте самолетами «Юнайтед», — сказал я.

Черные клубы курящегося разрушения заволокли небо. На наших глазах второй самолет поразил цель. Тогда доктор заговорил, медленно кивая в знак подтверждения наступления нового века, свидетелями чего мы только что стали:

— По крайней мере, утешает уже то, что власти в своей заботе и мудрости защитили тех невинных от опасностей вдыхания продуктов горения.

Он закурил еще одну сигарету и снова покачал головой, но теперь уже отрицательно.

— Добро пожаловать в апокалипсис. Здесь не курят.

Луи, ангелу смерти, это бы понравилось. Гибель в огне.

Те звуки на фоне скребущихся крыс в ночлежке утопленников: крики пьяных арабов и то ли трахающихся, то ли убивающих друг друга обкуренных тунисцев — определить невозможно — в соседних комнатах. Звуки монотеизма.

Бум, бум, бум. Звуки монотеизма.

Монотеизм. Корень всего зла.

Отбросив язычество, отказавшись от богов и расщепив священное на всемогущих, человек выбрал, вознес и принял под разными именами и обличьями давно уснувшего Эниалиона, критского бога войны и разрушения, ступив, пользуясь словами Уильяма Блейка, на путь самоуничтожения.

Эниалион. *Ad nihil. Аннигиляция. Уничтожение.*

Искусственные рождания одного настоящего, истинного Бога дали начало смертельной болезни, чумы

Эниалиона: ψῦχθροσ смерти души. Там, где когда-то душу и небо пронизывала теофания, теперь поднимался, пронизывая умершие душу и небо, черный дым уничтожения.

Существуют виды животных, убивающих себе подобных ради пропитания или в борьбе за территорию. Но именно патология религий сделала человека самым противоестественным, ужасным, самоуничтожительным из всех видов. Люди воевали всегда: ища в войнах милости богов. Но они не воевали во имя богов. Елена Троянская была дочерью Зевса и смертной женщины, однако же во время Троянской войны Зевс не встал на чью-нибудь сторону. Первыми во имя Бога Всемогущего начали убивать евреи в третьем веке до нашей эры, воюя против греков. И именно евреи приняли греческих богов. Но злом агрессии монотеизм был с самого начала, еще тогда, когда тысячу годами раньше Аменхотеп IV насилием навязал его почитавшим многих богов египтянам.

Монотеизм.

Крест, полумесяц, шестиконечная звезда. Они были всего лишь оружием за поясом Эниалиона.

Какое-то время я не мог курить, чувствуя, как напрягается палец на спусковом курке каждый раз, когда я беру в рот сигарету. Теперь я не чувствовал ничего, кроме доброй крепкой затяжки.

Зачем я убивал? Не ради какого-то гребаного, дерзкого Бога, не ради какого-то гребаного, дерзкого Аллаха, не ради какого-то гребаного, дерзкого Иисуса, мать его, Христа.

Зачем я убивал? Мне было уже наплевать.

Это уже не имело значения.

Да и никогда не имело.

Я лишь знал, что не занимаю трон Сатаны, который и трон Бога.

Так что пошло оно все!

Просто верните мне древнюю религию, настоящую древнюю религию. Положите меня с Афродитой, и пусть Дионис течет по моим жилам.

На хрен семитскую Триаду, на хрен всех сыновей Сима!

Левант — Иерусалим — вот колыбель Зверя всего сущего зла: «священный град» трех монотеистических религий.

К черту трех иерусалимских кошек и к черту Иерусалим!

Пусть многочисленные настоящие, священные боги сотрут их вместе с долбаным Иерусалимом с лица умирающей земли.

Я закуриваю, затягиваюсь, задерживаю палец на губах и ничего не чувствую. Никакого напряжения.

Несколько часов спустя я уже дрыхну на большом роскошном диване в номере 418 лондонского отеля «Риц». Просыпаюсь от ощущения чьего-то ненавязчивого присутствия. Меняющая цветы горничная извиняется за беспокойство. Я встаю и, подойдя к окну, раздвигаю тонкие и легкие шторы на большом окне, выходящем на Гринпарк. Смотрю, потом включаю телевизор. Башен-уродин уже нет.

Пытаюсь дозвониться до Мишель, она живет в Бруклине. Каждая попытка наталкивается на сигнал «занято», начинающий звучать сразу после набора кода страны или города. Только через несколько часов непрерывного набора я наконец пробиваюсь в Бруклин.

— Мишель.

— О боже, Ник!

Она в порядке, но беспокоилась из-за меня. Говорю, что цел и невредим.

— Помнишь, я звонил тебе в прошлый раз? Ты никому не говорила о том звонке?

— Нет.

— Точно?

— Точно.

— Хорошо. А теперь самое трудное. Ты знаешь, как мы всегда работали: никакой лжи и никакого обмана. Помнишь, что мы всегда говорили? В мире лжецов честность — самое сильное и самое страшное оружие. Именно она делает нас хорошими и сильными. Но теперь тебе придется сорвать ради меня. Хочу, чтобы ты сказала, что в последнее время я вел себя странно и предпочитал помалкивать.

— Где же здесь ложь?

— И еще скажи, что на сегодняшнее утро у меня была назначена встреча во Всемирном торговом центре. Скажи, что я просил тебя никому об этом не говорить. Ты решила, что у меня деловое свидание с каким-то финансистом или нечто в этом роде. Больше ты ничего не знаешь, и тебе тревожно.

Она взболтанно вздыхает.

— Зачем ты это делаешь?

— Не могу объяснить. Просто позвони Рассу и расскажи ему об этой встрече и о том, что ты беспокоишься.

— Почему бы тебе не попросить обо всем Расса? Я не умею лгать. Никогда не умела. У меня это плохо получается.

— С Рассом такое не сработает. Откуда ему знать о каких-то моих утренних встречах? Во-вторых... послушай, к черту Расса, просто сделай, как я прошу. Поверь, никто другой мне в этом деле не поможет. Только ты. Пожалуйста, сделай. Если хочешь, скажи хотя бы, что слышала, как я договаривался о встрече с кем-то в центре. И что с тех пор ты обо мне ничего не слышала.

— Это уже слишком.

— Ты сделаешь?

— Но зачем?

— Потому что мне надо быть мертвым.



Временами синьора Джемма испытывала желание умереть, а временами она знала, что уже умерла.

Но эта смерть при жизни не была желанной смертью, и все чаще и чаще, беря в руку остро заточенный нож, чтобы выпотрошить птицу или почистить рыбу, она замирала, представляя, как проводит лезвием по мягкому с голубыми прожилками вен запястью или с большей жестокостью перечеркивает основание горла.

Когда начались эти видения, эти маленькие смерти от правой руки, эти *mortiti di mano destra*?

Она была спокойным, замкнутым ребенком, но находила счастье в туманной меланхолии, предпочитая погружаться в волшебные истории, которые рассказывала или пела ей ее няня, чем петь и танцевать вместе с девочками из знатных семей. В самоуверенных, капризных выражениях их лиц и шумно-агрессивных манерах поведения этих девочек, большинство которых носили более звучные фамилии, ей виделось что-то угрожающее опасное. В то же время Джемма печалилась, встречая совсем маленьких девочек, бегавших в грязных, неряшливых платьях, но певших и плясавших без всяких ужимок и кривляний. Еще большую жалость вызывали у нее те, кто с малолетства надевал на себя ярмо ученичества или гнул спину на полях.

Только в сказках, которые рассказывала Джемме добрая няня, находила она место, чтобы поволноваться, подрожать, повеселиться, покружиться, побродить или поудивляться. В этих сказках она находила жизнь та-

кой, какой та и должна быть: где равнодушные и дерзкие получали по заслугам, где невинные душой, но обделенные судьбой обретали удачу и справедливость. В этом мире она жила с радостью и удовольствием, словно в некоей волшебной долине, где все — воздух, свет и тени — рождало лишь ненастоящую грусть, грусть, не идущую ни в какое сравнение с мрачной меланхолией грозного, опасного и несправедливого мира, который не имел права быть реальным. Там, под облаками, среди деревьев и цветов отцовского сада, созерцая льющийся с ночного неба звездный свет, слушая мягкий завораживающий голос няни, прислушиваясь к бесконечным звукам эха в себе самой, она и обитала с колыбели и до девичества.

Со временем в ее волшебный мир вошла религия.

Закон и буква были наложены на Бога, жившего в деревьях, облаках, цветах и звездном небе, в мягких наставлениях няни и бесконечных звуках эха в ней самой.

Однажды, забрав свою воспитанницу со скамьи знаний, добрая женщина, знавшая девочку лучше, чем знали ее мать, отец или кто-либо еще, заметила в ней знаки глубокого волнения и внутренней угнетенности.

— Что случилось с вами, моя госпожа?

Девочка упрямо и долго отказывалась признавать и волнение, и угнетенность, и лишь когда мудрая служанка прекратила расспросы, ее подопечная после некоторого молчания освободилась от легшего на душу бремени.

— Если Бог, будучи Богом, может вечно пребывать в бесконечной радости и счастье, недоступном нам даже в мечтах, то почему Он должен быть таким строгим и угрюмым?

— Это то, моя дорогая, о чем вы никогда не должны спрашивать братьев ордена.

Маленькой Джемме показалось, что няня подтвердила самые худшие ее страхи. Опустив голову, ставшую теперь такой же тяжелой, как и сердце, она тихонько сказала:

— Я согрешила.

Добрая няня шутливо потянула девочку за руку, и их глаза встретились.

— Нет,— с мягкой улыбкой сказала женщина.— Вы не согрешили. Просто дело в том, что Бог у каждого та-ков, каким мы Его видим. Братья ордена, будучи людьми строгими и угрюмыми, видят и Его строгим и угрюмым. Вы, будучи ребенком радости, видите Бога таким, каков Он в действительности. Вам нужно всегда видеть Его таким, и тогда Он никогда не будет другим.

Ваше счастье наполняет счастьем сердце Иисуса, которому не нравится, когда люди страдают так, как страдал Он. Давным-давно Он в радости отбросил терновый венец. Строгие и угрюмые, живущие между нами, похожи на тех, кто возложил этот венец на Него, и им хочется, чтобы Он никогда его не снимал.

— Тогда почему я не должна задавать этот вопрос, если в вопросе нет греха?

— Потому что те, кто строг и угрюм, позавидуют вам, как завидуют птицам, порхающим на воле и воспевающим Господа.

Ей снова стало легко и хорошо, и Бог снова был в про-низанном лучами солнца воздухе, как был Он и в ней самой, и девочка чувствовала, что так будет всегда, как всегда будет ее рука в руке доброй няни, как всегда будет это мягкое, нежное утро.

— Давай и мы споем.

— Мы не можем петь, как птицы, поэтому давай споем нашу песенку.

— Да, да! «Малиновка вдали от дома»!

Она хотела, чтобы не было конца ни песне, ни сказке и чтобы добрая няня, которая не умела ни читать, ни писать, оставалась ее наставницей. Научившись не задавать братьям никаких вопросов, кроме тех, на которые у них всегда были заготовлены ответы, девочка преуспела в арифметике, риторике, грамматике и прочих унылых и строгих способах познания Бога, одновременно познавая то же самое, но в куда более интересной форме вместе со своей служанкой, чьи песни и рассказы, в стихах и прозе, несли чудесный свет Бога, где числа открывались в игре белок и дроздов, а риторика принимала самую чистую и прекрасную форму.

Цель обучения состояла в подготовке будущей дамы, госпожи, а потому и обучение, например латыни, продолжалось ровно столько, сколько это считалось достаточным. Но латынь привела девочку к восхитительным басням Эзопа, и снова Джемма и ее няня, как две сестры, оказались вместе в волшебном мире, где могли делиться друг с другом тем, что одна только что узнала, а другая еще помнила. Когда юная госпожа дошла до басни о лице, то первым делом поспешила к своей доброй няне с удивительным открытием: она уже слышала от нее эту самую сказку. Еще больше девочку восхитило то, что мудрость Эзопа расцвела в саду размышлений той, которая не умела ни читать, ни писать. После случившегося Джемма, пожалуй, не удивилась бы, узнав, что добрая неграмотная служанка, сама того не ведая, пересказала ей — в более приятной форме — основы учения Аристотеля.

Именно магия Эзопа увела ее в те глубины латыни, которые вовсе не предназначались для будущей дамы, и вскоре Джемма уже декламировала перед няней стихи Горация, Вергилия и Овидия.

Она наслаждалась придворной музыкой того времени, столь прекрасно соединявшей ритм с песней. Однажды

во Флоренцию пришла труппа артистов из Прованса. Джемма не поняла ни одного слова из того, что пелось. Но еще никогда в жизни не слышала она такого очаровательного звучания. И никогда еще не видела, как мужчины труппы почтительно отступают перед выходившими вперед женщинами труппы, которые пели так восхитительно чисто. Хотя Джемма не понимала слов, голоса этих женщин и нежный перебор струн передавали понятный ей смысл: эти люди обладали другой, новой для нее магией.

Мужчины, владевшие этой другой, новой магией, как она узнала позднее, назывались трубадурами, а женщины, тоже владевшие этой другой, новой магией, назывались трубадурками. Узнала она и то, что этой другой, новой магии было уже более ста лет и что называли ее *fin' amors*: настоящая и искренняя любовь, великая чистая сила и великая страсть. Эта любовь жила в земле трубадуров и трубадурок и была самым прекрасным, что может случиться между дамой и кавалером.



Иду в «Ланганс». Суп с огурцом и сыром стилтон.
Стейк с яичницей и поджаренными колечками лука.

Хороший зеленый салат. Большая бутылка воды и
бокал вина.

Я живу.

Или умираю.

Ну и ладно.

Я покинул Соединенные Штаты под чужой фамилией. Среди разрозненных, обожженных останков тысяч погибших в том новоявленном аду им никогда не удастся сложить кусочки, чтобы понять, кто есть кто.

Я — фрагмент неидентифицированного коренного зуба.

Я — Ойтис.

Я — никто.

Я — мертвец.



Он позавтракал на постоянном дворе и, положив в сумку абрикос, отправился на старое кладбище. Там он опустился на траву под огромным вязом, стоявшим в самом сердце кладбища. Прислонившись к старой, толстой коре могучего дерева, устроился удобнее между выпирающими из-под земли корнями — некоторые из них были толще его самого.

Интересно, подумал он, что появилось раньше, кладбище или этот вяз? Несомненно, чтобы достичь таких размеров, дереву понадобилось несколько сотен лет. Но так же несомненно было и то, что большая часть окружавших вяз надгробий пролежала здесь не одно столетие, так что стихии природы успели стереть с их поверхности почти все следы сделанных когда-то надписей. Некоторые из каменных плит, похоже, сместились, сдвинулись, вздыбились и накренились из-за разросшихся во всех направлениях корней.

Неподалеку, склонившись влево, стоял старинный могильный камень. Поэт тоже склонил голову под склонившим углом и увидел, как на камень уселась маленькая птичка.

Он представил надгробия на могилах отца и матери на флорентийском кладбище.

Попытался вспомнить прикосновение матери, но не смог.

Он был слишком мал, когда появилась мачеха.

Поэт вспомнил, как его губы коснулись холодного, немного сырого лба умершего отца. «Мертвый не холод-

нее, чем при жизни». В юности ему нравилось повторять эти слова, но, конечно, то была жалкая ложь. Мертвцы всегда холоднее живых.

И все же нельзя отрицать, что его отец обладал некоторой холодностью темперамента. И, да,— он поймал себя на том, что бесстрастно кивает накренившемуся надгробию,— та же холодность натуры присуща и ему самому.

Может ли быть, что такая холодность присутствует в крови поколений? Может ли наступить зачатие от холодного семени?

Он снова кивнул покосившемуся камню. Глаза оставались пусты, но на лице появилось выражение, и то было выражение прямодушия, которым он встречал поднимавшиеся мысли.

Да, конечно, поэт клал цветы на могилы, делал это на глазах у всего города. Да и сама его поэзия сводилась к возложению милых цветов на могилу того, что тайно умерло в нем. Его слова, чудные цветы его слов воспевали любовь, милосердие, божественность, но песня самой жизни звучала совсем иначе.

В памяти осталось лицо умершего отца: широко открытые глаза, отвалившаяся челюсть, как будто в момент ухода из жизни он познал неведомый ужас.

Перед ним появились другие лица, лица его жены и детей: на первом — холодное выражение печали, на других оно же, но только их печаль была иной, рожденной скорее не внутренним холодом, а холодом внешним. Может быть, он, унаследовав порок отца, неким образом передал его детям?

А может, семя поколений изменило и девичий темперамент его жены? Поэт снова бесстрастно кивнул могильному камню. Да, вот уж что достойно удивления, так это сама природа с ее самыми коварными, самыми непредсказуемыми поворотами судьбы, в особенности теми,

которые относятся к загадкам рода человеческого. Да, дыхание спасения вынесло правду о том, что любовь и страсть, обитавшие в малом количестве внутри его, оказались растряченными на красивые слова. Как взгляд его обратился к звездам, так и чувства обратились лишь к тому, что было далеко, недоступно, недосягаемо. А что это такое, пусть оно и носит имя любви, если не еще одна слабость природы? Святой Иоанн, преисполненный любовью, лег с отвратительным прокаженным, чтобы согреть и утешить его. Сам же поэт едва не спрятался от вполне земной женщины, дабы не обнаружить в ней малейшее несовершенство, пятно божественного Творца на белоснежной коже и чистой душе.

Нет, он никогда не любил, как и не дышал по-настоящему до самого последнего времени. Небеса безграничности являлись все реже, потому что он никогда не пытался ухватить миг их прихода. А любил ли кто-то по-настоящему, если не считать мудрецов, или святых, или, что уж совсем редкость, тех, в ком мудрец уживается со святым?

Он вдохнул воздух и в этот прекрасный миг почувствовал в себе любовь: к укрывающим от солнца листьям над головой, к траве вокруг и к умершим, покоящимся под ним. И, почувствовав в себе любовь, помолился о том, чтобы она распространилась из него на весь мир, вверх, в стороны и вниз.

В разрыве серого появилось солнце, и его мягкий свет, пройдя меж густой листвой и ветвями, упал на поэта яркими пятнами. Он достал из мятой сумки абрикос и залюбовался игрой света на его кожице, золотистой нежности одного на золотистой мякоти другого. *Apricus*, самое прекрасное и тонкое из всех латинских слов для обозначения света природы.

На вкус абрикос оказался таким же восхитительным, как и на вид. Наслаждаясь его мякотью, поэт размыши-

лял об истертых временем надгробных камнях, их разнообразных углах наклона, вызванного подземным распространением мощи великого дерева. Наверняка, думал он, корни вяза проникли в гробы мертвцевов, а потом их хваткая, упорная сила проникла дальше через труху тлена, и следовательно, корни проникли в самих мертвцевов.

Ища утоления жажды во всей той влаге, что просочилась под землю, эти корни должны были питаться в том числе и влагой мертвых, впитывая как непосредственно жидкые продукты гниения, так и те элементы, которые уже вошли в состав окружающей подземной жидкости. Таким образом, как становится ясно, осадок умерших попадал в живое дерево, становясь его сущностью, входя в его состав. Получалось, что мертвцы продолжали жить и частички умершего посредством дерева транссубстанцировались в живое, получая новое существование в иной, вибрирующей, цветущей форме.

Поэт поднял упавший лист и подивился его совершенству. Те, давно умершие и упокоившиеся на этой земле, вошли в его тонкие прожилки, а когда-нибудь и сам лист тоже станет сырой субстанцией, и все продолжится: каждый атом обретет новую жизнь, как каждый выдох одного становится вдохом другого, и этому нет конца. Тот, кто еще не родился, сможет дышать дыханием Христа, а потом, когда отведенное ему на этой земле время дыхания истечет, он, может быть, вернется к жизни весенней почкой.

Сладкая мякоть абрикоса закончилась, вошла в него, и поэт начал сосать косточку, оказавшуюся в высшей степени вкусной. Посасывая ее, он продолжал размышлять.

Что, если бы огромное дерево, под которым он сидит, давало плоды? Тогда можно было бы по-настоящему есть плоть умерших, поглощать атомы их тлена, содер-

жавшиеся в зрелой, сладкой мякоти плодов. Что, если бы ставший частью его абрикос был сорван с какого-нибудь дерева, растущего где-то на холме, служащем семейным кладбищем? Тогда и мертвые, живущие в коре, древесине и листьях, а также в плоде, стали бы частью его самого; тогда и косточка, лежащая у него во рту, могла бы, упав на подходящее место, со временем стать питательным веществом для корней вяза, а значит, и мертвцы, живущие в ней, обрели бы еще одну жизнь. Значит, те, кто жил и умер вдалеке отсюда, могли бы через косточку и через него смещаться, соединяться с мертвцами иных времен и мест. И так продолжалось бы бесконечно, пока плоды появляются на ветках и съедаются, пока их мельчайшие семена разносятся в воздухе, завещанном мертвыми живым.

— О, если бы моя возлюбленная, — вслух подумал он, проверяя ритм и размер фразы, повторяя ее шепотом еще и еще раз, — о, если бы моя возлюбленная нашла вечный покой под яблоневым деревом; о, если бы она уснула под яблоней, тогда я мог бы вечно вкушать ее сладость. *Meletta. Eternitá.*

Поэт выплюнул косточку на ладонь и бросил ее к накренившемуся надгробию.

Хватит. Довольно стихов. Довольно лжи о любви. Довольно воспоминаний.

Он с отвращением покачал головой и закрыл глаза. Потом вдохнул, глубоко и решительно. Потом стал просто дышать.



Звоню Джульетте, чтобы встретила меня в Лондоне, и называю имя, под которым я зарегистрирован в отеле «Риц».

— Не могу объяснить. Просто приезжай как можно быстрее. И привези двадцать тысяч из того телеграфного перевода.

Иду в клуб «Риц», хотя этого мне делать не следует. Я не был здесь почти год. Гостиничные клерки и консьержи не запоминают нечастых гостей: они просто проверяют предыдущую регистрацию и притворяются, что помнят. Управляющие казино — люди совсем другие. Они запоминают. Но мне хотелось играть. Так что к черту все!

— Добро пожаловать, мистер Тошес. Так приятно вас видеть. Давно не были.

— Приятно вернуться.

Парень помнит мое лицо и имя. Я помню только его лицо. Он один за столом этого приятного, по-старомодному роскошного заведения. Мы пожимаем друг другу руки, и я передаю ему несколько сложенных банкнот по пятьдесят фунтов.

— Хотелось бы обойтись без формальностей.

— Конечно, конечно. Присутствие такого джентльмена, как вы, примечательно отнюдь не подписью в регистрационной книге и не предъявлением членской карточки.

Джентльмен. Да уж.

Я проигрываю семь тысяч фунтов в блек-джек и остаюсь с двумя последними розовыми сотенными фишками.

К этому времени у меня уже нет сомнений, что Джульетта исчезла вместе с моими деньгами.

Я выхожу с тремя запечатанными пластиковыми пакетами по пять тысяч фунтов каждый.

Может быть, она все же любит меня.

— Спокойной ночи, сэр.

Да, вот настоящий джентльмен. Я понимающие и одобрительно подмигиваю и передаю ему еще сотню фунтов за проявленную сообразительность — мое имя не названо.

Засыпаю, положив руку между ног, мечтая о милой Джульетте — у нее подесять тысяч в каждой руке и шикарный нейлон на ногах.

Утром меня подстригают и бреют в «Тэйлор» на старой Бонд-стрит.

Отдел рукописей, Британская библиотека, Юстон-роуд. В кабине доктора Сюзанны Пуличе приятная тишина и покой. У нее чудесный итальянский акцент, наводящий на мысли о Джульетте и вообще о прекрасном.

— Вы заинтриговали меня, — говорит она. — Исчезновение всех автографов Данте занимает меня еще с университетских времен. Я часто задавала себе вопрос, как такое могло случиться и действительно случилось.

— И вы упомянули о своих чувствах в отношении возможного обнаружения какой-либо рукописи.

— Да. Считаю, это было бы открытие величайшей, почти невообразимой важности. Но и в высшей степени спорное. Такая рукопись стала бы серьезным вызовом даже для лучших итальянских ученых и палеографов, к которым я испытываю большое уважение. Мне известны по меньшей мере четыре прекрасных специалиста, к которым я бы, несомненно, обратилась.

Она называет несколько имен: одни я знаю, другие нет: Мирелла Феррари из Католического университета в Милане, Стефано Дзампони и Тереза де Робертис из Университета Флоренции, Армандо Петруччи из Пизы.

— Мое личное мнение таково, что рукопись Данте, даже самая маленькая, даже обрывок, стала бы настоящим сокровищем для каждого института, музея и частного коллекционера. Кураторы и коллекционеры всегда мечтали приобрести такую рукопись. Определить денежную стоимость подобной вещи очень трудно, так как стоимость зависела бы от многих факторов.

Она снова называет имена: Питер Кидд, глава департамента западных рукописей «Сотбис», Лондон; Кристофер де Хомел, бывший глава, а ныне консультант департамента западных рукописей «Сотбис», Лондон; главный библиотекарь Паркеровской библиотеки колледжа Тела Христова, Кембридж.

— Только вот удостоверить почерк Данте невозможно, потому что нет образца для сравнения.

— Да, — говорю я. — Если не ошибаюсь, не сохранилось ничего, кроме одного указания по поводу его почерка. Никколо Никколи, в «Dialogi ad Petrum Histrum» Леонардо Бруни, через восемьдесят лет после смерти Данте.

Я открываю верхний кожаный чемоданчик, вытаскиваю страничку бумаги и зачитываю слова Никколо Никколи:

— «Недавно я прочел несколько его писем, написанных, похоже, очень тщательно, потому что я узнал его почерк и его печать. Но, клянусь Геркулесом, грамотному человеку стыдно писать настолько неуклюже».

— Его печать, — задумчиво произносит она. — Да, это, несомненно, было бы чудом.

Я говорю языком геральдики.

— На светлом или темном поле *fesse argent*.

— Откуда вы это знаете? — спрашивает она.

— Оттуда, что оттиск печати стоит на последней странице рукописи «Ада», над подписью поэта. Он частично закрывает слова «tondo» и «stelle».

Я снова тянусь к черному чемоданчику и кладу перед ней папку с копиями лабораторных тестов, копией письма Фабриано и копиями листов рукописи, прошедших полный анализ.

Она изучает бумаги. Я отвожу глаза, но снова поворачиваюсь к ней, услышав слабый шепот, шепот с оттенком восклицания:

— Боже мой! О господи!

Она смотрит на меня.

— Как с вами связаться?

Я мило улыбаюсь, потому что она милейшая женщина.

— Я позовню вам.

Мы с Джульеттой гуляем по Лондону, вдыхая прохладный воздух необычайно приятного дня. Заголовки таблоидов кричат о панике, войне, Судном дне и Армагеддоне.

— Сегодня твой день, да? — говорит она.

— Что ты имеешь в виду?

— Сегодня.

— Что сегодня?

— Весь год я только и делаю, что слушаю твои рассказы о значении магических чисел в твоих безумных системах игры и каких-то сумасшедших священных днях твоего тайного календаря, а теперь ты забыл?

— Не знаю, о чем ты говоришь.

— Сегодня, — повторяет она. — Сегодня годовщина смерти Данте.



Судьба ее была открыта служанкой, когда луна впервые пометила ее возраст кровью.

— Вы расцвели, моя дорогая, и уже не ребенок боле. Это лишь первые розовые капельки женственности. Немного времени пройдет, и у вас будут собственные дети, с которыми вы, может быть, заново отправитесь в путь по землям магии и чуда. Немного времени пройдет, и крохотную ручку сожмете в своей руке, как я сжимала вашу.

А потом случилось чудо.

Вскоре после знакомства с мистическими, неземными песнями трубадуров служанка, выполняя пожелание госпожи, обратилась к ее отцу с просьбой брать для его дочери уроки французского. Спрятавшись наверху, у лестницы, девушка с замиранием сердца прислушивалась к тому, о чем говорили внизу ее служанка и ее перепуганный отец. Склонившись в поклоне с притворной почтительностью, которая должна была скрыть смелость слов, женщина говорила:

— Уже скоро она станет дамой, и, хотя ваша дочь преуспела в занятиях, мне кажется, что мы многое упустим, если не подготовим ее к будущему за пределами Флоренции и не обучим другим языкам, особенно после заключения такого многообещающего *instrumento dotale*.

Слушавшая разговор девушка подивилась странной фразе, но не успела ее обдумать.

— Знание языка, принятого при королевском дворе Франции, поможет ей освоиться в любом месте, куда

приведет дипломатическая служба. Я узнавала: такие уроки не очень дороги. Кроме того, девочка привыкла проводить много времени в мечтах, и занятия дисциплинируют ее и пойдут на пользу. Уверена, мне удастся объяснить Джемме все так, что она поймет.

Ее отец по-прежнему молчал. Уже потом девушка узнала, что он лишь рассеянно кивнул, дав служанке разрешение делать то, что она считает нужным в своей мудрости или глупости. Но в тот момент, оставаясь в полном неведении относительно исхода разговора, Джемма ощущала, как затрепыхалось сердце, и замерла, когда за молчанием отца последовали шаги поднимающейся наверх няни. Потом она увидела широкую улыбку на ее лице и предостерегающе прижатый к этой улыбке палец.

Они обе хорошо знали, что язык волшебных, неземных песен провансской труппы, так восхитившей Джемму, сколь непохож, столь и похож на любой другой язык Франции. От одной юной дамы из труппы, бегло говорившей на флорентийском, которой служанка, одетая по слухаю в лучшее платье, представила Джемму как дочь дома Донати, они услышали, что этот язык Южной Франции славится певучестью. Милая трубадурка сказала, что именно на нем более ста лет назад прозвучали при дворах аристократов первые песни истинной любви, *fin' amors*.

— Дама и поэт, — восхищенно произнесла Джемма, заглядывая в добрые, цвета вечернего моря глаза новой знакомой с чудесным голосом, перед которой отступают мужчины.

Дама и поэт улыбнулись.

— А разве сами слова *poeta* и *poesin* не женственны? И разве не женщины все музы?

— Да, верно, — обрадованно согласилась Джемма.

— А среди тех, кто создавал самые прекрасные песни древней Эллады, была женщина по имени Сафо. Красоту ее слов и звуков вернули нам арабы. Послушай, а потом я раскрою тебе красоту их значения.

Джемма закрыла глаза, отдаваясь очарованию песни. Она не стала открывать их и тогда, когда певица перевела слова.

— И еще я скажу тебе, что среди придворных поэтов моей родины, пользующихся особым и заслуженным уважением, есть Мари де Франс, которая сочиняет свои собственные стихи *fin' amors*.

— Не то что здесь, где мужчины славят дам, но, похоже, не дают им и рта раскрыть, чтобы те выразили свою благодарность.

— Ты сама видела сегодня, что мы пели вместе. Однако ты права. Когда поэты сицилийского двора Фридриха Второго начали подражать прованским поэтам, мы не обнаружили среди них ни одной женщины.

— Расскажите, какие истории сочиняют поэты во Франции.

В этот момент служанка извинилась за бесцеремонное поведение своей подопечной, но их собеседница с удовольствием постаралась удовлетворить интерес юной госпожи.

— Это истории о магии и приключениях, о дамах и рыцарях, отважно сражающихся против врагов, но нежных и обходительных в делах сердечных.

То, что случилось, можно было бы назвать полной капитуляцией взрослеющего сердца ребенка: глаза девушки широко раскрылись, губы разомкнулись, как будто она, выросшая в волшебном саду детства и едва ли когда заглядывавшая за окружавшую его каменную стену, узрела в этот миг куда более обширную и волшебную страну, лежащую за ограждением, манящую и влекущую, но пока еще недоступную.

Служанка и молодая поэтесса обменялись еще какими-то словами, сказанными полуслепотом и на ухо друг другу.

Слушая их невнимательно, созерцая открывшееся перед ней новое, будоражащее воображение пространство, она так и не поняла, хотя взгляд ее проходил прямо через них, которая из двух женщин начала этот секретный обмен, но все же уловила достаточно, чтобы по отдельным обрывкам фраз сделать некоторые выводы: речь шла о некоем господине, занимавшем довольно высокое положение; о несчастье или падении некоей госпожи; о жестокости некоего ребенка; о ней самой и том, какая она восхитительная и чудесная девочка, и еще обо всем понемногу.

Служанка закончила разговор тем, что, перейдя с заговорщического тона на свой обычный, громко и ясно произнесла:

— Что ж, тогда позвольте поблагодарить вас.
 — Мы еще увидимся? Мы еще когда-нибудь увидимся? — спросила певицу Джемма.
 — Кто знает? — ответила молодая женщина. — Когда читаешь сказку, нельзя забегать вперед, заглядывая, что будет дальше. А в сказке нашей собственной жизни мы просто лишены возможности уступить этому соблазну. Одно могу сказать с уверенностью: когда я в следующий раз подниму смычок, чтобы запеть, то вспомню вас.

Затем последовали разговор с ее отцом и его молчаливое согласие поручить дочь заботам некоей дамы, недавно побывавшей при дворе герцога Миланского.

— Я здесь, чтобы научиться языку *fin' amors*, магии и приключений, языку придворных дам и храбрейших в сражениях и нежных в обращении рыцарей.

— Я верю вам.

Так как она хорошо знала Эзопа на латыни и уже умела излагать его на простонародном итальянском, дама

сочла за лучшее начать с того же Эзопа, переложенного на простонародный французский ста годами ранее. Это помогало ей замечать, что из латыни каждый из двух языков отбросил, что переделал, а что сохранил неизменным. Кроме того, она узнала различие в музыке обоих языков, произошедших от общей музыки латыни, бывшей матерью обоих.

Последующие месяцы Джемма жила в мире *lais* Мари де Франс, в мире «*Aucassin et Nicolette*», Ланселота и Персивала, Кретьена де Труа и «*Roman de la Rose*». В конце концов ее сердце едва не разбилось, когда Изольда разразилась слезами из-за того, что не узнала Тристана в «*Folie Tristan*». Она даже дошла до «*Энеиды*», самой важной из *triade classique*, найдя очарование в октосиллабическом ритме куплетов поэмы, отдельные части которой — например, сцена с Лавинией, смотрящей из окна на палатку Энея, — глубоко тронули ее сердце.

El n'en pooit son oil torner;
Bien tost, s'ele poist voler,
Fust ele o lui el paveillon;
Ne pooit panser s'a lui non.

О, эти слова — ne pooit panser s'a lui non — «она не могла думать ни о чем, кроме него».

Кроме него. Да, когда-нибудь и у нее, как у героинь этих повестей, будет он. Джемма ложилась в постель, скрестив руки, как изображали мертвых, но лежащие на груди руки чувствовали бурлящую в ней жизнь, а закрытые глаза видели прекрасных рыцарей, вернувшихся из дальних походов; они подходили к ее ложу, один за другим, опускались на колени, почтительно склоняли голову и каждый приносил ей чудесную розу.

— Amors l'a de son dart ferue,— шептала она, ложась, словно в предвидении ожидающего ее исполнения желаний,— desi qu' el cue soz la memelle.— И пальцы шевелились, будто ощупывая пронзившую ее стрелу любви,

а далее, со вздохом: — *Ele comance a tressüer, a refroidir et a transbler.*

И снова к ней приходили слова няни, теплые и нежные, как мягкий свет рассвета, та самая *alba*, о которой пели трубадуры и трубадурки: «Вы расцвели, моя дорогая, и уже не ребенок боле».

Да, чудо и впрямь случилось. *Расцвела*. Как роза из романа; расцвела с тем, чтобы самой вступить в волшебный мир *fin' amors*, душой и телом.

— Теперь я придворная дама?

— Вскоре вы будете ею.

— А ты останешься со мной, чтобы мы могли вместе выбрать одного из тех рыцарей и принцев, что придут.

Служанка взяла юную Джемму за руку — пальцы у нее были мягкие и заботливые — и улыбнулась мягко и заботливо, как будто только для того, чтобы погасить танцующие в глазах девушки огоньки.

— Вы обречены.

При этих словах сердечко Джеммы сорвалось в опасный галоп горя, а мир стал вдруг серым и унылым, словно все ее мечты были подхвачены и унесены во мрак страшными скакунами ночи.

— Этого не может быть.

— Вы будете счастливы, дорогая Джемма, подождите и увидите сами.

От этих слов слезы наполнили глаза девушки, лицо и тело покрылись потом, ей стало холодно, и она задрожала. Служанка привлекла ее к себе, и тогда слезы хлынули бурным потоком.

Потом слезы прекратились, как бывает с ними всегда, раньше или позже. Служанка взяла ее за подбородок и заставила посмотреть на себя, чтобы Джемма увидела на ее лице спокойную улыбку.

— Я должна быть так же счастлива, как и вы, — сказала она. — Но я нашла свое счастье через вас, и будущее счастье тоже хочу найти через вас.

— Это ты принесла мне счастье, ты для меня мать больше, чем та, которая родила меня; ты моя самая дорогая старшая сестра, ты моя самая близкая подруга.

Добрая служанка вытерла ее слезы подолом платья и помогла обрести силу.

— Он рыцарь?

— Да, отважный и храбрый воин. Его ждет великая судьба, и, когда слава осенит его, рядом с ним будете стоять вы.

— Он принесет мне розу?

— В этом и многом другом можете не сомневаться. — Служанка наклонилась к самому уху Джеммы, розовому чудесному ушку, и зашептала так, как шепчутся между собой взрослые женщины: — Он пишет стихи.

И снова глаза девушки заблестели слезами — от счастья.

— По правде говоря, — продолжала, сидя на стуле, служанка, — мы обе уже не дети и знаем, что жизнь — это не сказка, положенная на музыку.

Джемма согласно кивнула, как сделала бы на ее месте любая умудренная опытом госпожа.

— Но вот что я скажу, — продолжала служанка, — то, что ждет вас, может предвещать нечто невиданное в этом мире, нечто такое, по сравнению с чем наши мечты всего лишь пустяки.

Наступило молчание. Казалось, такого молчания, разделяемого ими обеими, больше уже не будет, и они, погруженные в нежное баюканье тишины наступившего дня, сознавали это. Прошло какое-то время, и убаюкивающий покой тишины покинул воздух, но они продолжали сидеть молча. Наконец Джемма услышала слова, которые звучали странно. Словно она только слышала их. Но не произносила.

— Кто он?

— Молодой господин из знатной семьи Алигьери, и имя его по крещении Дюранте.



Служанка почувствовала, что девушка немного разочарована.

— Что такое, дорогая?

— Я видела его на празднике весны и еще несколько раз.

— Да?

— Он довольно робкий.

Служанка рассмеялась.

— Встаньте перед зеркалом, моя дорогая, и посмотрите на себя. Как говорится, тихие воды глубоки.

— И он немного похож на птицу.

— Ну, перестаньте, не будьте такой капризной. Для этого есть свое слово: *aquilino*. В нем нет ничего птичьего, но есть многое от орла. Такой же поразительно четкий профиль был у одного древнего императора. Неужели вы предпочли бы женственного красавчика? Ну же! — Она подтолкнула Джемму в бок. — Признайтесь, что он привлекает взгляд.

— Да, *aquilino*. Мягко сказано.

Джемма звонко рассмеялась от щекотки, а когда смех стих, наступила тишина, отдаленно и ненадолго напомнившая недавнюю баюкающую тишину неподвижности.

— Я должна его любить?

— Как и он должен любить вас, дорогая Джемма. Как и он должен любить вас.

Теплые губы служанки легко и беззвучно коснулись ее лба.



Мы с Джульеттой играем и пьем доброе белое вино.
Боже, как я люблю эту женщину.

Смотреть в ее глаза и видеть ее улыбку — это чувствовать всю ту любовь, которая истекла из меня для того, чтобы вернуться.

Боги свели нас и дали нам свое благословение.

Если кто-нибудь обидит эту женщину, я убью его.

В своем номере мы занимаемся любовью, как леопарды.

Мне нравится спать с ней, чувствуя ее объятия, ощущая тепло и невероятный комфорт души, с которой мне назначено разделить звезды.

Мне повезло больше, чем кому-либо; я просто не знаю другого такого счастливчика. Вокруг я вижу мужчин и женщин, которые не терпят друг друга, которые лет после двадцати совместной жизни сидят за столом, не глядя друг другу в глаза, которые вместе так одиноки, как никогда не были одиноки, живи они поодиночке.

Когда я вместе с Джульеттой, смерть становится сном, и мне хочется только жить. Мы оба свободны, как леопарды, приносящие друг другу дар своего дыхания, такого сильного и сладкого, каким только может быть дыхание.

Однажды в мае, несколько лет назад, будучи на Кипре, в Петра-Ту-Ромиу, где богиня Афродита впервые вышла из моря, я швырнул семя в бурливо море, повязал золотую свадебную ленточку на палец, а вторую свадебную ленточку забросил далеко, насколько хватило сил, в громоздящиеся волны и, помолившись, обручился с ней,

Афродитой. Потом я открыл рот и втянул в себя ее вздох, вздох той, которая, будучи Пантеей, сказала: «Я все, что было, есть и будет, и никогда еще платья моего не касался смертный».

Затем, когда сумрачный ветер углубился в ночь, я пробрался в руины древнего Палайпафоса, к священному черному камню, считающемуся самым старинным из почитаемых предметов, безымянному объекту культа, существовавшему до рождения Пантеи, Изиды, Афродиты — у нее много имен — и почитавшемуся превыше всего.

Я поцеловал этот камень и, закрыв глаза в молитве, прижал обнаженный член к вечной, холодной силе, к «великой п...де бытия», говоря словами Сэмюэля Беккета.

Не было еще брака столь искреннего и чистого.

Именно тогда, несколько дней спустя и в другой стране, я встретил Джульетту, взглянул на нее и увидел ту самую богиню, с которой я обвенчался.



Мастерская картографа Игнацио занимала две комнаты из трех, составлявших узкое, но внушительное на вид строение, служившее, как казалось со стороны, подпоркой для двух более древних *palazzi*, примыкавших к нему с обеих сторон. Третья комната, как выяснил поэт, тоже принадлежала Игнацио, который превратил ее в свой дом. Мраморная перемычка над порталом, перед которым находился причал с ведущими к нему грубо вытесанными ступеньками, несла выбитое на древнеримский лад имя владельца. Что касается самого картографа, то вид он имел в высшей степени представительный, чему способствовали прекрасное, с экзотической вышивкой платье, серебристые выющиеся волосы, борода и тщательно расчесанные и подбритые усы. Получив рекомендательное письмо с подписью и печатью друга и патрона поэта, хозяин мастерской вежливо и коротко склонил свою ухоженную голову. Потом, вежливо и коротко извинившись, поднялся на галерею и холодно обратился к подмастерью:

— Ты снова неправильно расположил этот пролив. Восточный и западный выступы вовсе не так паралельны, как ты упорно пытаешься их представить. Западный мыс должно поправить, поместив его несколько южнее, так, чтобы оба мыса были вытянуты равно, но восточный находился севернее западного. Надеюсь, мне не придется повторять это еще раз, потому что ты будешь внимательнее, не так ли? Что ж, хорошо. Сотри прежний рисунок и переделай заново, как и должно быть.

Стены над головой поэта имели решетчатые ячейки, в каждой из которых лежала одна или несколько свернутых вместе карт, выступавших из ячейки на разную длину и отличавшихся одна от другой по цвету или оттенку, которые менялись от серого до светло-коричневого у пергамента и от грязно-белого до ярко-белого у бумаги.

— Итак, — сказал картограф, вежливо и коротко, и повернулся к гостю. Затем, заметив, что поэт засмотрелся на карты, он сделал широкий жест рукой. — Да, здесь вы найдете все, от каналов и самых потаенных закоулков этого города до далеких, лежащих на краю света земель: мир, каждую его часть, искусно и точно перенесенные на карты. А там, на столе, самая точная новая карта мира, составленная Марино Санудо. Такой вам нигде больше не увидеть.

Поэт ничего не сказал и лишь выражением лица показал, что слушает хозяина, который, заметив его молчаливое внимание, продолжал в свойственном ему цветистом стиле:

— И ни на одной из этих прекрасных карт не найдете вы тех вымыщленных существ, которые украшают книгу Поло, или другой подобной чепухи, встречающейся нарожденных фантазией так называемых картах, жалких и лишенных какой-либо научной или художественной ценности, написанных лживым пером для иллюстрации сочинений Поло и ему подобных. Вы видели книгу Поло?

Поэт подтвердил, что видел, и на этот раз обойдясь без слов. Он действительно пролистал одну из книг прославившегося путешественника, висевших на цепи в Риалто, но так и оставил ее болтаться там, настолько скучной и плохо написанной она ему показалась.

— Клянусь, — воодушевленно заявил Игнацио, — что внимательно изучил три книги Поло и обнаружил их

несходство между собой. Написать такое мог малообразованный юнец с живым, хотя и не столь уж пленительным воображением, тот, кто никогда в жизни не путешествовал дальше чем на расстояние выплеснутого из ночного горшка деръма. Я несколько раз приглашал этих Поло к себе, чтобы поговорить об их странствиях, обещая им свое гостеприимство. И что же? Они даже не удостоили меня ответом. А почему? Потому что они боятся меня. И у них есть для этого все основания, ведь я знаю, что ни один из Поло даже издали не видел Катай. Кроме того, я могу доказать, что для того, чтобы составить карту их путешествий, описанных в книгах, во всех трех, которые я изучил, нужно пройти маршрутом, немыслимым в силу физических возможностей и противоречащим законам природы. Непонятно лишь одно: почему Поло и его сообщник не воспользовались уже имеющими отчетами, ведь эти труды доступны и достойны уважения за свою точность и достоверность. Поло — всего лишь прижимистые торговцы, не более приверженные правде в своих рассказнях, чем в своих делишках. Меня раздражает, что грубая подделка Марко Поло получила столь широкое признание и известность. Его должно привлечь к ответу; его и всех тех, чьи выдумки оскорбительны для меня и других, кого они позорят, провозглашая о своей принадлежности к нашей профессии.

Картографу потребовалась небольшая пауза для того, чтобы перевести дыхание, и гость воспользовался предоставленной возможностью с проворством солдата, долго и терпеливо ожидавшего случая пустить в ход обнаженный меч.

Он вынул из кожаной сумки книгу с застежкой и замком и открыл ее. Картограф внимательно следил за ним, сведя к переносице густые черные брови и осторожно поглаживая ухоженную бороду. Наконец книга легла

на длинную и широкую доску, на которой можно было и разворачивать карты, и раскладывать монеты. Перламутровое свечение пергамента и безупречное качество толстых страниц подействовали на Игнацио так же, как когда-то, да и сейчас, на поэта, и он осведомился у гостя, кто создал книгу, на что последний ответил, что, к сожалению, ему и самому это неведомо.

— Как человеку, сведущему в искусстве и науке, говорят ли вам о чем-нибудь этот знак? — спросил поэт.

— Конечно, это знак Тринакрии, знак Сицилии.

— Да, очень хорошо. Но здесь также указано и более точное местонахождение некоего предмета.

— Я не знаю арабского. Что означают эти буквы над знаком?

— Они гласят следующее: «Здесь обитаю я, в месте, где три трех в трех».

Таким образом, местонахождение скрыто в образе и в слове.

Некоторое время картограф молча размышлял, потом покачал ухоженной головой и, выбрав в одной из ячеек нужную карту, расстелил ее на столе и, выпрямившись, уперся в нее взглядом.

— Тринакрия лежит здесь.— Он провел рукой над картой и снова покачал головой.— На любой карте множество точек, соединение которых даст бесчисленное множество треугольников. Но явных указательных знаков, образующих эту фигуру, я здесь не вижу. А вы?

Поэт смотрел на карту, но тоже ничего не видел.

Картограф снова взглянул на книгу с застежкой и замком.

— Вы заметили, что эти треугольники соединены таким образом, что образуют магическую пентаграмму? — Он отступил, как будто книга несла в себе зло.— Смею сказать, что знак этот имеет скорее отношение к области сатанинской, чем географической. Я бы отнес

книгу к какому-нибудь арабу, знающему толк как в черных искусствах, так и в черном сердце Сицилии.

Поэт закрыл книгу, замкнул ее на замок и убрал в кожаную сумку.

Он был под мраморной перемычкой с выбитой на ней именем владельца мастерской и собирался закрыть за собой дверь, за которой его встретил почти невидимый, туманный дождь.

— Постойте! — крикнул картограф. Поэт обернулся, и Игнацио заговорил уже спокойнее: — Я нашел. Треугольник внутри Тринакрии, нашел. Мы искали что-то загадочное, что-то требующее напряженных поисков, а он лежал прямо перед нами.

Взгляд гостя переместился к пальцу картографа, указывавшему на три пятнышка, лежавших вблизи восточных углов треугольника.

— Острова эти малоизвестны даже генуэзцам, привозящим на север богатый улов тунца.

Поэт смотрел на три пятнышка так, словно это были три сапфировые звезды в небесах.

— А что касается трех внутри трех, то ответ лежит внутри этих трех.

Поэт заглянул в глаза картографа.

— Вы можете обратиться к генуэзцам, которые плавают в этих темных морях, хотя я не отрекаюсь от того, что говорил, и знак этот изобрел не генуэзский моряк.

— Думаю, что нет, — сказал поэт.



Вернувшись в Париж, я беру черный чемоданчик и иду в Национальную библиотеку.

Там, в старом отделе рукописей на улице Ришелье, у меня встреча с директором хранилища редких книг и *conservateur* департамента восточных манускриптов.

Один из них энергично потирает руки, поднимает брови и улыбается.

— Итак, Франсуа, — говорит он своему компаньону, — нам предоставлена редкая привилегия установить диагноз, выяснить истинную правду и степень безумия нашего почтенного друга.

— Возможно, — говорю я, — а возможно, и нет.

— Да, — вступает в разговор другой, — мы, французы, весьма преуспели в установлении диагнозов. Известно ли вам, что Французская академия вынесла однажды такое суждение: «Во Франции много пьяниц, но, к счастью, нет алкоголиков»?

И вот мы все вместе: Франсуа, Антуан, я и мой черный чемоданчик.

— Хотя, не беря в расчет Ватикан, в мире нет ничего сравнимого с рукописью номер триста тринадцать из коллекции Палатино в Национальной библиотеке Флоренции — старинной и прекрасно иллюстрированной «Комедии», датируемой тысяча триста тридцатыми годами, — другие крупные библиотеки тоже владеют уникальными сокровищами Данте: Британская библиотека — так называемым Эгертонским манускриптом, Национальная библиотека — рукописью из старой кол-

лекции Арсенала. Эти великолепно иллюстрированные труды датируются не позднее чем десятью годами после рукописи Палатино, но Эгертонский манускрипт считается старшим из двух.

Спрашиваю, согласилась ли бы Национальная библиотека отдать рукопись из Арсенала в обмен на Эгертонский манускрипт, если бы представилась возможность.

— Разумеется нет.

Много пьяниц, но нет алкоголиков.

Я выклады whole перед ними документы.

Они изучают копии страниц. Видят доказательства трудов и мук сочинителя. Я наблюдаю. В их глазах растущее и ошеломляющее осознание того, что перед ними не плод работы переписчика, не подделка, потому что никто не подделывает оригинал сразу после его появления, тем более что распознать фальшивку было бы в то время очень легко, а стоимость ее была бы ниже стоимости любой копии.

У них нет слов.

— Чтобы вы заплатили за подлинную вещь, всю «Комедию», написанную самим Данте?

Они роняют какие-то слова. Национальная библиотека никогда не предлагает цену. Ее называет продавец, а библиотека уже принимает решение.

Я медленно принимаю решение.

Говорит только один. Бормочет:

— Нечто вроде этого... нечто такого рода...

В разговор вступает второй:

— Такую вещь востребовала бы Италия. Заявила бы на нее свои права как на часть своего национального достояния. Такая вещь должна принадлежать Италии.

Я вспомнил о большой иллюстрированной «Комедии» в Ватикане, написанной в середине четырнадцатого века готическим шрифтом и подаренной Боккаччо Петrarке с длинным посвящением на латыни и содер-

жащей пометки последнего. Рукопись была частью коллекции шестнадцатого века, принадлежавшей Фульвио Орсини. Но была на книге и другая пометка, датированная 1815 годом: «dalla Biblioteca pariginia» — «из Парижской библиотеки» — и рядом с печатью Ватиканской библиотеки печать Национальной библиотеки.

Так что, кто тут разберется, что происходило или происходит между двумя этими народами?

— Однако же рукопись из Арсенала остается здесь, — напоминаю я.

— Но это... вещь, подобная...

— Ничего подобного не существует, — говорю я. — Есть только это.

— И какова же ваша цена?

Я улыбаюсь и желаю им всего хорошего.

Возвратившись в отель, звоню самому лучшему, самому надежному из занимающихся рукописями и книгами дилеров, Дэвиду Хэнкеру, живущему в Саванне. Именно от Дэвида я получил экземпляр первого издания «Vita Nuova», вышедшего в 1576 году. Через Дэвида удалось достать пятитомник первого издания всех трудов Данте. Дэвид помог мне добыть много редких и ценных томов; все они остались в Нью-Йорке, все они пропали для меня. Пожалуй, надо подумать, можно ли их как-то вернуть. Хотя... к черту, можно купить другие. Только вот как быть с личным экземпляром «Кантос» Эзры Паунда, тем, на котором стоит загадочная надпись: «В одном томе пропавшая сводка о гибеллинах, часть V, как в “Монархии”? Загадочная, потому что ни в каких позднейших изданиях никакой «пропавшей» сводки нет.

Такую книгу нигде больше не достать.

Спрашиваю Дэвида, сколько, на его взгляд, могла бы стоить оригинальная рукопись «Комедии».

— У тебя есть такая вещь?

Его голос дрожит от волнения.

— Нет, — говорю я.

— Уверен?

— Да уж, наверное, не забыл бы, если бы заполучил нечто такое. Вопрос чисто теоретический. Нет ничего. Ни малейшего обрывка, ни единой строчки, написанной рукой Данте. И тебе это известно.

— По-моему, имеются какие-то письма в Ватикане.

— Нет. Ты имеешь в виду так называемые тринацать посланий. Считается, что они являются копиями писем Данте, существование которых ничем не подтверждено. Кое-кто верит, что они копии подлинных писем. Другие серьезно в этом сомневаются. Так или иначе, но они не претендуют на большее, чем считаться копиями или копиями копий. Можешь поверить, нет ничего.

Но Дэвид не верит. Не хочет верить.

— Я позвоню кое-кому в Италию и сразу же свяжусь с тобой.

— Дэвид...

— Да?

— Делай что хочешь, но, пожалуйста, не говори никому, что разговаривал со мной.

Теперь он уж точно мне не верит.

Я закуриваю. Не успеваю докурить, как звонит телефон. Поднимаю трубку, но молчу. Это Дэвид.

— От двух до пяти миллионов за страницу, — сообщает он, — в зависимости от содержания.

Арифметика проста. У меня триста девятнадцать страниц. Два умножаем на триста, получаем шестьсот. Пять умножаем на триста, получаем полторы тысячи. Умножаем каждое число на миллион. Шестьсот миллионов; полтора миллиарда. Округлим, поделим разницу пополам. Пусть будет миллиард.

— А рисунки есть? Мне почему-то всегда казалось, что должны быть рисунки.

-
- Мечтай.
 - Ник.
 - Не называй меня больше так.
 - Черт.— Голос у него становится совершенно спокойный.— Она у тебя.
 - Я позвоню.
 - Когда?
 - Скоро.

Авеню Матиньон, между Елисейскими Полями и улицей Фобур Сен-Оноре.

«Кристи». Главный консультант по редким книгам и рукописям.

- Оценочная стоимость? — повторяет он за мной.
- Да, — говорю я, — оценочная стоимость.
- Невозможно.
- Невозможно?
- Невозможно. Не с чем сравнивать. Леонардо да Винчи. Кодекс Хаммера, продажа тысяча девятьсот девяносто четвертого. Одна-единственная записная книжка. Хорошо известная, много факсимильных изданий. Ее хотел купить один итальянский банк. Билл Гейтс перебил банк. Торги закончились на тридцати миллионах восьмистах тысячах плюс мелочь. В данном случае такова была бы начальная цена. Это была бы самая дорогая рукопись. Потенциальная цена может быть ограничена только имеющимися у людей средствами. Даже фрагмент, всего лишь фрагмент, мог бы стоить два миллиона долларов.

Я открываю чемоданчик, выкладывая товар.

Он тщательно изучает документы.

- Как вам удалось раскопать такое?

Я качаю головой.

- В мои обязанности входит представлять интересы одного очень, очень частного коллекционера.

- Да, конечно. Собственность джентльмена.

— Вот именно.

По возвращении в отель делаю еще несколько звонков. Нью-Йоркская публичная библиотека. Нью-йоркский музей искусств «Метрополитен». Библиотека Пьерпонта Моргана.

Уильям Фолькл, глава отдела и куратор Библиотеки Пьерпонта Моргана, говорит красноречивее других, но как бы от имени всех:

— У нас чрезвычайно богатые хранилища, но не фонды.

Звоню Биллу Гейтсу.

Не принимает. Не отзанивает.

К черту Билла Гейтса!

Дни идут, и каждый новый день удивительнее предыдущего.

Используя разные прикрытия, я связался примерно с парой дюжин институтов и частных лиц. Переезжая из отеля в отель, начинаю получать звонки от незнакомых людей, слышать голоса, которые не могу вспомнить. Голоса не идентифицируют ни себя, ни тех, кого они представляют, но предлагают отличающиеся деталями варианты: часть наличными, часть товарами и услугами. Не имеющие денег музеи интересуются, кого из художников Ренессанса предпочитает анонимный джентльмен, которого я представляю. Библиотеки намекают на редкие книги, пропадающие, к сожалению, с прискорбным постоянством. Кто-то — учреждение, частное лицо или государство — рассуждает о доступе к тоннам чистейшего герона.

Я покупаю устройство определения номера и начинаю отзанивать и вешаю трубку, когда появляются цифры. Некий голос упоминает о надвигающемся похищении крупной партии опиатов в Дармштадте, а когда я звоню по определившемуся номеру, женский голос отвечает по-немецки, что я попал в Институт христианской

культуры. Не интересуют ли моего джентльмена моло-денькие девочки, или моло-денькие мальчики, или вообще какие-то радости жизни? Нет ли среди живущих кого-то, кого он хотел бы перевести в разряд мертвых? Все имеет свою цену, сказали мне, и эта цена может принять любые вообразимые формы.

Слушая голоса-призраки, я наталкиваюсь на сообщения-призраки в прессе. Некий филантроп обнаружен убитым в своей лондонской квартире. Некий ночной страж обнаружен убитым в нью-йоркском Пассаже. Новые кровопролития в Палермо и в ближайших к нему городах. Некий финансист похищен в Чикаго в то время, когда он занимался сбором средств на искусство. Один куратор в Вене, с которым я успел поговорить, исчез и не появляется уже неделю. И вот еще: некие люди, говорившие по-итальянски, устроили настоящий погром в отеле утопленников.

Я больше не смотрю в газеты. Переезжаю в еще один отель, «Ба-Бро», подальше от Парижа, в небольшой городок Барбизон.

И все равно взгляды незнакомцев вызывают беспокойство. Паранойя — не страх. Паранойя — глубоко скрытая полугаллюцинаторная нервозность.

Плохо быть мертвым и параноиком.



Старый еврей выразил радость по поводу того, что поэт поверил в тайную силу магического числа, и согласился, что веру эту подкрепил факт обнаружения трех островов, один из которых известный им араб считал Итакой, легендарной родиной Одиссея, выбранной им в качестве дома для себя самого.

— Как я и говорил, — сказал еврей, — ты и сам человек трех.

— Через несколько дней в Палермо отправляется судно под венецианским флагом. Далее его путь лежит в земли арабов. С этим судном отправлюсь и я, так что к началу следующей луны буду на Сицилии.

— Это путешествие превратит в араба тебя самого, потому что адская жара сицилийского лета, убийственная для людей, еще не спадет.

— Если я найду его...

— Ты найдешь его, — твердым тоном объявил старик.

Поэт посмотрел ему в глаза и закончил предложение по-другому:

— ...что мне передать ему?

Старик поднялся, медленно и с немалым трудом. Он сделал несколько бесцельных шагов, как будто заблудился меж четырьмя стенами, потом остановился у окна, глядя наружу, спиной к гостю. Прошло много времени, прежде чем он наконец проговорил:

— Ничего.

Поэт помолчал, не мешая старику смотреть в окно, потом вскользь упомянул о картографе, объявившем знак скорее сферой интересов сатаны, чем географии этого мира.

Еврей, все еще стоявший спиной к гостю, повернулся при этих словах и сказал:

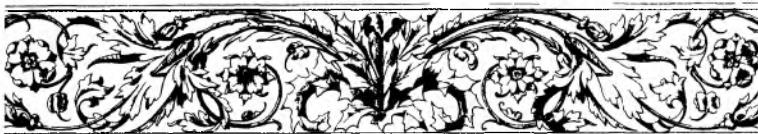
— Скорее?

Постепенно, как бывает с пропадающими в мареве фигурами миража, поэту стало казаться, что собеседник уже не тот, кто приветствовал его у двери: стоявший у окна более походил на призрак того старца, которого он знал. Ему стало не по себе, но он объяснил такую перемену прискорбным влиянием надвинувшейся дряхлости. Вывод этот получил физическое подкрепление, когда он, прощаясь, обнял еврея и ощущил не силу мускулов, а хрупкость и слабость скелета.

При этом объятии старики крепко ухватился за плечи поэта и сказал:

— Меня зовут Иаков.

И тогда поэт понял, что уже никогда не увидит его в этой жизни.



Я отсиживался на вилле «Ба-Бро», где, как предполагают, написал что-то Роберт Льюис Стивенсон.

Стоящие спиной ко мне два официанта, говорящие, насколько мне известно, только по-французски, обмениваются несколькими неясными фразами на итальянском. Я вижу, как дрожит моя рука.

Отсюда надо убираться. Я умер, но покоя не обрел.
И тогда я вспоминаю.

Мефистофель.

Несколько лет назад я написал книгу, которую назвал «Власть на Земле», о Микеле Синдоне, печально известном сицилийском финансисте, занимавшем, как предполагали многие, трон правителя мира зла, стоящий на перекрестке трех дорог, трех Зверей: международного финансового бизнеса, мафии и Ватикана. Синдона был самым замечательным, самым интригующим из всех людей, кого я знал, и рассказ о нем получился, возможно, самым замечательным и интригующим из всех, которые я написал.

По выходе в свет книгу изрядно выпотрошили — по разным юридическим обоснованиям. Но даже в этом выпотрошенном виде намеченное издание ее в Великобритании было отменено.

Многое из того, что рассказал мне Микеле Синдона,казалось невероятным, диковинным, нелепым, бредовыми излияниями приговоренного, знающего, что ему уже никогда не вдохнуть свободы. Он рассказал мне кое-что об итальянском премьеере Джузеппе Андреотти, кое-

что такое, чему тогда, во время публикации книги в 1986-м, никто не посмел поверить. Семь лет спустя Андреотти официально попал под следствие по обвинению в коррупции и покровительстве мафии. В 1995-м его признали виновным. Суд над ним длился четыре года.

Синдона рассказал мне о трех системах по отмыванию денег, самая эффективная и изощренная из которых строилась на манипуляциях с валютно-фьючерными опционами. Об этих системах не знала даже президентская комиссия по организованной преступности, члены которой путали укрывание денег с их отмыванием. Микеле сказал, что председатель этой комиссии, Джеймс Д. Хармон-младший, в разговоре с ним признался в полном неведении о валютных и торговых опционах, а также о фьючерных и форвардных контрактах. Они так и не поняли, поведал мне Синдона, как деньги, прошедшие полный цикл отмывки, появляются на свет чистыми, законно полученными доходами. По его словам, махинации в рамках этой системы и по сей день остаются вне контроля правительства.

Синдона рассказал мне о своих сделках на Ближнем Востоке и о Карле Ханше, известном также под именем аль-Ханеш, малоизвестном немецком исламисте, командовавшем подпольными террористическими операциями и тренировочными лагерями. Ханш, резидент восточно-немецкой разведки в Триполи, получал поддержку сил, привлеченных штази, а также военных и полицейских руководителей Ливии, с лидером которой, Муамаром Каддафи, он находился в тесном контакте. Этот неуловимый немец работал вместе с Маркусом «Мишней» Вольфом, главой восточно-немецкой разведки, единственным евреем, заправлявшим шпионскими делами в пользу Востока. В качестве доверенного лица Вольфа Ханш приводил в действие планы по умножению кон-

фликтов и росту терроризма во всем арабско-исламском регионе.

Синдона полагал, что конец цивилизации придет оттуда, где она когда-то зародилась: из Месопотамии и прилегающих земель. В исламе он видел силу, слепо поставляющую бесчисленное множество молодых людей, готовых пожертвовать собой ради того, что представлялось им правым делом. Особенно много таких юношей можно отыскать в сектах, которые видят в мученичестве ворота вечно зеленый сад священного, бесконечного организма. Чего они не понимали, сказал Синдона, так это того, что голос Аллаха и голоса Ханша и Вольфа, немца и еврея, были одним голосом, а те, кто посыпал молодых людей на смерть, поклонялись лишь одному-единственному богу — Мамоне.

Да. Старина Микеле. Он многое успел поведать мне до того мартовского дня, когда покончил с собой или, как поговаривают в Италии, был убит в своей тюремной камере с помощью отравленного цианидом кофе. Через несколько дней после его смерти я получил от него письмо. Письмо от мертвца.

«Ты достаточно хорошо знаешь меня, — писал он, — и знаешь, что я не боюсь умереть. Я верю в Бога и в вечную жизнь и жду этого перехода спокойно, так что какой-либо насильственный акт против меня мне не страшен».

Да. Старина Микеле. Он рассказал о многом. Об очень, очень многом.

О Мефистофеле.

— Так я его называю, — тепло заметил он. — Молодой, лет на десять старше тебя.

Мне было тогда тридцать пять, а Микеле около шести-девяти пяти.

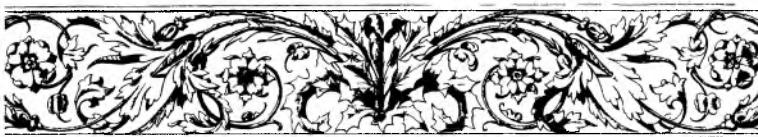
Мефистофель.

— Он может все; чего не знал, тому я его научил. И он такой, как я: играет в одиночку.

В ходе наших встреч, проходивших в тюрьме, Микеле несколько раз просил меня передать этому человеку короткие шифрованные послания, и я выполнял его просьбы.

И вот теперь я вспомнил. Столько времени в Париже, а вспомнил только сейчас.

Как будто дух умершего Микеле явился, чтобы сопровождать меня в моем собственном путешествии.



Якорная цепь шла медленно, тяжело, с глухим похоронным лязгом, одно железное звено за другим железным звеном, и, когда якорь подняли, неуклюжее судно качнулось так же медленно и тяжело, потом медленно и тяжело поднимали громоздкий парус, и, когда он вздулся, с громким хлопком и под скрипучий стон мачты наполняясь тяжелым и влажным ветром Адриатики, корпус тяжело содрогнулся и шумно вздохнул.

Буханка хлеба и чеснок, брошенные в море капитаном, который, стоя на носу, осенил себя крестом, исчезли в закипевшей под правым бортом пене. Опершись на поручень, поэт смотрел вниз — спутавшиеся охапки белых цветов взлетели вдруг к нему, опали, утянутые под днище, всколыхнулись снова и пропали.

Глядя на бурлящую воду, он был свободен от желчных мыслей и просто дышал воздухом страха, воздухом бесстрашья, воздухом тайны, воздухом власти, воздухом всех смешавшихся небес, чувствуя, что движется к неведомому, движется к нему только потому, что оно неведомое; и пена, на которую он смотрел, пена, поднимавшаяся и опускавшаяся в ритм движению, завораживала его, заставляя дышать глубже, глубже втягивать воздух страха, воздух бесстрашья, воздух тайны, воздух власти, воздух всех смешавшихся небес, пока все глубины — глубина моря, глубина вдоха и глубина неведомого — не стали едины.

— Вы купите этим больше, чем только золотое сердце вашей юной жены и ее привязанность, — тайно умо-

ляла его добрая служанка девушки, и он уступил ее мольбе, вручив своей невесте то, что просила служанка, преклонив при этом колено и склонив голову.

Ее сердце. Ее привязанность. Как будто ему это было нужно. И все же та роза коленопреклонения значила много, потому что, вложив розу в ее руку, он так же положил цветок на могилу мечты своего юного сердца.

Ему было одиннадцать лет, когда его отец и ее отец составили и подписали *instrumento dotale*. К тому времени минуло уже три весны со дня его первой встречи с Биче Портинари, девочкой, чье имя его сердце и перо превратили в поэтическое Беатриче. Даже сейчас, глядя в морскую пену, он помнил цвет платья, которое было на ней в тот весенний день сорок пять лет назад: цвет темно-красной розы, как и цвет другой розы, положенной им на могилу мечты своего юного сердца.

Ему не было и девяти, а той девочке Портинари едва исполнилось восемь. Он помнил, что написал в книжке, ставшей известной как «Новая жизнь»:

«В тот миг, когда я увидел ее... дух жизни, обитающий в самой глубине сердца, задрожал так, что и весь я содрогнулся. И, содрогнувшись, он произнес такие слова: “Ecce deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi”».

Припоминая эти слова, написанные через много лет после той давней весенней встречи, с которой все началось или которую он представил как начало всего, поэт подивился их лживости. Ну разве способен восьмилетний мальчишка «содрогнуться», будь то от любви или от желания? Разве может душа восьмилетнего мальчишки, смехотворно содрогнувшись, излиться в совершенной по композиции и строго соответствующей размеру латыни: «Узрел Бога, который могущественнее меня и который пришел властовать мной»?

Поэту вдруг пришло в голову, что, вложив эти слова в уста восьмилетнего мальчишки, он прибег к аллого-

рии самой низкой пробы. Претенциозное провозглашение Любви «deus fortior me» было всего лишь жалким подражанием манер Синдона.

И всего через несколько строчек: «И хотя неотступный образ ее призвал Любовь повелевать мной, столь благой была власть его, что никогда не позволил он поступать без мудрого совета разума».

Если первое было фальшью и жульничеством, рожденным не каким-то внутренним духом, а убогой риторикой,— и если поразмышлять над этим, то полной неудачей, ведь только дерзко-самоуверенная, незаконнорожденная Посредственность может задавать такие вопросы,— то второе покорно следовало изрядно замшелой философской истине своего времени.

Содрогнулся, как омертвелый прутик академического прилежания.

После той первой встречи он не видел ее девять лет и тем не менее убедил себя в том, что эти долгие годы ее образ оставался в его сердце, душе, всем его существе, настолько божественна была она и настолько велик был Бог, доказавший свое превосходство над восьмилетним мальчишкой.

На шестой год из этих девяти он начал распространять свои собственные сонеты среди известных стихотворцев, надеясь добиться их признания и благосклонности. Он был пятнадцатилетним юнцом, умевшим лишь подражать старшим, сочинять в манере, получившей тогда название *stil nuovo*. Поэзия утонченной любви, поэзия божественности любви, обретшая голос и рифму не на латыни, а на неразвитом, грубом, простонародном языке. Первым, кто создал прекрасные стихи на *lingua volgare*, был болонский поэт Гвидо Гвиницелли, взявший пример со стихотворцев Прованса, и именно он вдохновил флорентийских *stilnovisti*. «Al cor gentil re-

para sempre Amore», — пел Гвидо из Болоньи. «Любовь всегда ищет нежное сердце».

Он прошептал эти слова пene моря и ветру неведомого. Какие прекрасные слова, вечные, утешающие, указывающие путь к спасению.

Да, то был шестой год тех девяти лет. И еще в тот год он дал девочке Портинари другое имя, назвав ее Беатриче — Благословляющая, — что больше соответствовало замыслу его стихов и возвышенности *stilnovisti*, в число которых он надеялся войти и вошел-таки с помощью величайшего из них, Гвидо Кавальканти. Именно Кавальканти вывел поэзию любви из дворцов знати на *orbis profanus* городских улиц. Именно Кавальканти, бывший на пятнадцать лет старше, считал Любовь богом как проклятия, так и блаженства. Он не верил ни в рай, ни в ад и проживал свою жизнь, не прячась от нее. Юный поэт называл его не иначе как *il miglior fabbro*.

Он снова прошептал эти слова пene моря: слова о том, кто был ближайшим другом, кто писал лучше и кого он обрек на проклятие и смерть.

Тогда, весной девятого года, он вновь увидел Беатриче Портинари. В ту весну ему исполнилось восемнадцать. По законам Флоренции он стал мужчиной и по тем же законам вступил во взрослуу жизнь сиротой, потому как отец его к тому времени уже сошел в землю.

Вот так и получилось, что коленопреклоненный с протянутой розой был уже мужчиной. И так получилось, что, как было решено заранее, он и Джемма Донати стали законными мужем и женой.

Женитьба вовсе не помешала его продолжавшейся увлеченностии молодой Портинари, как не остановило его замужество самой Портинари, мужем которой стал банкир Симоне деи Барди, а его экзальтация в стихах не только не уменьшилась, а, наоборот, усилилась. Да-

же рождение сына не удержало поэта от недостойных глупостей, когда он бродил по улицам в надежде увидеть ее хотя бы мимолетно или проливал на бумагу слезы неразделенной любви.

Годы прошли, как проходит пена, и значение и правда тех лет, столь же недолговечных и неуловимых, как мельчайшая пенная пыль, появляющаяся и тут же исчезающая, в этой самой неуловимости.

Взявшись за книгу, получившую название «Новая жизнь», где изобразил себя дрожащим от любви в восемьмилетнем возрасте, он завершил ее в двадцать восемь лет с твердым намерением не писать больше о Беатриче до тех пор, пока сила поэтического дара не позволит ему создать нечто «более достойное».

Двадцать лет, размышлял он, глядя на пену и водную пыль, становившиеся все более призрачными по мере того, как небо и море, темнея, сливались друг с другом. За это время умер отец, оставивший его сиротой, он сам женился, и у него родился сын. Тем не менее в книге не было ни единого упоминания, ни в стихах ни в прозе, обо всех этих событиях. Зато много внимания получила смерть Беатриче, которая по серьезности, важности и величию, приданым ей, могла сравниться разве что с Успением Богородицы, ведь его стараниями обычная женщина была вознесена в рай, где предстала перед лицом Господа.

Страсть, с которой поэт ненавидел отца — почему тот не устроил его брак с Портинари? почему после смерти жены, матери поэта, взял в супруги такую злодейку, ставшую жестокой мачехой для его отпрыска? — была настоящей, непритворной. Как и безразличие, равнодушие и холодность, с которыми поэт воспринял собственный брак, ставший, по его убеждению, результатом каких-то происков отца и определивший судьбу сына. Холодность в нем была холдом ада.

А что тогда говорить о собственном сыне, своей плоти и крови, порождении его холодного семени? Почему этот благословенный дар Господа, это чистейшее, удивительнейшее и невиннейшее создание, еще лежавшее в пеленках, не удостоилось даже мимолетной ласки, мельчайшего проявления чувств, когда его отец изливал потоки любви в адрес встретившейся на улице красотки, не пожелавшей знать своего обожателя? Сыну шел девятый год, когда появилась «Новая жизнь», но стареющего отца интересовала лишь душа другого девятилетнего ребенка, себя самого. И почему, славя Биче, причисляя ее после смерти к ангелам, он ни разу не упомянул, что она умерла в объятиях простого ростовщика?

Впрочем, ответ на последний вопрос у него был, честный и откровенный, но только для самого себя: он не упоминал о замужестве Биче Портинари, потому что это не соответствовало его замыслу. На другие, более сложные вопросы поэт имел готовые и быстрые ответы: это выходит за пределы темы его книги, то лежит вне сферы поэтического декорума.

Конечно, то была удобная ложь. Правда смущала, ставила в тупик даже его самого, поэтому он держал ее в тайне и никогда не высказывал ни в стихах, ни в прозе, ни в споре.

Может ли быть, размышлял он теперь, вглядываясь в ревущую под бортом пену, что ему не под силу писать стихи о по-настоящему близком, о своей жизни?

Может ли быть, что он не способен даже жить собственной жизнью? Вместе с взметнувшейся на мгновение пеной к нему пришли слова ответа. Слова из книги, известной под названием «Новая жизнь», слова, обращенные им к Повелителю Любви.

Откуда явилась к нему эта мудрость? Из какого источника взялись слова, столь загадочно противоположные

всему прочему, что было в той книге? Да, они принадлежали ему, но какому небу?

Именно эта мудрость, как он теперь понимал, привела его перо к чистой, неприрученной красоте и мощи начала и конца «Комедии».

Если бы только он позволил Биче Портинари мирно покоиться под камнем, несущим ее законное имя. И тем не менее вопреки всякой мудрости она не отпускала поэта, занимая все его мысли, оставаясь тем единственным, что он не мог отбросить.

Ее служанка была права. Он все-таки пришел к ней с розой, как и подобает рыцарю. И он сражался в битвах, сражался смело и достойно, как настоящий рыцарь, не ведая страха. Он воевал в рядах флорентийского ополчения на стороне тосканских гвельфов против Поджио ди Санта-Сесилия, потом отправился на войну против гибеллинов Ареццо и принял участие в сражении при Компальдино, затем находился в числе осаждавших Капрону. Судьба вознесла его высоко. Он входил в число шести членов приории, правящего органа Флоренции. Но прежде всего служанка была права в своем предсказании о том, что Джемма будет любить его так, как он будет любить ее: его невнимание к ней и пренебрежение измучили ее бедное сердце, и после многочисленных умильительных и бесплодных попыток добиться от него любви она не могла уже не ответить тем же. Холодная и бесплодная пустота, заполнившая его душу, отозвалась похоронным звоном в ее измученном сердце в то утро, когда она перенесла первые роды и повитуха протянула ребенка отцу, который, бесстрастно посмотрев на малыша, даже не взял его на руки. То же было и с последующими сыновьями и дочерью. Только дети да еще добрая служанка, которую она навещала, несли покой ее душе и единственное утешение, которое она знала.

Все это время и жена, и старший сын были свидетелями его безумства, видя и слыша вместе со всей Флоренцией, как он превозносит свою любовь к Биче Портинари, как восхищается ее достоинствами. И даже смерть Беатриче стала для него возможностью довести свое безумство до предела, разыграв еще одну нелепую сцену страсти. Никогда не забыть ей первого сообщения о болезни возлюбленной ее мужа. В тот день, пригласив к себе своих друзей, он устроил для них патетический спектакль, приняв вид человека, утратившего связь с этим миром, не замечающего их присутствия; угрюмый и молчаливый, сидел он с пером в руке, рисуя на листке бумаги ангелочеков, подобных тем, которых она сама могла бы рисовать в детском возрасте. И только у Кавальканти хватило смелости высмеять этот фарс. «Представьте человека, собравшего зрителей полюбоваться тем, как он сходит с ума». С этими словами, тепло попрощавшись с Джеммой, он ушел, оставив Джемму в незавидной роли свидетельницы упрямо разыгрываемого мужем отвратительного представления, тогда как их пятилетний сын спокойно играл рядом, служа своему отцу примером поведения мужчины.

I' vengo l' giorno a te...

Именно Кавальканти донес до ее мужа истину поэзии; милый Кавальканти, нежный и чуткий, как порхающая над цветком бабочка, жестокий, как гневно опущенный на камень молот, настоящий поэт.

*Di vil matera mi conven parlare
Perder rime, silabe, e sonnetto.*

Милый, чудесный Гвидо. Он был, как она считала, ближайшим из друзей ее мужа, но ее муж, как она чувствовала, восхищаясь им, боялся его, а восхваляя, завидовал: боялся его честности и прямоты, завидовал его

величию, его поэзии. Его сонетам и балладам о розе и шипах.

То были годы раскола правящей партии гвельфов на «черных» и «белых». «Белые» вступили в союз с гибеллинами Вероны, Пизы и Романьи, «черные» — с папой Бонифацием VIII. «Черных» гвельфов Флоренции возглавлял самозваный аристократ Корсо Донати. Гвидо, ярый противник Донати, оказался в стане «белых». В мае того года, во время праздника весны, между главенствующими семьями «черных» и «белых» и их сторонниками произошла опасная стычка. Муж Джеммы и его коллеги-приоры постановили отправить в ссылку предводителей обеих конфликтующих сторон. Лучший друг Данте, Гвидо, был выслан в Саранцу.

Для Джеммы то был самый сильный, самый холодный ветер из всех приходивших из холодной, бесплодной пустоты, бывшей в нем, с того давнего утра, когда она родила ему сына. Она не могла не чувствовать, что, изгоняя лучшего друга, того, кто понимал его, любил его и превозносил, ее муж избавляется от источника своего страха и своей зависти; она не могла не чувствовать, что, изгоняя из Флоренции ее величайшего поэта, он таким образом узурпирует право на принадлежащий другому лавровый венок.

После того как голос искренности и любви перестал звучать в холодной, бесплодной пустыне души ее мужа, она, словно вдохновленная сердитым стоном судьбы Гвидо, нашла в себе смелость прямо спросить мужа, как мог тот столь сурово обойтись с другом. Сначала он откликнулся злым взглядом, но потом в глазах его появилось то бесстрастие, с которым он смотрел на их первенца сына.

— Приоров шестеро, — твердо сказал он, — и я лишь один из них. Ты желала бы, чтобы я встал поперек им всем?

— Да,— воскликнула она,— ради всего, что есть на свете доброго и справедливого! Да.

На это он не сказал ничего, а лишь раздраженно отмахнулся от нее и отвел глаза. Но она не ушла и заговорила снова:

— А как же твоя великая сила — риторика? Ты же столь дерзок, что позволяешь себе говорить от имени богов. Ты же столь самонадеян, что полагаешь тронуть мир нежными любовными куплетами. Почему же ты не воспользовался своей великой силой? Почему не тронул сердца нескольких своих приятелей призывом к состраданию, которого более чем достоин великий поэт, безвинный как политик?

На этот раз он не удостоил жену даже грозным взглядом, сделав вид, что не слышит ее голоса.

В стихах Гвидо любовь часто влекла за собой его внутреннюю смерть. Как сказал он однажды, «*amor aparve a me in figura morta*». В глазах Джеммы его любовь к ее мужу обернулась именно смертью. Проклятие изгнания висело над Гвидо недолго. После переезда в Саранцу большой воздух тех мест вошел в него и вызвал малярию. В августе того же года его, уже умирающего, привезли во Флоренцию, даровав последний вздох и право лечь в ее землю.

Как мог смотреть он в глаза вдове Гвидо, чье имя, как и имя той, призрак которой не оставлял его, было Биче? Как мог смотреть он в глаза сыну Гвидо, Андреа? Как мог смотреть на самого себя в зеркале?

Не выразив ни раскаяния, ни даже сожаления, ее муж, приступив к заселению ада в своей «Комедии», осквернил, бросил тень на имя великого поэта.

Примерно через год после смерти Гвидо супруг Джеммы в составе посольской делегации из трех человек, представлявших интересы правивших во Флоренции «белых» гвельфов, отправился в Рим к папе Бонифацию VIII.

Несколько месяцев спустя, во время отсутствия его и двух других посланников, на Флоренцию обрушилась сильнейшая буря, и Джемма с радостью сочла ее ниспосланным свыше мщением духа Гвидо. Затем последовала еще одна буря, но уже иного рода, и «черные» гвельфы отобрали власть у «белых». А в марте нового года возвратившийся из Рима поэт был приговорен к смерти.

*Fili mi, tempus est ut pretermictantur
simulacra nostra.*

И снова он подивился, откуда пришла эта мудрость, столь загадочно противоречащая всему прочему, что было в книге, известной как «Новая жизнь»? Могла ли она явиться из него самого под неким неизвестным небом? Теперь, размышая об этом, поэт уже не чувствовал недавней уверенности. Тогда внутри его прозвучали слова другого, слова более глубокие, чем его собственные. Могло ли так случиться, что голос, произнесший эти слова, и источник их мудрости были едины? Могло ли так случиться, что слова эти, словно принесенные случайным порывом ветра, были советом, данным ему Кавальканти в те давно минувшие годы?

Нет. Нет. Они не имели на себе печати Кавальканти. Но зато верно было то, что принесший их теперь голос, голос, звучавший и внутри его, и в грохоте пенистых волн, принадлежал, насколько он мог помнить, именно Кавальканти.

Дорогой, почивший Кавальканти. Поэт сделал все, что мог, дабы изменить мнение своих товарищей-приоров, он призвал на помощь все свое красноречие, убеждая их в том, что голос Кавальканти — это ценнейшее достояние Флоренции, которое не должно потерять, что вспышки его темперамента были лишь случайнымиискрами прекрасного и священного огня божественной

поэзии, пылающего в нем, несущего славу Флоренции, и что огонь этот не принадлежал ни «белым», ни «черным», ни гвельфам, ни гибеллинам, а лишь единственно подлинному сердцу Флоренции, бьющемуся в истерзанной груди в те неспокойные, тревожные лета.

Он сделал все, только что не распростерся перед ними. И наверное, ему и это следовало сделать. Потому как разве не унизил он себя еще раньше, на виду у всех распростершись перед нелепой фигурой своей Беатриче? Разве не стало его глумливое притворство неизгладимым пятном юношеской глупости? Разве кровь дружбы не ценнее сладкого вина стихов?

Страшные слова последней *ballate mezzane* Гвидо навечно легли на его душу раскаленным клеймом:

*La forte e nova mia disaventura
m'ha desfatto nel core
ogni dolce penser, ch'i' aveva, d'amore.*

Так начиналась первая, а заканчивалась она взглядом на то, что от него осталось:

*Che, qual mira de fòre,
vede la Morte sotto al meo colore.*

А потом вторая:

*Perch'i' no spero di tornar giammai,
ballatetta, in Toscana.*

И дальше:

*Tu senti, ballatetta, che la morte
mi stringe sì, che vita m'abbandona.*

Вот тогда-то, обретя былое красноречие, вознося панегирики и размахивая листами баллад, словно то были булава и топор, он добился от своих товарищей-приоров разрешения для Кавальканти вернуться во Флоренцию, чтобы последним его вдохом был флорентийский

вдох, чтобы посредством этого благодеяния вернуть городу великое сокровище духа. И пока Гвидо испускал дух, он омывал ноги умирающего маслом розмарина и алоэ.

Но если говорить правду — а теперь для нее самое время, самое время молча признаться своему исповеднику, бурлящему пенистому морю, унесшему мгновения, года и деяния его жизни, смывшему с его души весь темный осадок, — то омывал он ноги Кавальканти не из чистоты христианского милосердия, но из чувства вины. И, делая это, все время надеялся, что отходящий в мир иной поэт почувствует, чьи это руки, и тогда, может быть, мертвые даруют живым прощение.

Господи, как жестоко он обходился со всеми, кто пытался любить его: друзьями, женой, детьми. Если и была какая-то красота и сила в словах, выходивших из-под пера того, кто рядался в одежды певца любви, то лишь потому, что под маскарадными одеждами действительно жила душа человека, желавшего любить и быть любимым. Но управлять строфами любовных песен намного легче, чем самой любовью, этим непокорным и прекрасным зверем, живущим в не подчиняющемся никаким законам рифмы и размера ритме плоти, крови и души.

Порой этот зверь вырывал у него поэзию, и тогда по-таенный ритм сердца и души соединялся с ритмом звука и слова в нечто величественное. Но его своевольное упрямство и холод внутри его были слишком сильны, чтобы позволить прекрасному зверю поэзии лишить его безжалостно-трусливого контроля над собственной жизнью. Поэту было легче отправиться на войну, чем выразить страх перед сражением; легче обнажить тщательно придуманное подобие своей души перед фантомом, придуманным сходным образом и не менее тщательно, чем приоткрыть душу реально существующему человеку, чьи душа и слова не подчинялись его перу. Кольчуга и пан-

цирь, надеваемые поэтом в сражении, не шли ни в какое сравнение с тем, за чем пряталось его сердце. Почему он мог спорить с высшей знатью и папским двором, но не мог взять на руки новорожденного ребенка? Потому что знать и придворные были такой же, как он, подделкой под самих себя, и их сердца защищала толстая и прочная броня, а ребенок был чист и невинен, бесхитростен и не способен на обман, и смотреть на эту чистоту и невинность означало быть пронзенным темной убийственной правдой, пониманием своей испорченности и греховности.

Если небо безграничности явило ему когда-то Бога и красоту, то, наверное, небо его болезни управляло им все эти многие годы.

Ветер приносил сырость и прохладу, фиолетовое море стало черным, а пена и водная пыль белыми в скучном свете полумесяца.

Да, «белое» и «черное». Как давно это было.

Но почему через десять и более лет после омовения ног великого поэта, после молитв об отпущении ему грехов он осудил его, поместив в *terza rima* своего ада?

Они придерживались разных толкований Аристотеля.

Юный поэт стоял на точке зрения Фомы Аквинского, соединявшего античную философию с христианской, тогда как его старший друг находил большую мудрость в разъяснении идей Аристотеля арабским мудрецом по имени Аверроэс, который считал жизнь суммой путешествий души. Получалось, что молодой поэт жил в своей придуманной жизни *contra naturam et contra Deum*, а его старший друг жил праведно, сознавая дар жизни и стремясь к совершенствованию собственной природы; следовательно, молодой, провозгласив веру в загробную жизнь, почитал себя святым, а своего друга, верившего только в жизнь земную, зачислял в проклятие.

Но почему, почему, почему он назвал в качестве примера атеизма имя того, кто любил его, того, чьего уважения, понимания, одобрения, благословения, совета и, наконец, прощения добивался? Почему его, а не кого-то другого? Не было ли это еще одной, извращенной попыткой облегчить свою вину или, хуже того, еще одним примером стремления принизить через анафему того, кого он ставил выше себя? И почему в его аду не нашлось места тем, кто в поисках мудрости отвергал свободу для всех?

Да, открытие истины в мудрости неверного Аверроэса оказалось достаточным, чтобы отправить в ад того, кого ему вздумалось. Он размышлял об этом, плывя через тьму спустившейся ночи к таинственному арабу, выполняя волю язычника-еврея.

Позднее ночью в своей тесной и скрипучей каюте он опустился на колени и стоял, пока к нему не пришли слова молитвы.



Большой, просторный офис, занимающий почти весь четвертый, последний этаж здания; обстановка в стиле Людовика XIV, причем вещи как бы располагают к себе, приглашают к комфорту, а не отпугивают, как это часто бывает с дорогим антиквариатом. Подобно их элегантному хозяину, они производят впечатление крепости и силы, а не хрупкости и изящества.

Мы стоим у палладианского окна. Тяжелые, цвета темного вина парчовые шторы перехвачены толстыми, с кистями, шнурами из золотистых шелковых нитей. Цвет и текстура парчи вызывают желание дотронуться до этих чувственных складок, и я осторожно притрагиваюсь к ним, как притронулся бы к губам женщины, которую еще ни разу не целовал, или к губам той, с кем давно близок, но которую можно вечно ласкать так же, как и в самый первый раз.

— Ойоуф, — шепчет он, словно читая мои мысли.

Прекрасный эпитет — *винно-темный*, — использованный когда-то Гомером.

Потом, переходя на прозу, медленно декламирует отрывок из двадцать третьей песни «Илиады»:

Плотник тебя превосходит искусством своим, а не силой,
Кормщик таким же искусством по бурному черному понту
Легкий правит корабль, и игралище буйного ветра;
Так и возница искусством одним побеждает возницу*.

Он едва заметно улыбается.

* Перевод Н. Гнедича.

Его взгляд устремляется в окно через площадь Святого Фомы к небольшому зданию возле большой церкви. Я смотрю туда же.

— Многие из проживших здесь всю свою жизнь не знают, что это конспиративный офис французской секретной службы, — говорит он о небольшом здании, на фасад которого мы смотрим. Он отворачивается. — Я знаю о них больше, чем они обо мне.

Он опускается на диван и жестом приглашает меня сесть на другой, напротив.

— Итак, когда вы умерли?

— Можно сказать, за несколько дней до Данте.

— Вы вторая жертва того прискорбного инцидента, появляющаяся у меня за последнее время.

Я впервые сталкиваюсь с человеком, умеющим так быстро, точно и элегантно исчислять душу.

— Было еще двое, приходивших в поисках смерти и реинкарнации незадолго до того неприятного происшествия. Мне удалось помочь им, поместив их в нужное место утром дня вашего исчезновения.

Я поражен.

— Но как вы могли знать?

— Так же, как знаю о том, что вы и есть тот.

— Тот?

— Тот, у кого рукопись Данте.

Я поражен вдвойне.

— О Данте известно многое, а вот о какой-либо рукописи Данте ничего.

Он пожимает плечами, как будто это не имеет значения.

— Люблю иногда поболтать, но, занимаясь делами, никогда не навожу никаких справок, не имеющих прямого отношения к этим делам. Однако некоторые — вы, например, — при упоминании Данте выдают многое,

сами того не желая. Такие люди отвечают на вопросы, которые им не задавали.

— На кого вы работаете?

Я спрашиваю, не подумав, и тут же сожалею о скажанном.

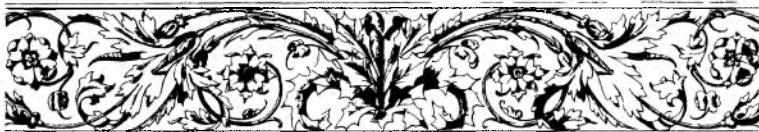
Он лишь улыбается.

— Только очень самоуверенные и очень глупые говорят или думают, что работают сами на себя. — Он останавливается и, лишь видя, что я не намерен лезть с распросами дальше, продолжает: — Скажем, что я работаю на владыку этого мира. Или лучше употребить это слово во множественном числе? А может, просто сказать, что я работаю на вас?

Я молча смотрю в его глаза. Хочется закурить. Перехожу взгляд на небольшую фарфоровую штучку на стоящем между нами низком столике.

— Это пепельница?

— Это то, что вам нужно.



Все могло закончиться для него в тот роковой март, среди дрожащих от холода голых веток. Джемма с благоговейным ужасом наблюдала за тем, с каким бесстрашным спокойствием воспринял поэт смертный приговор, как будто жизнь его была ничтожной горсткой праха, дуновением ветра переносимая из одного мира в другой. В какую-то секунду ей доставило удовольствие представить жизнь без него, но эти безумные мгновения улетели, а под холодными камнями безрадостного существования обнаружился вдруг скрытый источник любви, живший вопреки рассудку и вопреки природе всех внешних чувств. Именно тогда, обнаружив этот потаенный ключ, она поверила, что, может быть, похожий ручеек струится неведомо для всех и в глубине его души и что когда-нибудь, в какой-то благословенный день, оба эти ручейка, его и ее, пробьются к морю и свету.

Но в тот день, когда поэту объявили смертный приговор, никакой такой источник так и не пробился из-под холодных камней его существования. Почему он не обнял ее, хотя бы ища поддержки и утешения? Почему в роковой для себя час не попытался укрыться в сочувствии другого, согреться теплом ближнего? Почему в тот момент, когда Джемма стояла рядом со слезами на глазах, молившими о знаке внимания, поэт лишь взглянул на нее и тихо спросил:

— Твои дела в порядке?

Когда терпение уже иссякло, когда мука стала невыносимой, она все же обратилась к нему со взволнованной

просьбой, надеясь, что ее слова дадут ему предлог сделять то, чему противилась гордость:

— Ты не должен умирать ни за что. Ты должен попросить этих злодеев сохранить тебе жизнь.

Ей показалось, что слова ее легли на чашу весов его суждения, но на самом деле поэт просто молчал, словно уже созерцал, застыв в подобающей такому случаю серьезной торжественности, собственные похороны.

— Благородство моего рода достигнуто не через прошения, и не через прошения будет оно утрачено.

Никогда в своей девичьей жизни не мечтала она о таких, как он, готовых согласиться скорее умереть, чем принять сочувствие того, кто желает лишь утешить. Даже в самые трагические моменты вымыщленные рыцари и принцы ее детских сказок не являли такого возвышенного благородства перед лицом смерти. Ей вспомнился глупец, притворно ливший слезы, рисовавший глупых ангелочеков и изображавший безумие отчаяния в знак скорби по умершей стерве Портинари, глупец, стремившийся доказать, что поэт и его поэма нераздельны. Теперь же, в час реального отчаяния и настоящей бури, чувств не было никаких, ни показных, ни подлинных. Да, он молился, но не писал стихов и не жаловался. Возможно, впервые каменная стена, охранявшая его сердце, настоящее, человеческое сердце, защищавшая это сердце как от него самого, так и от мира, тогда как напоказ выставлялось другое сердце, сердце благоухающей изящности, верно служившее стиhiу и позе своего создателя, — возможно, впервые эта стена сослужила хорошую службу, не подпустив к настоящему и всеми забытому сердцу подлинное чувство, подлинное отчаяние и подлинную боль. Могло ли так быть?

Все происходившее казалось нереальным. Не могло быть реальным. Этот смертный приговор. Эта прижизненная смерть, занявшая все ее думы. Эта смерть, ожи-

дающая каждого из родившихся. Смерть, означающая прекращение дыхания, смерть такая близкая, смерть, наступившая раньше самой смерти.

Такого не могло быть, но это было: каждый миг растягивался в вечность, когда она видела, как он ждет решения, и заглядывала в глаза детей, ни о чем не осведомленных, но ощущающих гнетущее давление судьбы.

И она молилась, молилась, не слыша собственных молитв, казавшихся пустыми, мертвыми, не идущими от сердца. Молилась, сама не зная почему. Но она молилась и молилась; и пришла ночь, когда молитва стала песней, вышедшей из нее без ее участия: «Боже, пусть он живет, пусть ему сопутствует успех, потому что под каждой ложью лежит правда».

И этим словом, *verità*, этим долгим, протяжным *ah* закончилась ее молитва.

Смертный приговор заменили ссылкой. Флоренция, его жизнь и кровь, выплюнула его, как горький черный комок слизи. Сильное и благородное древо Алигьери оказалось без корней, и его бросили, как сухую, мертвую деревяшку в темные волны океана, на волю ветров судьбы.

Столь суровое наказание, похоже, тронуло его не больше, чем перспектива смерти. Он спокойно и серьезно ходил по владениям, которые им предстояло потерять навеки, вместе с прислугой и всем пышным убранством, нажитым долгими годами.

Фамильное благородство, о котором он так пекся, оказалось вдруг лишением всех тех мелочей, украшений, всех тех атрибутов, которые отличают настоящую знать и являются ее привилегией. Теперь все зависело от того, возьмет ли кто-то их под свое крыло.

Семнадцать лет они переживали свое горе в роскоши. Потом они семнадцать лет скитались.



Он разговаривает со мной тихо и мягко:

— Ваша речь выдает в вас американца. Следовательно, вам нужно стать натурализованным сыном американского эмигранта в стране, где английский либо родной, либо доминирует среди иностранных языков.

Я киваю, соглашаясь с тем, что он говорит.

— Паспорт поддельный?

Я киваю.

— Хорошо. Ваша жена, она тоже американка?

— Нет. Она итальянка.

— Тоже неплохо. Пусть остается итальянкой. Новое имя, новая биография. Новый брачный сертификат. Новое, натурализованное гражданство через брак с вами в стране вашего нового рождения. — Он замолкает, потом пристально смотрит на меня. — Вы действительно женаты?

— Нет.

— Хотите?

Я не успеваю ответить.

— Ладно. У вас будет брачный сертификат. В глазах закона вы будете женаты. Но ей говорить необязательно. Если, конечно, в одну прекрасную ночь звезды не засияют особенно романтично и вино не ударит в голову.

Вашими налогами будет заниматься та же бухгалтерская фирма, которая создаст для вас новые налого-

вые документы. Никто обычно не верит, но на самом деле самое трудное — это налоговые документы.

На протяжении всего разговора он делал какие-то пометки, сейчас откладывает блокнот и ручку в сторону.

— Вы будете легальным, законопослушным, платящим налоги гражданином дружественной страны, с настоящим паспортом, позволяющим свободно передвигаться по миру. Однако соблюдайте осторожность и постарайтесь не попадаться на глаза тем, кому вы можете напомнить некоего погибшего или исчезнувшего американца.

— Цена?

— Пять миллионов долларов. За вас и вашу жену. Все включено. Один миллион сейчас, остальное — по актуализации. Потом займемся налогами. Вам нужно подумать, какой легальный доход вас устроит. Гонорар чуть выше обычной ставки налогообложения: я удерживаю тридцать пять процентов, из которых оплачиваю все налоги, своевременно и законным образом. Платежи проходят через представительский счет.

— Миллион будет на следующей неделе.

— Хорошо.

Я поднимаюсь, и мы обмениваемся рукопожатиями.

— Кстати, — говорит он, — если вы повстречаете джентльмена, владеющего рукописью Данте, я смог бы свести его с теми, кому это интересно.

— И кто они, эти люди?

— Такие вопросы благоразумнее обсуждать непосредственно с джентльменом, в чьей собственности находится рукопись.

Я киваю, прощаюсь и, уже выходя, слышу:

— Однако, думаю, не будет вреда, если я скажу, не называя имен, что заинтересованные лица представляют три крупнейшие религии мира. Две из них желают

явить это сокровище миру. Третья тоже хочет явить рукопись миру, а затем на глазах у того же мира предать огню.

Я поворачиваюсь и смотрю на него, а он лишь пожимает плечами, как бы говоря: что ж, люди — странные существа.



У поэта вошло в привычку каждый вечер после ужина, состоявшего из ломтя черствого хлеба и кусочка вяленой говядины, отправляться на палубу, к борту, чтобы побывать наедине со своим исповедником — пенистым, волнующимся морем.

Его путь на юг, к неизвестности, проходил приятно, особенно в вечерние часы, предшествующие наступлению ночи, когда волны и пена под красками закатных волн света и туч становились самим движением, ведущим к тайне через мгновение вечности, узреть которое выпадало немногим. И он тоже был в движении, проходя через годы скитаний.

Небо, бледное над головой и темнеющее на спуске к морю, хранило в своей необъятной шире все оттенки розы.

Поэт посмотрел на поблескивающий за кормой след корабля, который, как считали некоторые, был звездным осадком.

Семнадцать лет провел он в изгнании. Глядя на волны и пену, поэт вознес благодарственную молитву тем, кто благословил его ссылку добротой и покровительством: Бартоломео делла Скала из Вероны, помогший в первое, самое трудное время на чужбине, и многие другие, в Тревизо, Падуе, Венеции, Кассентино, Лукке, снова в Вероне. Там, в Вероне, пользуясь гостеприимством и великой щедростью Конранде делла Скала, он закончил «Ад» и представил свой труд всей Италии, после чего Флоренция отменила смертный приговор.

Последним в списке благодетелей стоял его друг и патрон Гвидо Новелло да Полента из Равенны.

Теперь эти семнадцать лет были позади, и от них не осталось ничего материального, даже водной пыли, подобной той, что оседала на руках и щеках и почти сразу исчезала. Но зато осталось огромное и глубокое море доброты и веры, вынесшее его на этот курс, который вел к великой тайне, вел через огромное и глубокое море, под надуваемым ветром парусом и чудесным небом, хранящим в себе все оттенки розы. Теперь это море доброты и веры было в нем и в окружавшем его величественном море-духовнике, которое то грозно бушевало, то успокаивалось, не подвластное никаким поэтическим ухищрениям, более могучее, чем любая поэма, подобное цветущей над головой розе неба.

Проклятие изгнания стало для поэта благословением. Потому что именно в сумрачном лесу ссылки встретил он трех Зверей. Потому что именно в вынужденной ссылке из города своей любви и фамильных корней обрел он путь к граду Господа. Потому что изгнание привело его сюда.

Снова мысли поэта повернулись к тем, кто любил или старался любить его, к тем, с кем он обошелся жестоко. Его жена молча страдала все семнадцать лет их скитаний и все семнадцать лет терпела холодную, разрисованную кольчугу его страха и эгомании. И как же крепко они, как оказалось, были спаяны, потому как чем сильнее страх загоняет человека в убежище от страха, тем сильнее он отделяет человека от мира.

Как церковь полагает еретическим любое предположение, что планета людей не является тем центром, вокруг которого вращается Вселенная, так и гомоцентрическая вселенная эгомании может представляться естественной, микрокосмос в макрокосмосе, но на деле противна природе, ибо человек — центр ничего, он бо-

лее незначителен и менее реален, чем водяная пыль, взлетавшая все выше вместе с поднимающимися волнами приближающегося шторма.

То, что прячется от страха в себе, не может быть от Бога. Изнутри должна исходить не злоба, не извращенный яд страха, но лишь чистейшая любовь, которая в своей истинности уничтожает страх. Он должен любить тех, кто любил и старался любить его. Он должен любить всех.

Громадные волны разбушевавшегося моря надвинулись на него, и в их оглушающем реве он услышал громовую команду:

— Вложи всю душу твою в крик и брось его в меня со всей силой, пусть даже голос твой сорвется и горло лопнет и всего тебя вывернет наизнанку; для меня твой крик будет лишь тишишим шепотом, подтверждающим, что ты слышишь меня и заслуживаешь прощения и любви.

И крик вырвался из уст поэта с такой яростной силой, что внутри у него все скрутилось и содрогнулось и, чтобы не упасть, он отчаянно вцепился в поручень побелевшими от напряжения пальцами, однако же матрос, стоявший не далее чем в семи шагах от него, ничего не услышал и, по крайней мере, даже не взглянул на него.

Он крикнул снова, еще сильнее, насколько хватило духу, вложив всю ярость, все напряжение, всю мощь грохочущей в жилах крови, выплеснув в море своего исповедника и спасителя, и во Всё, оглушающе-ревущее, бессловесное, властное — quisquis fuit ille deorum — остатки страха, неправды, воли и то последнее нечистое и темное, что было в нем и что было им.

Шторм крепчал. В темных небесах гремел гром, блистали молнии, а из тяжелых туч хлестал дождь. Нечего было и думать о том, чтобы спать на палубе на открытом

воздухе. Многие дни и ночи корабль следовал не по воле капитана, а по воле ветра и волн, швырявших его то сюда, то туда, и даже ночью не было звезд, чтобы определить курс. Не навигация, не маневры с рулем и парусом, но лишь единственно судьба помогала кораблю обходить мелководье и рифы. И капитан, и лоцман, и звездочет были одинаково бессильны. Повернув от берега и обойдя Гаргано, корабль оказался в опасной близости от скал, торчащих из воды, как обломанные зубья. Вода в трюме быстро прибывала, и, когда корабль подбрасывало страшными волнами, эта вода становилась внутренней волной, ходившей от кормы к носу. Смытые этой внутренней волной крысы в отчаянной попытке спастились лезли друг на друга, живые цеплялись за мертвых, топили других живых, и весь этот перепутавшийся клубок живых и мертвых разваливался только тогда, когда корабль наклонялся в противоположную сторону, и тогда живые как сумасшедшие устремлялись к воздуху вверх, а мертвые не разбирали пути, так что было невозможно ни пройти по кораблю, ни лечь спать, не наткнувшись на мерзкий голый хвост, или сырую вздыбленную шерсть, или крысиную вонь. В конце концов обезумевшие и оголодавшие твари начали реветь и пожирать своих мертвых и забираться в бочки с провизией, а потом, осмелев, принялись прыгать и на людей, впиваясь зубами в кусок, который какой-нибудь несчастный подносил ко рту.

Все время бури никто не осмеливался подойти к борту из страха быть смытым волной или сбитым с ног порывом ветра, так что дажеочные горшки оставались неопорожненными. Вонь, человеческая и крысиная, заполнила внутренние помещения корабля, заставляя людей затыкать носы и закрывать рты тряпками, отчего они становились похожими на сарацинов или разбойни-

ков, но и это не спасало, и матросов рвало, что только добавляло вони и грязи. Двое из покусанных крысами заболели, воспалившись язвы — у одного на правой ноге, у другого на левой — загноились, и началась гангрена. Корабельный врач, сам дрожащий от лихорадки, отпилил пораженные члены, чтобы сохранить несчастным жизнь. Потом он прижег окровавленные обрубки раскаленным мечом, а отпиленные конечности были перенесены на палубу, где их обмотали возле колена веревкой и подвесили, привязав к поручню, в надежде привлечь этой приманкой крыс, дабы перебить их на палубе или смести за борт, для чего наверх поднялись все, кто еще держался на ногах. В итоге потерявшие конечности потеряли и жизнь; умерли и еще двое — их погубила лихорадка, и их распухшие, почерневшие языки страшно выступали между пересохшими и раздувшимися губами. Ни у кого не хватило смелости предложить вслух то, о чем все думали: эти тела можно было бы использовать как еще одну приманку для крыс. К утру скончались еще двое, и их, как и предыдущих, без всяких церемоний сбросили в море. Поэт, единственный из всех путешествовавших в качестве пассажира, а не члена команды, оказался также и единственным немножко знавшим латынь, а потому капитан позвал его на палубу прочитать нечто вроде молитвы по усопшим.

Бушующий ветер и сокрушительные волны не позволяли искать убежища в портах, и по мере того, как ливень превращался в низвергающийся с небес поток, столь же могучий и опасный, как и вздывающиеся вокруг и падающие на палубу волны, люди уже не успевали обсыхать и, грязные, провонявшие и мокрые, дрожа, ежились на грязных, провонявших и мокрых койках, где на них нападали потерявшие страх крысы. Если кто-то, разбуженный вонзившимися ему в подбородок крохотными когтями или вцепившимися в губу зубами,

вскакивал с воплем ужаса и отбрасывал гадкое создание в сторону, оно, скорее всего, падало на кого-то другого, так что спали немногие, если не считать тех, кто уже лежал в болезненном забытьи или не поднимался из-за истощения, причем число и первых, и вторых постоянно увеличивалось, так как остатки провизии портились, гнили, в них заводились черви, их покрывала плесень или пожирали крысы.

Страдая от голода и страха наравне со всеми, поэт ни разу не почувствовал приближения смерти и скорее воспринимал происходящее как епитимью, возложенную морем-духовником не на него, но на всех и каждого, кто оказывался на пути этой епитимьи. Очнувшись однажды утром от внезапной боли — какая-то крыса запуталась у него в волосах и отчаянно скреблась, пытаясь освободиться, — он поднял руку и схватил тварь вместе с изрядным клоком волос, а увидев жуткое мерцание желтых глаз и желтых зубов, стиснул ее покрепче и сжимал до тех пор, пока не услышал слабый хруст, напоминавший треск ветки, и не увидел, как кровь, просочившаяся изо рта твари, медленно окрасила ее желтые зубы красным и тонкой струйкой потекла по его большому пальцу. Тогда он со всей силой швырнул крысу в стену, и она на какой-то миг повисла на стене, словно приклеившись к дереву липкими кишками, затем упала, оставив на стене след своего медленного сползания, как будто эта темная, липкая жидкость направляла ее путь вниз. Поэт поднялся и, шатаясь, подошел к стене. Опершись о бимс одной рукой, он протянул другую и прижал окровавленные пальцы к оставшемуся на стене влажному комочку плоти. Вымазав подушечки пальцев, он дважды провел ими по стене и изобразил знак креста.

Он не знал, зачем и почему сделал это. Просто сделал. Находясь в полном сознании, но, не думая, без всякой мысли, не скрываясь, он просто сделал это. И пока он

просто делал это, испанцы, бывшие там, просто смотрели на него. Даже если кто-то и посчитал его деяние кошмарным святотатством, обрекающим их всех на верную смерть, у них не было сил ни остановить его, ни закричать, ни даже завыть от страха.

В ту же ночь, когда корабль вошел в Средиземное море, дождь вдруг прекратился, волна улеглась, в разрывах черных туч блеснули звезды на черном небе. Буря улеглась, волнение кончилось, и звезды расшили серебряной нитью черноту очистившегося неба. Утром все, кто не умирал, вышли на палубу и стали у борта, чтобы посмотреть на поднимающееся солнце, как будто оно было неким богом; и корабль лег на курс под золотым диском светила, и попутный свежий ветер наполнил их парус, и тогда все повернулись к поэту, словно он был их спасителем, наделенным силой святого. А он радовался тому, что снова видел пену, и водную пыль, и ликующие волны моря-исповедника, чья буря поглотила его обращенный к Богу крик, чье спокойствие успокоило его после долгой ночи и на которое он теперь смотрел как на спасителя, наделенного силой святости.

На море уже виднелись другие корабли, шедшие под большими парусами, потом появились парящие над водой чайки и суэтливые птички помельче. Из тумана поднялись пики далеких гор. В свою очередь, на корабле подняли флаги Испании, дома Арагонов и Сицилийского королевства.

Солнце стало из золотистого бледно-желтым, когда бросили якорь; а когда баркасы доставили в порт живых и умирающих, оно стало розовым. Поэт ступил на берег, когда солнце ушло с неба. Посмотрев на сумку у ног, он увидел, что пыль в этом месте имеет розовый оттенок заката. Поднятая, она кружилась, вихрилась и плыла, напоминая эфемерные тени чего-то невидимого, а издалека, проникая через близкий гул и шум порта, доноси-

лись, кружка, вихрясь и плывя, напоминая эфемерные тени чего-то невидимого, унылые завывания, которых он никогда не слышал, похожие одновременно и на по-гребальную песнь, и на призывный зов сирены.

Поэт поднял сумку и медленно направился по извилистым прибрежным улицам с клубящейся пылью в направлении доносящейся из-за пыли коварной и призывной песни.



Дэвид, мой друг в Саванне, не имел известий от меня с того дня, когда я звонил ему после встречи с джентльменом из Национальной библиотеки. Но голос Мефистофеля он услышал.

Два дня понадобилось Дэвиду на то, чтобы продать две присланные ему страницы. Меньше сорока восьми часов. Одна принесла более трех с половиной миллионов, другая более четырех. После выплаты комиссионных моя доля, не подлежащая налогообложению и совершенно законная, составляет около четырех миллионов.

Баджан, язык коренных барбадосцев, на самом деле нечто вроде креольского английского, едва отличимый от того английского, который преподают в школах Барбадоса, Нью-Йорка или Лондона.

На берегу какой-то старики привлекает мое внимание к большому и старому дереву.

— Манцинелла, — говорит он. — Очень опасно. Надо держаться подальше.

Манцинелла.

Одно слово вызывает в памяти другое.

Манихеи.

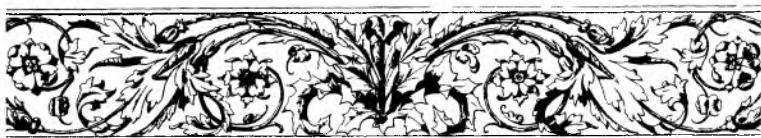
В густом, ароматном воздухе, в тени дерева, о котором говорил старики, я чувствую присутствие того, что почитали священным манихеи: света и тени, Бога и Сатаны, существующих вечно и неразделимо.

— Этот сок, приятель. Этот плод. Убивают насмерть. Много людей имеют врагов. Одна капля манцинеллы в кофе, и врага больше нет.

Большое дерево. Прекрасное дерево.

— Вон тот плод, приятель, видишь? Похожий на яблоко, да? Никто не знает, каков он на вкус, потому что тот, кто попробовал, не успел рассказать. Так что держись подальше от него, приятель, и будешь о'кей.

Белые бабочки, играя, кружат и порхают.



Живя для детей и через них, Джемма открыла, какие любовь и счастье благословили ее юные годы. Их няни, нанятые ее мужем, были по-своему добры и хороши, но почти или совсем не привносили в отношения с подопечными того волшебного духа единства и заговорщичества, который объединял ее с няней. Она старалась вовлечь их в сказочный мир стихов, сказок и песен, ставший для Джеммы самым далеким и разбитым воспоминанием. Но если ее добрая няня была ангелом солнца и этим счастливо отличалась от постоянно ссорящихся, унылых отца и матери, то сама Джемма, как ни старалась создать атмосферу веселья и сказочности, то и дело тяряла маску жизнерадостности, невольно являя детям лицо женщины, обремененной заботами. В ее веселых рассказах о мечтах детства и юности сыновья и дочь легко различали печаль и грусть, едва прикрытые покровом беззаботности, несчастный конец сбывающихся мечтаний.

«И я спросила служанку: «А подарит ли он мне розу?» И она уверила меня, что подарит. Пришел день, и ваш отец, преклонив колено и уткнувшись голову, преподнес мне красивейшую из роз».

Не зная о том, что мать делает это, пытаясь придать холодному, лишенному любви браку по контракту хотя бы толику романтичности, дабы поощрить их воображение, дети, слыша такие рассказы, замыкались в себе, испытывая меланхоличное чувство вины, словно это они положили конец роману, бывшему светом ее жиз-

ни. Веря, что романтическая история с розой не является выдумкой, они делали вывод, что история эта завершилась с их появлением на свет, потому что ничего похожего ни на запах той розы, ни на сияние благодати, осенившей когда-то их родителей, давно уже не осталось.

Не произнося этого вслух, они чувствовали себя виновниками смерти розы, и ее любовь к ним в воображаемой перспективе этой жертвы и утраты побуждала их тем сильнее любить ее.

Рассказ о женщине-поэте из Прованса вызвал у них неподдельный интерес и пробудил любопытство, вылившееся в поток вопросов, таких, например, как: почему она, владея столь прекрасным языком, не сочиняет стихи, как это делает их отец, или почему, если сочинение стихов угодно Богу и сердцу, их отец живет так трудно? На это Джемма ответила, призвав всю свою искренность и достоинство, что ее поэзия, поэзия прекрасная и переполняющая душу, — это ее дети, дав жизнь которым она исполнила свое предназначение, и что теперь их разворачивающиеся жизни суть самые чудесные и богоугодные поэмы. Что касается их отца и его кажущейся мрачной уединенности, то это объясняется грандиозностью и монументальностью взятого им на себя труда, и что создание задуманной им поэмы равнозначно построению великого стихотворного собора во славу Господа.

Разговор тот состоялся во время их пребывания в Вероне, первом городе, давшем убежище изгнаннику, в небольшом домике, предоставленном в распоряжение семьи поэта любезным Бартоломео делла Скала. «Комедия» тогда, как подозревала Джемма, если и существовала, то только в неопределенno-зачаточном состоянии в душе ее мужа. Тем не менее она ощущала — в его серьезности, самоуверенности и болезненной мечтательно-

сти, — что он вознамерился возвести храм собственной славы, вырубив его в мраморе эпоса.

Тогда, в Вероне, в первый год их скитаний, ее старшему сыну не хватало трех лет до восемнадцати, но он уже многое знал и отличался зрелостью суждений. После одного из таких разговоров матери с детьми, когда младший брат и сестра ушли в сад, он остался с Джеммой и негромко сказал:

— Я слышал, как читали сонеты и канцоны из его книжки.

— Они милые, правда? — в замешательстве отозвалась мать, умело скрыв истинные чувства под наигранной любезностью.

— Да, милые. Но я не нашел в них никакого собора, о котором вы говорили. — Он мягко улыбнулся матери, словно давая понять, что дух тайного и веселого сообщества, достичь которого она так пыталась, отныне будет определять их отношения. — Мне они показались скорее стишками девчонки, склонной к аффектации.

— Ох, — вздохнула она, чтобы сын не посматривал на отца сверху вниз, — он был совсем молодой, немногим старше, чем ты сейчас, когда начал сочинять те сонеты. Когда писалась книга, тебе было всего семь лет.

— И все же он был уже воином, причем храбрейшим, как говорили и вы, и другие. По-моему, те стихи совсем не в его духе, они слишком легкие, слишком хрупкие, слишком... женственные.

— Ты же знаешь, что так пишут все придворные поэты.

— Да. Но хотя я восхищаюсь формой этих стихов, мне больше по душе новые, те, которые позволяют более правдиво выразить то, что находится внутри нас, то, что есть в действительности.

— У тебя есть дух, мой дорогой. Да пребудут твои чувства с тобой, куда бы они ни привели тебя.

— Что он пишет сейчас?

— Ты должен понять, каким ударом стала для отца ссылка, выпавшая на его и нашу долю. Чтобы мы могли есть и жить, ему приходится заниматься переводом писем и документов на латынь и переводить с латыни, составлять документы для двора, служить посыльным и послом. Знаю, что, помимо этого, он пишет трактат по ораторскому искусству, с тем чтобы придать *lingua volgare* достоинства латыни.

— А кто такая эта Беатриче, которую прославляют его сонеты и канцоны?

Его мать тихо вздохнула, как бы ища во вздохе возможность смягчить ответ, но, не найдя такой возможности, попыталась обставить его нарочитой небрежностью тона, заменив правду глубины правдой поверхности.

— Твой отец никогда не знал ту, которая носила имя Беатриче; она — его вымысел.

— Но он воспринимает ее и ее смерть очень реально.

— Таким и должно быть искусство придворной поэзии и нового стиля, в отношении к которому ты, возможно, проявил поспешность и резкость суждений.

— Но, на мой взгляд, ему стоило бы прославлять ваше имя.

Она привлекла его к себе, и мальчик притих, ощущая материнскую доброту в неспешном поглаживании ее руки.

— А кто такая госпожа, чье имя Биче?

Она молча и внимательно посмотрела на него. И юноша почувствовал, что рука ее остановилась.

— Несколько лет назад, года три или, может быть, четыре, отец взял меня с собой в Болонью, чтобы поговорить о моей будущей учебе с одним господином из университета. В дороге он уснул, а проснулся только тогда,

когда мы уже подъезжали к воротам дома того господина. Его разбудил толчок кареты, и, еще не очнувшись от сна, он произнес имя Биче. Я испугался и не посмел ни о чем его расспрашивать, но всегда хотел узнать у вас.

Джемма почувствовала боль. Она не знала, что ответить, потому что понимала: рано или поздно сын узнает правду, и, зная, что лгать нельзя, не могла раскрыть ту глубинную правду, которую всего несколько мгновений назад скрыла под правдой поверхностной, ничего не значащей, ловко рассчитанной, чтобы избежать стыда, как не могла отделаться еще одной мелкой правдой, объяснив, например, что Биче — это имя жены друга отца, великого поэта Кавальканти, понимая, что такая увертка не только приблизит ее к неприкрытой лжи, но и сооздаст для ее сына еще одну, дополнительную тайну, основанную на неверном толковании ее слов.

— Думаю, об этом тебе лучше спросить не меня, а твоего отца, — сказала она.

Мальчик не стал спрашивать отца, потому что боялся его, и потом, став мужчиной, он тоже не спрашивал отца, потому что боялся его. Не более чем через десять лет после того памятного дня он получил молчаливый ответ. Было ему тогда двадцать восемь.

Однажды утром старший сын и младший сын, сам давно знавший о загадке стихов и имен, наткнулись среди прочего мусора на столе отца на обрывок пергамента. Обрывок был испещрен некоторыми астрономическими значками и пометками, явно сделанными знакомой им рукой. Но привлекли их внимание не наспех и небрежно нацарапанные строчки, а то, что располагались ониnimбом вокруг четырех тщательно выписанных слов: «О, Биче, моя Беатриче». Вечером братья посмотрели на отца, потом переглянулись, и старший резко фыркнул и мед-

ленно, едва заметно покачал головой, выражая усталое презрение, что не укрылось ни от кого.

Он не сказал об этом матери, и она никогда не слышала ни от него, ни от других детей имени Беатриче или Биче.

Ее любовь всегда была с ними. Именно старший сын удивил ее однажды, подарив прекрасную розу, что делал и потом по тому или другому случаю, и остальные дети стали делать то же самое. Временами, в те дни, когда роза появлялась вслед за мыслями о ноже и запястье, Джемма плакала, благодарная тому, что спасло ее; временами она плакала, сама не зная отчего, но даже тогда, когда слезы изливались из источника мира меланхолии, в сердце этого мира была роза.

С любовью наблюдая за тем, как дети растут, она замечала, что каждый словно приобретает ту или иную черту своего отца, того, кого они воспринимали как чужого. Он был разнолик, и каждому из ее детей доставался особенный лик: поэта, мирянина, человека не от мира сего, чья душа посещала места непонятные. И по мере того как один обращался к стихам, другой — к законам, ее хрупкая и болезненная дочь все чаще и чаще уходила в себя, в последнее убежище огражденного стенами монастыря.

С любовью наблюдая за тем, как дети растут, Джемма радовалась, что они, приобретая черты отца, берут и частичку того, что когда-то было ею. Да, они были детьми розы. Все и каждый.

С любовью наблюдая за тем, как дети растут, она видела также, как сама стареет и высыхает. Боже, как же быстро пролетели пятьдесят лет: бабочка в весеннем саду детской магии; вот она вспорхнула и с замиранием сердца отдалась свежему ветру, перенесшему ее в пустыню, где нож, перерезавший стебель розы, занесен над

запястьем, где то, чего не дал ей муж, дали дети, вышедшие из ее лона, где выросшие дети ушли от нее и где не осталось ничего, кроме дыхания, биения сердца и темного шепота, того, что было когда-то звонкой и радостной песней.

Пришла ночь, и она не зажгла свет, а осталась сидеть, молчаливая и неподвижная, слившаяся с тенями.



Деньги идут волнами, волнами евро, волнами фунтов стерлингов, волнами долларов — волны, волны, волны.

Мефистофель теперь воспринимает меня как первого-очередного клиента и друга.

— Известно ли вам, — спрашивает он, — что порнография дает более шестидесяти процентов прибылей от торговли по Интернету?

— Нет, — говорю я.

— Известно ли вам, что более девяноста процентов бесчисленных порнографических предприятий, работающих в Интернете, контролируются — разумеется, скрытно — двумя крупнейшими медиаконгломератами, специализирующими на развлечениях?

— Нет, — говорю я.

— Известно ли вам, что конгломераты готовятся развивать интерактивную порнографию в режиме реального времени? Как говорится, удовлетворение гарантировано — виртуальная проституция по вызову.

— Нет.

— Известно ли вам, что в результате такого развития дел прибыль в этом секторе увеличится в десять раз и больше?

— Нет.

— Известно ли вам, что «Силикон графикс», продающая сейчас свой товар по значительно заниженной цене, является единственной компанией, способной обеспечить технологию, необходимую для такого развития?

— Нет.

— Что ж, я просто подумал, что вам стоит знать, потому что я собираюсь купить утром десять миллионов акций и это приведет к подъему цен. Так что, если вам интересно, сейчас самое время.

— Купите десять миллионов и для меня.

— Хорошо.

— Ну а что с этими двумя конгломератами?

У меня больше нет нужды или причин заниматься спекуляциями или инвестициями. Блек-джек уже потерял прежнюю привлекательность. Единственный способ пощекотать нервы — сыграть по-крупному. Миллион акций здесь, десять миллионов там.

Продано ровно сто тринадцать страниц. Я не спешу продавать остальное. Некоторые не продам никогда: первую страницу «Ада», последнюю страницу «Рая», последнюю пергаментную страницу, предшествующую бумажным, на которой я разобрал нанесенные другой рукой слова, не дошедшие до мира.

La via sola al paradiso incomincia nel inferno.

Единственный путь в рай начинается в аду.

Волны денег: волны, волны и деньги.

Но вот другая рука, та, другая рука. Чем больше я смотрю на эти бумажные страницы — оригиналный набросок последней песни «Рая», но написанный иным почерком, — тем больше недоумеваю и тем больше недоумение сводит меня с ума.

Наступает ночь. Я ощущаю смерть как дыхание, исходящее из ноздрей притаившегося в темноте, где-то рядом, зверя.

Дыхание и проклятие души. То, что было дыханием — *ψυχή* — для греков, *psyche* — для римлян, стало удушием разума для нас.

Там, где я, — полночь, где Мефистофель — утро.

— Возьмите мне еще десять миллионов акций, — говорю я.

Я спускаюсь к морю, к лунному свету, к теням, затаившимся в тенях большого старого прекрасного дерева.

Я закрываю глаза, ухожу в тени внутри меня. Вижу лицо дочери: ангел, от которого я отвернулся, ангел, которого я бросил. Смерть развела нас и покарала меня. Любовь, расцветшая между нами, была погашена, похищена, и все, что было бы сказано, что могло бы стать радостью для нас обоих, навеки затенялось в молчании.

Я открываю глаза и вижу другие тени. Теперь я знаю. Та рука. Та, другая рука на бумажных страницах. Теперь я знаю.



Сумерки, окрасившие кружашуюся пыль темно-розовым, растворились в ночи, когда он приблизился к чувственно-дрожащему, то слабеющему, то нарастающему протяжному крику, который мог быть и плачем, и жалобной молитвой, и погребальной песней и который манил его. По мере того как звук становился громче и отчетливее, поэт начал различать в нем не один голос, а переплетение голосов, в свою очередь переплетавшихся с высокими, плачущими тонами неких духовых инструментов, задающих пульс всех девяти небес, то ускоряющийся, то замедляющийся, сливающийся с ритмичными хлопками по туго натянутой коже, громыхающий, отдающийся гулким эхом с пронизывающими его позвякиваниями погремушек.

Звук напомнил ему искусную каллиграфию письма, одновременно изящную и могучую, чья выразительность формы захватывала, хотя смысл оставался за пределами понимания. Но в звуке есть сила общения, говорящая собственным голосом и не зависящая от слов песни, которыми благословлена музыка. Так что, тогда как кружящиеся и переплетающиеся голоса расчерчивали воздух колдовской каллиграфией, многоритмовый бой барабанов и систра вместе с плачущими вскриками и стонами духовых обращались к нему напрямую, в обход разума и, грохоча и завывая внутри его, требовательно убыстряли пульсы его собственного тела, пока поэт сам не стал этим звуком, а звук не стал им.

Как ни изнурило его путешествие, сумка в руках уже не казалась обузой, и поэт уверенно направился к тому, что в кромешной темноте выглядело далекой крепостной стеной, на которой метались и плясали в демоническом танце тени, отбрасываемые невидимым огнем. Грохот и завывания в нем становились интенсивнее, горячность страсти нарастала, как будто поэт был уже не просто звуком, но и неким таинственным образом соединился с фатумом звука, тем, что управляло им, неизвестной и неведомой судьбой. Потом он повернулся у стены, на которой плясали демоны, и в это мгновение, когда сцена с пляшущими демонами и колдовской каллиграфией звуков предстала перед ним, обжигающе лютая страсть в нем и вне его потрясла поэта; гром расколол воздух, стон рассыпался на кружево криков, в которых мука смерти сплелась с невыносимым экстазом, потому что все это было заключено между тремя стенами древней *piazzetta*, и это замкнутое пространство, открытое ночному небу и зубчатой стене с демоническими тенями, напоминало некое шумное святилище, наполненное гулким эхом всего, что сотрясало и насыщало адский воздух, пронизанный волнами жара, идущего от нескольких костров и превращающего в пекло ночную духоту, отчего все те, кто издавал те или иные звуки, блестели, а те, кто плясал, разбрасывали фонтаны капель пота, смешивавшихся в полете с разлетающимися от костров искрами.

Впрочем, костры не только разбрасывали скачущее пламя и испускали волны жара, но распространяли запахи, несшие ароматы самых экзотических специй, потому что над огнем высились треножники, с которых свисали котлы, а кое-где в ямах, прямо на углях, жарились барабашки или окорока, и стекавший с них жир потрескивал и разбрзгивался, и за каждым потрескиванием и разбрзгиванием следовал взрыв прямых запа-

хов гвоздики и корицы, на мгновение перекрывших все прочие запахи.

Поэт положил сумку на землю и прислонился к стене, где не было костра. Потом сжал сумку ногами, ослабил завязки накидки, снял berretta и infula и прижался затылком к прохладному камню. Он закрыл глаза и попытался ощутить тот фатум, что был в нем и вне его, ту странную, колдовскую каллиграфию всепоглощающего звука, который оплакивал и поднимал к Богу, и вел песнь, разрывавшую сердце на куски, с тем чтобы оно снова могло биться.

Он всю жизнь исповедовал христианскую теологию и философию, всю жизнь учился, изучал и напряженно размышлял. Однако теперь происходящее перед его глазами оказалось сильнее. Эти люди поклонялись ложному богу и были противны всему христианскому. Но как же он сам? Он, который из всего христианского мира выбрал проводником по раю не какого-нибудь признанного отцами церкви мудреца или святого, не святого Петра или Августина, но умершую жену ростовщика. Аллах и мертвая супруга ростовщика. Если защищать свой выбор тем, что она стала персонификацией божественного, то можно ли проклинаять тех, кто воспринимает божественность в ином боже? Поэту вспомнились слова старого еврея: «Вера всего лишь знак рождения, который мы носим, почти незаметная пуповина, связывающая с местом и временем, пуповина, которую мы редко решаемся перерезать».

С одним ему пришлось согласиться: люди, способные создавать такой внушительный, такой чувственный шум, — люди сильные. Он не знал, что это — священный праздник, пиршество или похоронный ритуал, — потому как нескончаемая песнь несла и горькие стена-ния, и восторг одновременно и лица мужчин были иска-

жены пугающим безумием отблесков пламени и теней, а на лицах женщин, скрытых под платками, ярко блестели глаза, похожие на темный янтарь, торжественно-бесстрастные и пронзительные, почтительно-скромные и страстные, спокойные и дикие, выражавшие сотни других чувств и состояний, меняющихся как по волшебству по велению того же безумия пламени и теней.

Потом поэт понял, что сияющий блеск янтаря бесчувствен и нем и что дело не в женщинах с закрытыми лицами, которые намекают глазами на многое таящееся в них, а в нем самом, что это его глаза наполняют их безумием огня и теней, что это его свободная и пылающая душа наделяет их сумасшествием беснующегося света. И, осознав это, поэт понял, что свобода и жар его души есть добро, потому как идут от него самого, а значит, от Бога. И если этот крик, шум и ор величественной невидимой каллиграфии вызывал к Аллаху, то не Аллах потряс, пронзил и воспламенил его свободой, но Тот, кто создал Адама и также все эти заблудшие души, не знающие Святого Духа, чье незримое, внушающее трепет присутствие заполнило это место.

Поэт подивился тому, что при сицилийском дворе прижились песни трубадуров, ведь эти звуки, конечно, были слышны и там. Как бы выглядел цветок *stilnovisti* рядом с бушевавшей здесь бурей? А он сам, сочинивший столь много приторно-сладкого, провозгласивший *il dolce stil nuovo*? Разве не ощущал он в своем сердце великой, смутной тоски? Не знал того, что знало его собственное, скрытое сердце, что сладость и новизна взращенного им стиля есть лишь средства приближения конца? И что конец этот есть *stil eterno*? Песнью этого был вой волка в его чистилище. Он был каденцией мудрости Экклезиаста. Он был криком его души, который поглотило море. Он был песней, которая только что зачаровала и потрясла его.

Быть потрясенным и зачарованным — прекрасно. Смертный приговор и ссылка лишили поэта того, что положила перед ним мирская судьба. Вкусить богатства, затем лишиться его: такая потеря изнуряет и изматывает сильнее, чем любой физический труд. Потому как нет в этом мире человека, который не ценил бы и не лелеял богатство и увесистость кошелька. В сказках и баснях слово «золотой» повторяется бесконечно в пре-восходном по отношению ко всему прочему смысле — золотые слова и золотое солнце, золотое сердце и золотые годы, — и, бесконечно повторяясь в этом риторическом значении, оно искажает и отвергает то, что человек в своих измышлениях считает благородным и возвышенным.

Именно богатые наиболее убедительно твердят о богатствах духовной жизни и о никчемности мирских богатств, которые не приносят ни радости, ни спасения души. Но истина состоит в том, что если человек духовно един со Всем, если он способен радоваться и если ему надлежит найти путь к спасению, то земные богатства дают ему возможность жить свободно и полно духовно, в радости и во спасении. Как в древнеримские времена раб мог купить свободу, заплатив монетой за «вольную» грамоту, так и теперь человек приобретает за деньги свободу жить. Если буханка хлеба хорошая вещь, то так же хороши средства для ее приобретения, а еще лучше те, которые позволяют покупать ее всегда без всяких забот или отдавать ее тому, кто голодает.

Но вместо флорентийского золота у поэта не было теперь ничего, и он опустился до положения поденщика, нищего, исполняющего то, что велят другие. Да, он потерял все и теперь с горечью размышлял о том, как все могло бы быть. Именно поэтому было так хорошо испытать потрясение, очарование и свободу: ведь мечты о бо-

гатстве и выкупе давно умерли, а сам он превратился в монету, которой играют руки тех, кто богат. Этот мистический шум, крик и ор, захватившие его, как прежде захватило море, был «вольной» грамотой безденежного бедняка, чья свобода в жесте танца cornuta Пантократора, бедняка, принадлежащего непознаваемой тайне, ее пленника, бедняка, который таким образом был ее золотом, ищущим свободы в пламени духа, в пламени, способном растопить его, превратить золото в жидкую субстанцию, которая лишь на одно мгновение просочится сквозь стиснутые пальцы, прежде чем атмосфера этого материального мира отольет его снова в чью-то звонкую монету. И в том состояло потрясение, чтобы в какой-то миг, миг, когда мир вспыхнет ярким пламенем, можно было купить видение настоящей свободы, свободы без золота, о которой так любят на досуге потолковать озолоченные, и в тот миг, миг между плавлением и охлаждением, попасть в иной мир. В этом ином мире нет ни горечи утраты, ни раскаяния, ни жалости к самому себе, ни скорби по оставшемуся в том прежнем, своем мире.

Крик, отданный морю, очистил и опустошил поэта, поэтому теперь он наполнялся. Пусть у него не было богатств, но зато он владел Всем. И пусть он не мог раздать богатства, он мог раздать Всё, что было в нем. Как раз в этот момент кто-то, возникший как призрак из дыма и теней, пламени и суеты, предложил поэту на деревянной палочке кусок мяса, еще шипящий, испускающий аромат и сочащийся кровью. Он вгрызся в него, как зверь, ощущая вкус и утоляя голод многих дней, а может быть, недель, и кровь барашка была сладкой на губах.

Потом второй призрак подал ему глиняную чашку с ароматным мясным отваром; затем предложил какого-

то странного вина, которое одновременно гасило пламя и разжигало его, словно нарочно утоляя и пробуждая жажду; затем поэт получил еще мяса, комочек фиг и орехов, облитых медом, еще отвара, на этот раз голубя, и снова крепкого вина, обжигавшего и гасившего жар.

Как долго продолжалось это пиршество и безумие, поэт не знал, потому что звезды двигались не так, как предопределено небом ночи, но как в стремительном танце ускользающей грации.

Он добрался до двора глубокой ночью, идя на ощупь вдоль крепостных стен, пока не увидел горящий факел в железном канделябре, вделанном в массивный камень арки сторожевого портала. Хотя в сумке в него лежали litterae посольства и lettera di salvo condotto, он знал, что больше похож на человека, выброшенного из реки зловонных нечистот. Боясь прикасаться к документам и *sicurtà*, дабы не испачкать их, он попросил стражника принять сначала сумку, чтобы можно было изучить письма, затем принять его, чтобы он мог получить комнату, помыться, побриться, отдохнуть и сменить одежду, чтобы затем, в свете дня, достойно явиться ко двору. Процедура переговоров затруднялась и затягивалась из-за языковых проблем. Во-первых, стражник не знал латыни, на которой были написаны письма. Во-вторых, сам стражник был испанцем, плохо говорившим на местном языке. И наконец, поэт, мало знавший язык Испании и с трудом прочитавший лишь несколько строчек на *lingue di si*, только теперь понял, что язык Сицилии не столько диалект, сколько самостоятельный язык, причем в высшей степени непонятный. В результате он пробормотал сколько-то путаных слов на латыни, добавил немного итальянских и испанских и даже бросил наугад кое-что на сицилийском, на что стражник ответил скотоговоркой по-испански, затем прибег к корявому сицилийскому и завершил отважной попыткой на языке гос-

тя. Все дело решила печать на письме, выглядевшем в высшей степени внушительно, это и тот факт, что поэт был один. Открыть ворота стражника побудила не добра и не жалость к несчастному, а скорее страх перед возможным наказанием со стороны начальства, если прошитель не будет пропущен. Так или иначе, тяжелые железные ворота открылись перед замершей тощей тенью.



Deus abscondita. Бог, скрытый от человека. Я нашел его.



Поэту дали лодку, чтобы переправиться на остров.
Огонь башен порта Трапани исчез за его спиной во
мраке ночи.

Море странным образом затихло и замолкло, когда
громоздкие тени островов с арабскими названиями Ра-
хих и Газират аль-я-Бисах выросли перед ним и ушли.

Когда лодка, обойдя мыс, взяла курс на древний ост-
ров, носивший старое арабское название Газират Мали-
тимах, поэт почувствовал себя одним из проклятых, и
сам остров, возникший в мерцании полумесяца, имел
вид острова проклятых, или мертвых, или того хуже.

Неестественно спокойное море позволило поэту выйти
у прибрежных скал под извилистой тропой, ведущей
вверх, к треугольному пику черной горы, на котором
стояло нечто похожее на замок, частично вырубленный
из самого черного камня, частично построенный из гро-
мадных кусков скалы, доставка которых на эту изоли-
рованную вершину представлялась невозможной и не-
объяснимой с точки зрения любой теории.

Ущербная луна давала мало света. Подъем был дол-
гий и отнял много сил. Добравшись наконец до верши-
ны, поэт почувствовал себя так, словно целью этого вос-
хождения были звезды.

Слуга отвел его в комнату, где путник лег спать, а
утром его отвели к старцу, которого он искал и которо-
му передал книгу, полученную от еврея и имевшую на
себе знак Тринакрии.

Окруженный великой роскошью, старец был одет крайне скромно.

Поэт молчал.

Старик тоже ничего не сказал.

Слуга поставил перед поэтом золотую чашу с кусочками сущеного сердца тунца, хлебом, земляникой и финиками в каштановом меду.

— Мое имя Данте Алигьери, — сказал поэт.

— А! — Старик улыбнулся. — Мой старинный друг в Венеции общается с хорошими людьми. Я восхищаюсь вами. Вы поместили Елену Троянскую в круг *lussu-riosi* вашего ада, а блудницу Раав перенесли в рай. Вы превзошли Горация в употреблении слова *cauda* для обозначения *membrum*, потом отправили его в первый круг ада вместе с другими великими языческими творцами, никто из которых, насколько мне известно, не дал нам, как вы, такого яркого описания сношения человека со змеей. Да, я восхищаюсь такого рода вещами. К тому же прекрасно написанными. С нетерпением ожидаю завершения работы.

— Уж и не знаю, склонять ли мне голову с благодарностью или стыдом.

— Скажите, вы когда-нибудь имели сношение со змеей?

— Нет, а вы?

— Да. И клянусь всей святостью Мекки и всем золотом Зекки, я не сомневаюсь, что и вы тоже.

Поэт взглянул в глаза старика, не выдававшие никаких чувств.

— Итак. — Хозяин замка вздохнул. — Что вы ищете здесь? Могу ли я вам помочь?

— Он сказал, что вы видите будущее.

Старик долго молчал, все это время глядя в глаза гостю.

— Я отвечу на три вопроса. Приготовьте их тщательно. Я скажу, когда придет пора.

Прошел день, за ним другой. Рыбе и птице, зайцам и фруктам, казалось, не было конца. Луна, невидимая ночью, оставалась бледным призраком на дневном небе. С того места, где поэт ожидал ночи, его взгляду открывалось безбрежное море. Потом, когда небо начало темнеть, север сделался серым и розовым, а юг, за островами Газират аль-я-Бисах и Рахиб, лазурным и фиолетовым; затем цвета юга и цвета севера сплелись, и облака замерли над волнами. Он не знал этого неба. Все сгустилось и потемнело. Потом почернело.

— Пора, — сказал старик.



Да. Теперь я знаю. Тайна тех трех бумажных страниц, исписанных иным почерком, уже не тайна больше.

Старейшее из сохранившихся свидетельств переписанной копии законченной «Комедии» — это, как ни странно, несколько фрагментов на транслитерированном иврите. Эти бумажные страницы, находившиеся в библиотеке Талмуда и Торы в Ливорно, поступили в еврейскую Национальную и Университетскую библиотеки в Иерусалиме, «священном городе» зла, вскоре после провозглашения государства Израиль в 1948 году. Анализ водяных знаков позволил датировать фрагмент 1326–1332 годов. Есть также свидетельство существования полной итальянской копии, написанной во Флоренции между октябрем 1330-го и январем 1331-го. Но сотни копий полного текста, ныне утерянные, определенно были в обращении задолго до этого времени, что нисколько не удивительно.

В апреле 1472 года в Фолиньо Иохан Ноймайстер, обучавшийся ремеслу у Гуттенберга в Майнце, выпустил первое печатное издание «Комедии». Из неустановленного количества книг, составлявших то *editio princeps*, сохранилось, насколько известно, всего двенадцать штук. Последняя из них, находившаяся в частном владении, была продана без двух оригинальных листов на аукционе в 1999 году за сумму, эквивалентную почти миллиону долларов: новый рекорд для печатной книги во Франции. Учитывая почти полное исчезновение первого печатного издания 1472 года, можно предположить,

что множество рукописных копий, созданных за сто сорок лет до этого, просто не дошли до нас, затерявшиеся во мраке минувших столетий.

Считается, что первая из этих утраченных рукописных копий была сделана сыном Данте, Джакопо, и подарена покровителю поэта Гвидо Новелло да Полента через девять месяцев после смерти Данте.

Почему через девять месяцев? По словам Боккаччо, Данте завершил «Комедию», но после его смерти какая-то часть ее не была обнаружена. Затем, спустя восемь месяцев, как гласит легенда, дух умершего отца посетил Джакопо и отвел его к тому месту, где хранилась утерянная часть.

Джакопо был поэтом и стряпчим: опасная комбинация. А Данте — не будем забывать об этом — был всего лишь человеком, человеком, который на протяжении всей жизни с матерью Джакопо, на протяжении всего его детства, отрочества и юности публично и открыто стенал по поводу какой-то умершей шлюшки, которую он даже не знал. Джакопо, конечно, чувствовал что-то. Наверное, он чувствовал что-то вроде: *Beatrice, fellatrice, va fa'n cul', Beatrice maiala!*

Факт остается фактом: Беатриче исчезает из «Рая» как раз там, где начинаются бумажные страницы, там, где руку и божественный стих Данте сменяет — да, я верю, что это так, — рука и жалкий стих Джакопо, поэта, стряпчего и сына. Там, на пергаменте, поэма и заканчивается, заканчивается то, что написано рукой Данте, написано давно и в непреходящей славе.



Пламя свечи играло громадными тенями, когда поэт задал первый вопрос:

— Какое имя носит Бог истинный?

Тишина, разделившая вопрос и ответ, не была долгой.

— Истинный Бог не имеет имени.

Тишина, разделившая ответ и вопрос, затянулась.

— Освободится ли моя душа от мук и терзаний?

— Нет.

Тишина, разделившая ответ и вопрос, растянулась еще больше.

— Вы можете назвать час моей смерти?

— Да.

Поэт посмотрел в глаза старику, в глаза, казавшиеся мягкими от пламени свечи. Потом отвернулся.

— А теперь, — сказал его собеседник, — я должен спросить тебя кое о чем.

— О чем же?

— Что заставило тебя задать последний вопрос: страх или желание услышать предсказание твоей смерти? А может, ты просто хотел знать, могу ли я ее предвидеть и предсказать?

Поэт, смотревший в ночь, на море и звезды, не повернулся к собеседнику. Через какое-то время, почувствовав полную неподвижность того, он взглянул на него.

— Тогда скажите. Покажите мне мою смерть.

— Но ты задал свои три вопроса и получил три ответа.

— Да, ваша догадка верна. Страх заставил меня задать последний вопрос.

Глаза его собеседника выразили понимание.

— Я не уйду отсюда как трус. Я пришел сюда с достоинством и мужеством и с еще большим достоинством и мужеством уйду.

— Тогда я скажу тебе только одно: с достоинством и мужеством ты встретишь смерть.



Есть те, кого я люблю, и те, кто живет во мне. Некоторых я давно покинул. Другие давно покинули меня. Но все они живут во мне.

Есть другие, кого я не покинул, те, кто не покинул меня.

Когда моя вторая смерть, моя настоящая смерть будет рядом, я призову их к себе.

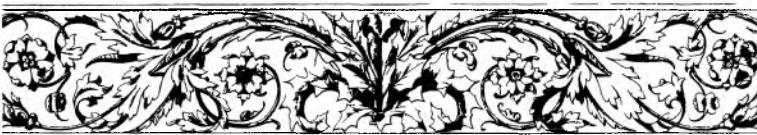
Как долго души этих других поддерживали меня вместе с моей собственной душой.

Боже, как я сейчас тоскую по ним!

Пусть знают, что я дышу. Пусть знают, что мы дышим вместе, как бы далеки ни были друг от друга. Нельзя, чтобы они узнали об этом только тогда, когда я призову их отметить неизбежное.

Боже, как я счастлив, что вместе со мной Джуллетта, чье дыхание я чувствую на своей коже и в своей душе и чьей кожи и души касается мое дыхание.

Что до остальных, то ни я, ни те, кто живет во мне, не желают вашей компании. Вы, те, кто из страха, глупости, зависти омрачали путь моей предыдущей жизни, как оскверняли свою собственную, вы, знающие, кто вы есть, как знают живущие во мне, кто есть они, — пусть ваша истинная смерть предшествует моей, как предшествовала ей смерть ваших душ.



Возвращаясь в Венецию, поэт поклялся, что создаст поэзию, которая избавится от всякой искусственности; поэзию, которая покончит с искусственностью и примет естественный, живущий в природе размер и ритм дыхания и стихий; в которой будут лишь свободные, необузданые, могучие рифмы; поэзию *sans entraves*, грохочущую и ревущую, подобно морю, подобно тому как он сам кричал в то ревущее море; поэзию, в которой метрика стиха сольется с нежным, тихим, неуловимым шелестом и вздохом Всего.

Никогда больше не будет его поэзия принужденной и заключенной в схоластические арифметические меры. Она создаст собственную форму, изливаясь из его заново рожденной души. Она расскажет о крохотной птичке, которая не умеет летать, о парящем в вышине ястребе, о кресте, нарисованном кровью крысы, о гробнице жизни и исходе оттуда к мудрости — к Ней, перед которой поэзия есть лишь коленопреклонение, зажженная свеча, которая, быть может, донесет отблеск света к гробницам других.



У меня длинные волосы или, может быть, бритая голова. У меня борода или, может быть, тевтонские усы.

Джульетта рисует; ей всегда этого хотелось. Я работаю с огромной каменной глыбой, работаю остервенело и пишу стихи, которые мне хочется писать.

В этом мире покачивающихся в тени деревьев гамаков, моря, звезд и ветра, смеха, свободы и любви я ощущаю в своих жилах желание жить. В Женеве есть специалисты, которые говорят, что можно надеяться.

Я тот же Ник, а Джульетта та же Джульетта. Но мы шепчем эти имена только тогда, когда одни, когда едины, мы вдвоем и с нами чудо в ее животе.

Да. Если правду можно сознать, выражив ее словами, то именно ради этого я и пишу.



Едва ли не со страхом подошел он к жилищу старого еврея. Чувство, появившееся тогда, при прощании, еще не ушло: он больше не увидит его живым. И потому даже штормовой воздух словно дышал смертью. Плохой воздух: *mal'aria*.

Но стариk был там, хотя у него не было глаз и он не говорил. На убогом тюфяке еврея лежала Биче, которая при появлении гостя вздохнула и отвернулась. Потом она вздохнула еще раз и затихла, погрузившись в безмятежный или неспокойный сон смерти.

Повозка, в которой укрытый одеялом лежал поэт, тряskо тащилась по каменистой дороге. Глаза поэта медленно открылись и увидели бескрайнее небо звезд.

Потом его глаза медленно закрылись.



Кроваво-красная луна на восходе. Волк в соснах.
Золотая луна на восходе. Волк в соснах.



Найди мою могилу, малышка, найди мою могилу.

Литературно-художественное издание

Ник Тошес
РУКОЮ ДАНТЕ

Ответственный редактор *О. Рейнгеверц*
Художественный редактор *А. Сауков*
Технический редактор *О. Шубик*
Компьютерная верстка *С. Шведова*
Корректоры *Е. Павлова, Н. Князева*

ООО «Издательский дом «Домино».
191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 60
Тел. (812) 272-99-39. E-mail: dominospb@hotbox.ru

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо». 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

*По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»
E-mail: international@eksmo-sale.ru*

*International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.
international@eksmo-sale.ru*

*По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном
оформлении, обращаться по тел. 411-68-59, доб. 2115, 2117, 2118,
411-68-99, доб. 2762, 1234. E-mail: vipzakaz@eksmo.ru*

*Оптовая торговля бумажно-беловыми и канцелярскими товарами для школы
и офиса «Канц-Эксмо»: Компания «Канц-Эксмо»: 142700, Московская обл., Ленин-
ский р-н, г. Видное-2, Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87
(многоканальный). e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru*

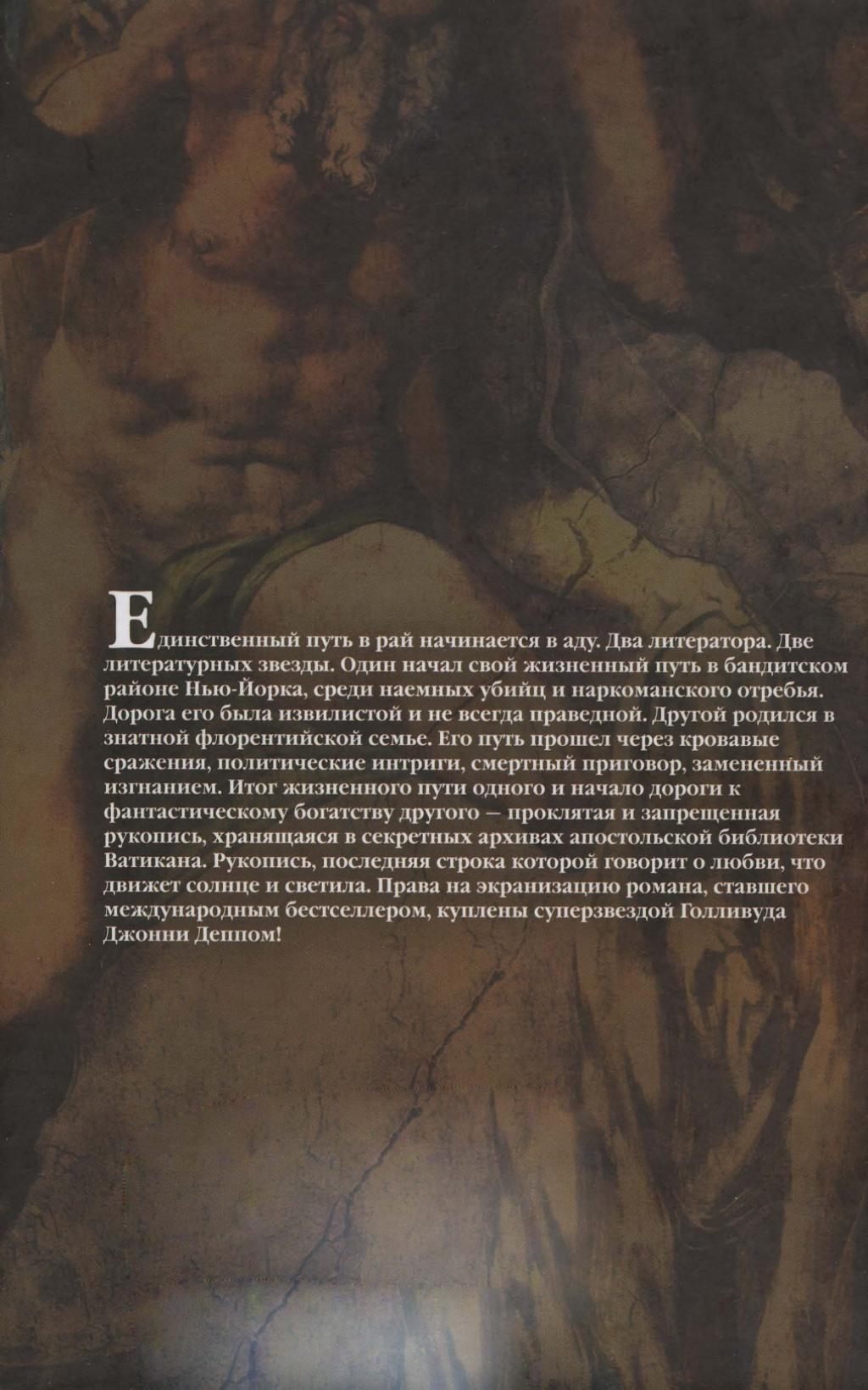
Подписано в печать 21.06.2011. Формат 60×90 $\frac{1}{16}$.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,0.
Тираж 3500 экз. Заказ 5076

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в «УЛЬЯНОВСКОМ ДОМЕ ПЕЧАТИ»,
филиале ОАО «Первая Образцовая типография»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 978-5-699-50726-9



9 785699 507269 >



Единственный путь в рай начинается в аду. Два литератора. Две литературные звезды. Один начал свой жизненный путь в бандитском районе Нью-Йорка, среди наемных убийц и наркоманского отребья. Дорога его была извилистой и не всегда праведной. Другой родился в знатной флорентийской семье. Его путь прошел через кровавые сражения, политические интриги, смертный приговор, замененный изгнанием. Итог жизненного пути одного и начало дороги к фантастическому богатству другого – проклятая и запрещенная рукопись, хранящаяся в секретных архивах апостольской библиотеки Ватикана. Рукопись, последняя строка которой говорит о любви, что движет солнце и светила. Права на экранизацию романа, ставшего международным бестселлером, куплены суперзвездой Голливуда Джонни Деппом!